



СЕРГЕЙ НАУМОВ

**ОТЗОВИСЬ
НА
ПЕРЕКЛИЧКЕ**



СЕРГЕЙ НАУМОВ

**ОТЗОВИСЬ
НА
ПЕРЕКЛИЧКЕ**

**ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ**

Ордена Трудового
Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Министерства обороны СССР
Москва — 1980

Наумов С. М.

H34 Отзовись на перекличке: Повести. Рассказы. — М.: Воениздат, 1980. — 287 с.

В пер.: 1 р. 10 к.

В сборник включены три короткие повести и рассказы. Повести «На расстоянии крика» (последний месяц войны в Австрийских альпах) и «Скажи им, пусть помнят» (наступление наших войск в Польшу в 1944 году) — о подвигах советских разведчиков, действовавших в тылах гитлеровского вермахта.

В повести «Введенный курок» рассказывается о жизни пограничной заставы в наши дни.

В рассказах автор воскрешает грозные события Великой Отечественной войны, на живых примерах ярко рисует стойкость советских людей в труднейших испытаниях.

H 70302-196
 068(02)-80 148.80.4702010200.

ББК 84p7
P2

© Воениздат, 1980



ПОВЕСТИ



СКАЖИ ИМ, ПУСТЬ ПОМНЯТ

— Была ли у вас жизнь, рядовой товарищ Кудря? — спросил капитан Тасманов, и все увидели, как вздрогнули крылья его тонкого носа и припухлые от недосыпания веки прикрыли серые неулыбчивые глаза.

Рядовой Кудря — худенький парнишка из пополнения стоял перед капитаном навытяжку, не смея поднять глаз.

— Не было пока ее у вас, рядовой Кудря, — сказал Тасманов и распахнул свои жесткие, колючие глаза. — Вас убьет первый немец, который увидит. А вы проситесь в разведку... — Капитан протянул солдату финский нож. — Если вы хотя бы оцарапаете меня — пойдете на задание, если нет — будете учиться владеть холодным оружием под руководством сержанта Петухова. Итак...

Капитан рисковал, но совсем немного. Никто в дивизии не мог «взять» Тасманова. Он знал дзюдо с детства.

Тихон Кудря долго рассматривал оказавшийся в его руке нож, потом вопросительно взглянул на капитана.

Тот стоял, широко расставив ноги, чуть покачиваясь, и мурлыкал по-немецки известную в ту пору песенку «Ах, майн либер Августин».

Сержант Петухов подтолкнул Кудрю:

— Приказываю бесшумно снять часового... Вперед...

Разведчики расположились вокруг в ожидании «спектакля». Все они прошли «школу Тасманова» и теперь знали наперед, что произойдет.

Кудря вдруг снял шинель и отбросил ее в сторону, шапка полетела следом. Он расстегнул рукава гимнастерки и отпустил ремень.

— Сапогиними, — подсказал кто-то.

Тихон послушно снял сапоги, и, когда босой неслышно шагнул вперед, во всей его нескладной фигуре появилось что-то по-рысьи настороженное, цепкое. Он перебросил нож из левой руки в правую, потом снова ловко бросил его влево и поймал на лету.

Разведчики притихли. У Кудри, оказывается, была своя довоенная жизнь, в которой опасность ходила за ним по пятам. Лишь Тасманов остался спокоен и посматривал на солдата с явным интересом.

Тихон между тем отвел руку с ножом за спину и стал медленно приближаться к капитану.

Он долго кружил вокруг Тасманова и вдруг сделал выпад левой рукой, как бы приглашая противника поймать эту беззащитную руку.

Тасманов поймал ее мгновенно мертвой хваткой, резко развернул корпус, и тут Кудря прыгнул вперед, опережая капитана, и нанес справа боковой скользящий удар ножом. Острое лезвие рассекло шинельное сукно, и, хотя Тасманов провел прием и Кудря рухнул лицом вниз, на поляне замерли.

Тихон поднялся, морщась от боли, ища глазами отлежавший в сторону нож.

— Да... — сказал Тасманов, разглядывая располосованную шинель, — навел крем-бруле командиру, теперь штопай до утра.

— Я сделаю, товарищ капитан... — виновато моргая глазами, оправдывался Кудря.

— А то думаешь, — весело вскинулся капитан, — сам полосовал, сам и штопай!

Капитан Тасманов. О таких людях говорят, что они родились солдатами. Бесстрашие и ум, воля и проницаемость, лихое виртуозное владение оружием — вот что такое капитан Тасманов. Не было в дивизии более влитого в войну человека, чем Тасманов. Лаконизм и точность его докладов и радиোগрам из тыла противника стали поэзией дивизионной разведки.

«Время на войне стоит жизни», — любил говаривать Тасманов и потому использовал всякую возможность подучить новичков из пополнения.

Фронт на участке дивизии встал. Еще два-три дня назад заморозки держали проселочные дороги, но вот внезапно пробежало по земле двухдневное душевное тепло, после которого сорвались дожди, обнажился суглинок, — и все заскользило, заелозило, как на льду.

Немцы, пользуясь распутицей, оторвались от наших передовых частей, и теперь штаб наступавшей дивизии был в неведении: где противник, а главное — что он делает. Разведчикам привалило работы. Тасманова вызвали в штаб. Вернулся он скоро, молча пообедал, осмотрел

заштопанную Кудрей шинель и спустился в захваченную у немцев землянку.

Там было тесно и дымно. Над картой, испещренной стрелами и кружками, склонилось сразу несколько голов, и среди них — белесая, с хохолком — лейтенанта Варюхина.

Тасманов прислонился к косяку и стал слушать, о чем говорят разведчики.

— Они теперь драпают — на танке не догонишь, — балагурил сержант Петухов, — сбили мы их с укреплений, а дальше зацепиться не за что. Одно слово — Польша. Самая большая гора не выше Кудри...

— Прыткий ты, — капитан узнал голос Варюхина, — сбить-то мы их сбили, а оторвался от нас немец почти без потерь. И угадай-ка, что он теперь делает — контрудар готовит или окопчики на полный профиль роет.

«Толково рассуждает», — мысленно одобрил Тасманов сказанное лейтенантом.

— Чует мое сердце — за «языком» пойдем, — пробасил старшина Рыжиков. — Вертите, ребята, дырки на гимнастерках...

— Отставить... — сказал капитан и шагнул к столу. — Получен приказ, — голос Тасманова звучал глухо, — обнаружить дислокацию оторвавшегося противника, его передний край, в бой не вступать. Готовьте людей, лейтенант. Пойду сам...

В землянке замерли. Идти в разведку с Тасмановым — честь и удача для любого.

Капитан чуть помедлил, рассматривая карту, и спокойно, словно учеников к доске вызывал, негромко оброрпил:

— Петухов... Рыжиков... Струткис... Долгих... Кудря... По три запасных диска... гранаты по «радиону». Немецкий камуфляж... Все...

* * *

Капитан вел группу вдоль перепаханной танковыми гусеницами просеки, прикрываясь лесом от возможной засады.

Немецкий маскировочный костюм сидел на Тасманове, словно сшитый по заказу. Камуфлированная, обтянутая сеткой каска до неузнаваемости изменила его худощавое, тонкое лицо, и только глаза, холодные и внимательные, строго смотрели в почную полутьму.

Пятеро остальных, одетые во все немецкое, шагали гуськом вслед за капитаном, похожие выправкой, короткими «шмайсерами» и тем настороженным, цепким шагом, который рождается от долгого внутреннего напряжения. Только Долгих чуть отличался от товарищей — за его спиной горбилась рация, упрятанная в брезентовый мешок.

Они шли уже четвертый час, останавливаясь и прислушиваясь, готовые к оклику и к выстрелу.

Ночной лес жил вспугнутой войной жизнью. Но это были знакомые звуки, и, пожалуй, только Тихон Кудря обращал внимание на шорохи и всхлипы ночного леса.

Он шел вторым. Так распорядился капитан. Тасманов теперь знал о Тихоне все, что нужно знать командиру разведроты о своем солдате. То, что Кудря вырос на Дальнем Востоке и хорошо ориентировался в тайге, вполне устраивало капитана. Глаза и руки у Кудри были созданы для разведки — на стрельбище Тихон положил все пули в десятку.

Тасманов поверил парню, когда тот рассказывал, как поднимал зимой с отцом из берлоги медведя. Но больше всего нравилось капитану, как Тихон передвигался по лесу. Так ходить могла бы лишь одна рысь — быстро, мягко, бесшумно.

Капитан вспомнил случайно подслушанный разговор у землянки, где разведчики коротали вечер перед выходом на задание.

— Вот кончится война. На кого пойдешь учиться, рядовой товарищ Кудря? — подражая капитану, спрашивал старшина Рыжиков.

— На учителя, — не задумываясь ответил Тихон.

— А почему не на доктора?

— Потому что все в жизни от учителя, — убежденно сказал Кудря, — он человека делает... Мир ему открывает.

Тасманов тогда немного позавидовал Кудре. Учителем Тасманова была сама жизнь. Он рано остался сиротой, воспитывался в детдоме, работал на заводе до призыва в армию. Служил на границе. Там же твердо решил не расставаться с армией, закончил пограничное училище, успел получить два кубаря — и началась война.

В том, что пересеклись их пути, Тасманов видел определенную закономерность. Жесткий, суровый человек, Андрей Тасманов почувствовал, что соприкоснулся с нежной и по-детски чуткой душой. Две черты привле-

кали к Тихону людей. Удивительная любовь к жизни и умение мечтать. Казалось, что этот таежный паренек испытывал бесхитростную радость бытия всем существом своим. Для него все вокруг было полно какой-то чарующей прелести, и каждая мелочь волновала и вызывала в душе его немедленный отклик.

«Ему еще предстоит стать разведчиком, — думал Тасманов, — предстоит ожесточиться, пережить первого убитого немца и похороны первого погибшего товарища. И мне всегда нужно быть рядом с ним».

* * *

Белую, с подпалинами, кобылу поймал Рыжиков. Он шел замыкающим и разглядел-таки в глухой лесной су-теми затаившуюся в ельничке лошадь.

Тасманов вполголоса выругал старшину, осмотрел находку и скоро убедился, что она взнуздана, но незаседлана.

— Хутор, должно, рядом, товарищ капитан, — зашептал Рыжиков, — а кобылку хозяин от немцев в лесу прятал. Только кто-то спугнул ее...

— Кто-то... — буркнул Тасманов. — Волки, что ли?

— Двуногие, товарищ капитан, — вставил сержант Петухов.

«Все правильно, — думал капитан, — и то, что лошадь прятали, и то, что ее кто-то спугнул. Нужно привести лошадь на хутор и посмотреть, давно ли прошли немцы. И кто они: уж не разведка ли?»

Тасманов кивнул Рыжикову, и тот растаял в темноте. Искать хутор незачем вшестером. Глазастый старшина обшарит сейчас округу и обнаружит дом. А вот уж к дому они подойдут всей группой — ведь спугнул же кто-то взнузданную кобылу.

Капитан не любил слепой поиск, когда противник перед тобой с затаившимися секретами и минными заграждениями, неизвестно как и где расположенными, когда от нелепой случайности может вспыхнуть скоротечный бой, и весь поиск пойдет насмарку.

И все же чутьем, выработанным за долгие месяцы войны, Тасманов догадывался — до немецкой передовой еще далеко. Скорее всего, они зацепятся за крутой берег небольшой речушки, которая на карте вытянулась пря-

мой ниточкой с юга на север. Весенний разлив сделал ее быстрой и глубокой, как противотанковый ров.

Рыжиков обернулся скоро.

— Есть, — шепотом доложил он, — хуторок — три строения: дом под черепицей, сараюшка и банька. Огород на задах. Хозяин, или кто там, на месте...

— Видел, что ли?

— Окна чем-то занавешены, только свет совсем не спрячешь, — заметил старшина.

— От тебя спрячешь, — усмехнулся капитан. — Тихо?

— Тихо, товарищ капитан...

— Веди, старшина. Лошадь оставь здесь...

Не доходя метров триста до хутора, Тасманов лег на мокрую землю, и остальной путь группа двигалась попластунски, замирая по знаку капитана, чутко вслушиваясь в однообразное шарканье ветвей, тронутых по-весеннему теплым ночным ветром. Кончился лес, и открылась поляна, за которой угадывалось небольшое строение.

Лежали тихо, не шевелясь. Тихон по таежной привычке прижмурился — берег глаза.

Луна выскользнула в просвет между тучами неожиданно, и ветви на деревьях вычеканились, словно металлические.

Ее холодные лучи обозначили все до последней черепицы на крыше возникшего из темноты дома, и Тихон увидел человека, затаившегося за деревом шагах в десяти от крыльца. Фигура сливалась с деревом, но лунный свет просверкнул на металле, как вспышка, и выдал.

Кудря тронул капитана и, когда тот легонько вскинулся, поднял палец, показал им на дерево, за которым прятался человек.

Тасманов кивнул.

Лунный свет поблек, словно его накрыли покрывалом, а потом и вовсе исчез. Капитан похлопал Рыжикова по плечу и пополз обратно в чащу, где, привязанная к дереву уздечкой, томилась белая, с подпалинами, кобыла.

— Разведка, — одними губами сказал капитан, когда группа, достигнув степи деревьев, поднялась в рост.

— Возьмем «языка», товарищ капитан, — предложил Петухов. — Их там от силы пятеро...

Тасманов усмехнулся:

— Какой из разведчика «язык»?! Вот из тебя, например, попади ты к немцам в плен.

Петухов потупился:

— Из меня, конечно...

— А у них в разведку слабаков набирают?..

— Что же делать? Отпустить фрицев? — не сдавался сержант.

Тасманов задумался. На лице его высветлились тонкие морщинки.

— Зачем отпустить, — сказал он через минуту, — проследить за ними. Если идут к нам, сообщим по радиации домой — там встретят. Если возвращаются из поиска, то они-то нас и приведут к своему переднему краю. Так, сержант товарищ Петухов?

Все облегченно вздохнули. Что ни говори, а капитан Тасманов понимал толк в разведке.

* * *

Немцы возвращались из поиска. И было их пятеро. Четверо вышли из домика, посвечивая себе фонариком — глаза со свету не могли привыкнуть к темноте, — и Тасманов разглядел их во всех подробностях. На немцах были такие же масккомбинезоны, как и на советских разведчиках, их автоматы с откидными металлическими прикладами словно бы повторяли «шмайсеры» группы Тасманова. Встретясь они ночью в лесу лицом к лицу — сразу бы и не разобрались, кто есть кто.

Фонарик погас, как только часовой, притаившийся за деревом, присоединился к группе. По сверкнувшему на мгновение серебряному позументу на петлице Тасманов выделил офицера.

Немцы пошли на запад, из чего Тасманов и заключил, что они возвращаются.

«Вот и поводырь нашелся, — думал капитан. — Не знаешь, с какой стороны удача привалит».

Тасманов и за десять орденов не согласился бы сейчас брать «языка». Один шанс из тысячи, что кто-нибудь из немцев скажет правду. Скорее всего, наплетут небылиц, и проверять эту ложь пошлют его же, Тасманова. В возникшей ситуации Тасманова радовало другое — теперь не нужно было вести поиск по нескольким возможным направлениям, для чего пришлось бы разбивать группу. Немцы должны вывести его людей к сердцу обороны, к штабу. Тогда можно подумать об «языке».

Тасманов вспомнил разговор с начальником штаба дивизии полковником Дробным.

«Ты уж, милый, уточни передок противника, наметь пути подхода, выясни по возможности, где у них артиллерия и сколько ее. Слепые мы сейчас, а слепым наступать, сам знаешь, сколько славянской крови прольется».

Эту манеру говорить с разведчиками ласково Дробный усвоил с начала войны, когда сам командовал разведротой. Он опекал Тасманова и его людей, ничего для них не жалел, потому что досконально знал их военную «профессию», понимал усталость и боль разведчиков, видел в их постоянном риске высшее предназначение солдата.

Сесть на «хвост» немецкой разведке капитан поручил Рыжикову, Кудре и Струткису. Двое первых ходили бесшумно, старшина к тому же хорошо видел в темноте, Струткис знал немецкий.

Тихон обрадовался приказу, как давеча днем, когда капитан назвал его фамилию. С того самого момента, как он увидел и услышал Тасманова, Кудря проникся к нему доверием и уважением. Чем-то напоминал капитан Кудре отца, угрюмого, неразговорчивого человека, прошедшего в тайге всю жизнь.

Тихон и в разведку попросился потому, что еще в учебном батальоне был наслышан о подвигах Тасманова. И теперь, ощущая тугую кобурку трофейного парабеллума на бедре и тяжесть автомата на груди, Кудря был преисполнен той значительности и гордости, которая свойственна юности, когда вам восемнадцать лет и всякое опасное дело кажется легким и привлекательным.

— Разуемся, — сказал Рыжиков, присел и, ловко сняв немецкие бутсы, передал их Петухову.

Это была предосторожность, подсказанная трехлетним опытом «прогулок» по немецким тылам. Сколько придется пройти вот так по ледяной намокшей земле, никто из троих не знал, но они хотели исключить малейший риск и не считали противника пассивным, необученным простаком.

— Если немцы остановятся, крикнешь два раза филином, — сказал Тасманов старшине на прощание. — Мы с Петуховым в ста метрах за вами.

Трое бесшумно растворились в темноте. Капитан дождал несколько минут, вскинул тючок с радией за спину, велел сержанту сложить бутсы в мешок, и они неторопливо зашагали по незнакомому лесу, словно бывали здесь не раз и вот вернулись, чтобы осмотреть хозяйство, разорепное войной.

Пришла пора расслабиться, ибо потом, спустя час, а может быть, полтора, придет то самое, когда секунды бешено застучат в виски, сознание обострится и все будут решать мгновения.

Тасманов думал о том, как проскользнуть передний край немецкой дивизии.

В лесу чуть высветлилось. Темнота уже начинала свою извечную борьбу со светом. Она еще отгородится от наступающего утра туманом, будет прятаться в низинах и оврагах, но часы ее сочтены — день настанет, пасмурный промозглый. До его наступления нужно успеть пройти сквозь немецкие посты и секреты.

Ухнул филин. Раз, другой. Тасманов остановился, положил руку на автомат. Петухов встал за дерево. Ждать пришлось недолго. Струткис возник из полутьмы внезапно сбоку.

— Товарищ капитан, немцы провели радиосеанс. Доложили, что возвращаются с «уловом». Запрашивали новый пароль и место прохода...

— И что же?

— Обер-лейтенант повторил пароль... то есть, я так думаю. Он сказал: «Вас понял — «штурмфогель». Место перехода — излучина реки...»

— Он что же, громко говорил, этот обер-лейтенант?

Тасманов спросил почти механически, думая о том, как воспользоваться почти невероятным случаем, когда знаешь вражеский пароль. Еще он думал об «улове» немецких разведчиков. «Улов» означал добытые сведения, данные о его, Тасманова, дивизии.

— Я слышал, потому что сидел рядом... — сказал Струткис.

— Вот как?.. — вскинулся капитан.

— Они сбились в круг, товарищ капитан, сели, — видимо, устали все-таки. Я и подсел с разрешения старшины. Очень хотелось услышать, а говорил он тихо... Я воспользовался темнотой.

— Лихой ты парень, Айвар, — качнул головой капитан. — Может, ты и перекусил с ними заодно? Ведь, коли уж они сели, значит, и сало достали...

— Так точно, товарищ капитан, достали, — ответил смущенный топом Тасманова разведчик. — Только я... сделал вид, что мне по нужде... и отошел.

— Значит, все сидели, а ты встал?

— Встал, товарищ капитан...

— Торопятся фрицы и устали, конечно. А то склопотал бы ты, Айвар, круповскую железку в поддых...

Да, что ни говори, поиск складывался на редкость удачно. Этого-то и боялся капитан Тасманов, это-то его и смущало. Он вообще подозрительно относился к счастливым стечениям обстоятельств.

Логика, мысль, тщательное изучение возможностей своих и противника — так или почти всегда так свершалась его работа в дивизии.

Обладая аналитическим складом мышления, Тасманов любил предугадывать ход противника, искал нестандартного, внезапного для врага решения.

Сейчас же им просто везло. Вот и пароль, и место перехода, и потеря немцами бдительности, хотя последнее можно и оправдать — свои рядом, а нейтральная полоса велика, и шанс встретить противника ничтожно мал.

Пройти вместо немецкой разведки в тыл возводящихся редутов вражеской дивизии — большой соблазн. Риск? Конечно, риск. При самом переходе немцев могут ведь встречать знакомые. Тогда рукопашная по-тихому. И снова возможность прорваться в тыл. А тыл — это как лицо без маскировки, — все обнажено. Да и нет у них там сплошной линии траншей. Успели, наверное, кое-где прикнуть взводные опорные пункты. И патрули, конечно.

Свою разведку, прошедшую передний край, немцы хватятся не раньше чем через час. И еще час на ее поиск. Итого... Как быть с немецкими разведчиками, Тасманов решил, как только услышал от Струткиса, что те возвращаются с «уловом».

...Немцы еще отдыхали, когда шестеро похожих на призраки людей бесшумно выдвинулись из темноты. Только офицер успел вскинуть автомат, Тасманов в прыжке ударил ногой — и через минуту все было кончено.

На войне убивают, и Тасманов к этому привык. Но всякий раз, сталкиваясь с врагом лицом к лицу и виртуозно применяя холодное оружие, капитан с удивлением обнаруживал, как щемящее чувство, похожее на жалость, заползает в сердце и начинает леденить его. Случалось, быть может, это еще и потому, что, убивая, Тасманов видел чужие глаза, полные то страха, то испуга, то предсмертной тоски.

Сейчас же он держал Тихона за плечи, а тот содрогался от тошноты и, стыдясь, что не может сдержать ее, тихонько всхлипывал.

— На вот глотни, — говорил капитан, втискивая в руку Тихона фляжку с водкой, — а раскисать у нас нет времени...

Разведчики забросали убитых лапником и ждали, пока командир, посвечивая фонариком, изучал немецкую карту.

Тасманов увидел место перехода — оно было отмечено легкой полоской, сделанной карандашом, но никаких других пометок не обнаружил.

Через час они вышли к речной излучине, и Тасманов долго смотрел на противоположный крутой берег, пытаясь увидеть или угадать какой-нибудь условный сигнал или знак ждущего свою разведку противника. Но все было тихо. Ни огонька, ни вспышки.

Совсем рядом плескалась тяжелая ледяная вода, и по тому, как на ней стали появляться легкие просверки, Тасманов понял, что ночь сдала еще одну позицию идущему с востока рассвету.

Капитан приказал раздеть до гимнастерки Петухова и связать его. С кляпом во рту, с заломленными за спину, скрученными руками сержант являл собой зрелище грустное и непривычное.

Роль «языка» Тасманов придумал раньше, когда выслушал доклад Струткиса и мозг обожгла дерзкая мысль подменить немцев. Но вражеских разведчиков было пятеро. Шестым стал «язык».

Ночь, веселая, нерешительная, уползала на запад, отмахиваясь от солнца белесыми космами тумана, который вскоре закрыл противоположный берег плотной серой завесой.

— Пошли, — шепотом скомандовал капитан и первым ступил в ледяную воду. Он догадывался, почему немцы сменили место прохода: вчерашний ливневый дождь поднял воду в реке, и они стали искать брод. Нашли здесь, в излучине.

Петухова нес Рыжиков. Еще на берегу, взваливая на себя товарища, старшина недовольно пробормотал:

— Лучше бы уж пару гансов тащить, чем тебя, сосна строевая.

Петухов задергался, и Рыжиков понял, что сержант смеется.

Брод немцы нашли широкий, река здесь разливалась и была неглубокой — вода доходила разведчикам до груди. Автоматы пришлось подтянуть к шее.

Они выбрались на берег, шумно дыша, стряхивая воду с комбинезонов, всем своим видом показывая, что вернулись к своим, так сказать, снова прибились к земле обетованной. Им некуда было спешить — они ждали оклика, тяжелых шагов солдат боевого охранения, но все было тихо.

«Что за чертовщина! — думал Тасманов. — Неужели не встречаются? Должны же они охранять брод».

Он сделал знак рукой, означающий движение вперед. Группа поднялась по вязкому, как загустевший клей, обрыву и вошла в заросли кустарника, и тогда откуда-то сбоку раздался громкий шепот:

— Хальт! Пароле?

— Штурмфогель, — таким же громким шепотом ответил Тасманов, подтягивая руку с зажатой в ладони финкой ближе к груди.

Из зарослей ивняка вышли трое в касках и длинных прорезиненных плащах. В руках высокого худосочного немца вспыхнул фонарик. Тонкий луч ощупал каждого из группы Тасманова и остановился на Рыжикове, согнувшимся под тяжестью «языка».

— О-о!.. — протянул худосочный и подошел к старшине. Он долго разглядывал Петухова, потом выдернул у него пзз рта кляп. — Кто есть ты? — спросил по-русски худосочный, по-видимому офицер.

Петухов с присвистом втягивал в себя воздух, мрачно и злобно смотрел в глаза немца и вдруг процедил сквозь зубы:

— А пошел ты к... гад...

Худосочный дернулся и резко и быстро ударил сержанта по скуле.

— Русисхер швайн... — пробормотал он, вытирая руку о полу плаща.

«Пока все в порядке, — думал Тасманов, — обойдемся без рукопашной — это другие немцы. Они никого из ушедшей на задание группы не знают в лицо. Синяк Петухова не в счет — сам напросился».

Офицер между тем еще раз скользнул лучом по разведчикам и удовлетворенно вымолвил:

— Gut. Bis zum Gefechtsstand sind es 500 Meter. Richtung links von der ersten Grabenlinie¹.

¹ До командного пункта пятьсот метров. Направление левой первой линии окопов... (нем.)

— Danke... ¹ — как можно радушной сказал Тасманов, тяжело повел плечами, как бы стряхивая усталость, полупшепотом скомандовал: — Vorwärts... ²

Пройдя заросли ивняка, капитан резко свернул вправо к смутно чернеющему лесу. Если верить карте, там должен быть холм.

* * *

Небо осветлилось, но как бы продолжало землю. Густые облака, ровные как полотно, неподвижно висели над лесом. Предраассветный синий туманец стлался там, где кончался горизонт, постепенно сливаясь с облаками.

Сквозь словно заледеневшую, хрупкую паутину кустарника неясно проступали открытая пойма, заливные луга за рекой. И по всему берегу строгие ряды траншей.

В воздухе стоял бесконечный писк ласточек. Их гнездами, как дробью, был пробуравлен восточный крутой склон холма.

Тасманов лежал рядом с Кудрей и рассматривал в бинокль обрывистый левый берег реки.

— Похоже, фрицы решили тут задержаться надолго, — пробормотал капитан, делая пометки на карте, — и окопчики на полный профиль, и блиндажики...

Тасманов надолго прильнул к биноклю.

— А вот и следы тягачей. Пушечки, Тихон... пушечки, скорее всего, в ельник упрятали. И заметь, тяжелые пушечки...

— Как же вы... все это видите? — восхищенно выдохнул Кудря.

Капитан насмешливо взглянул на Тихона.

— Разведчику нужно видеть все сразу, — мягко сказал он, — второго раза ведь иногда просто не бывает. Сейчас другое дело. Мы у них за спиной, а они не оглядываются, им, видишь ли, некогда.

Тасманов говорил все это Кудре, чтобы успокоить парня, а заодно настроить себя не торопиться, проверить еще раз то, что так назойливо лезет в окуляры бинокля.

Немцы могли ведь сооружать и фиктивный вал обороны, готовясь к контрудару. Капитана беспокоило отсутствие интеллигентного движения на проселочной дороге, ведущей от берегового среза в глубину леса.

¹ Спасибо...

² Вперед...

Тасманов ждал Рыжикова, которого послал к дороге вместе с Струткисом.

Что касается времени, то оно, по подсчетам капитана, было на исходе. В немецком штабе должны хватиться своих разведчиков.

Тасманов скосил глаза вправо, где у самого среза на вершине устроились Петухов и Долгих. Разведчиков не было видно, едва заметно шевелились кусты. Капитан приказал Петухову вести наблюдение за поймой реки и бродом, откуда могли появиться поисковые группы противника.

Тасманов представил себе ничейное пространство, по которому придется уходить от немцев, возможный бой, вспомнил белую лошадь, привязанную в чаще, оружие, боеприпасы и рацию убитых немецких разведчиков, спрятавшие в дупле старого дуба, просеку, по которой удобно скакать верхом, и удовлетворенно подумал, что все сделал правильно, тихо порадовался своей дотошной предусмотрительности, которая оставляет шанс на возвращение без потерь.

Времени — вот чего не хватало капитану Тасманову. День, хоть и пасмурный, вставал, по низким промозглым облакам как бы сливались с верхушками сосен и создавали впечатление, что это и не день наплывает вовсе, а подкрадываются сумерки. В бинокль была видна сырая, вскопанная лопатами земля, ломти аккуратно срезанного дерна, маскирующего пулеметные гнезда и блиндажи, торчащие из земли обтесанные комли бревен.

Гул возник внезапно. Ровный, пока еще глухой, он поползал на холм с запада, и, прежде чем Кудря успел высунуться из укрытия, пораженный этим новым грозным звуком, Тасманов холодно произнес:

— Лежать... Танки...

«Вот оно, подтверждение намерения противника контратаковать, — думал капитан. — Немцы понимают, что мы измотаны, тылы остановлены распутицей и все-таки рассчитывают на наш атакующий азарт. Они выиграли время и успели подтянуть технику».

Рыжиков и Струткис появились с западной стороны холма. Тасманов даже вздрогнул, услышав шелест за спиной.

— Танки и самоходки, товарищ капитан, — доложил старшина, — в ельнике две батареи тяжелых и одна про-

тивотанковая... Танкисты — эсэсовцы... Сам видел. Однако, опять «Викинг»...

Тасманов внимательно и насмешливо взглянул на Рыжикова:

— Что бы я без тебя делал, старшина ты мой товарищ Рыжиков — ас разведки, ночной орел... «Викинг», говоришь? Это хорошо. Это кое-что проясняет... А?

— Проясняет, товарищ капитан, — улыбаясь всем лицом, подтвердил Рыжиков, — будут атаковать, когда наши попробуют сбить их с позиций...

— Комплимента ждешь, стратег, — усмехнулся капитан. — Комплименты дома, а сейчас...

— Товарищ капитан... — вскрикнул Кудря, которому Тасманов минутой раньше передал бинокль, приказывая наблюдать за противником.

Капитан рванул из рук Тихона бинокль.

— Так... охота на лис с собачками, — пробормотал он, разглядывая в окуляры берег реки. — Все правильно — спешат закрыть брод... Пора Парашеньке замуж выходить...

То, что появление поисковых групп для Кудри было полной неожиданностью, не оправдывало его вскрик. Эмоции у разведчиков не в почете. Они мешают сосредоточиться. А думать сейчас нужно быстро и точно.

Тасманов опустил бинокль.

«Через десять минут собаки возьмут след, еще через двадцать они будут на холме. Тридцать минут — это шесть километров при хорошем шаге. Идти на запад, сделать петлю и выйти к реке южнее брода. Умеет ли плавать Тихон?»

Капитан свернул карту, засунул в планшет.

— Уходим... Рыжиков, Струткис, вперед... Смотреть в оба. Направление — вост...

* * *

Высоко над головой шумели сосны. Деревья в бору рослые, голые, с хвоей на макушке. Если вскинуть голову, может показаться, что небо над головой сплошь усеяно маленькими зелеными облачками.

Голову вскидывать некогда — все внимание сосредоточено на движении. Рыжиков, идущий впереди легким быстрым шагом, иногда забрасывает руку с компасом, проверяя направление.

Так они шли час. По соображениям Тасманова, маршбросок должен был вымотать преследователей и увеличить разрыв во времени. Он остановил группу на отдых возле едва приметного родничка.

Выслав в сторону преследователей охранение, Тасманов обернулся к радисту:

— Давай, Коля, самое время...

Долгих развернул рацию, повертел ручку настройки. Капитан взял наушники и окунулся в поток звуков. Мир ожил и заговорил. Из неведомых далей полетели свисты, гул, треск, вкрадчивое поскребывание, лихорадочная дробь ключа, обрывки фраз. Потом остался один голос. Кто-то монотонно по-немецки передавал шифровку: сто сорок пять — тридцать, четыреста восемь — шестнадцать...

Немец делал паузы и снова сыпал цифирью.

Капитан повертел ручку настройки. Вражеский передатчик работал на волне, указанной в нашем штабе Долгих, и услышать своих пока не было возможности.

— Вызывай...

Тасманов отдал наушники радисту.

— «Вереск»... «Вереск», я — «Вега»... я — «Вега», — забубнил Долгих.

Через пять минут, так и не связавшись со штабом дивизии, Тасманов поднял группу. Теперь они шли на юг, пересекая гряду холмов, забираясь в низинные чащобы, прислушиваясь к звукам леса, где даже отдаленное собачье влaianие сказало бы о близком преследовании. Но «слухач» Рыжиков только покачивал головой, отвечая таким образом на немые вопросы Тасманова.

Портилась погода. Далеко за лесом задержалась молния и глухо, ворчливо пророкотал гром, а спустя полчаса с низкого темного неба посыпал дождь. Густой, мерзкий, он ожесточенно сек тонкими ледяными прутьями лес и дальние холмы.

Дождю радовались все. Такой дождь менял многое, он затруднял немцам поиск.

В сырой мгле где-то совсем рядом встало над лесом яркое пламя. Забились на вершинах-шапках красноватые отсветы. Тасманов остановил группу. Кивком головы послал Рыжикова вперед.

Старшина вернулся мрачный, глухо доложил:

— Пятеро эсэсовцев лагерь жгут... Мины ставят... В бараках вроде кричит кто-то...

— Дорога? Машина? — спросил Тасманов.

— Проселок рядом, товарищ капитан. Два мотоцикла у них с коляской... На одной пулемет... Можно взять...

— Нужно, старшина...

Мотоцикл водил он сам. И еще Петухов. Проселок наверняка подходил к реке. И может быть, цел мост. Такой шанс мог только присниться.

Мелькнула мысль о запертых в бараках заключенных, но как-то вскользь, второстепенно.

Они вышли на опушку и ползком — в рост мешало идти редколесье — добрались до кромки непаханого, заброшенного поля.

Прямо перед глазами, метрах в двухстах, за двойным рядом колючей проволоки, стояли ссутулившиеся, наклонившиеся в разные стороны бараки. Внимательному взгляду Тасманова открылось, почему они не падали. Бараки протянули во все стороны дощатые руки-подставки и накрепко держали друг друга.

Скорее всего, лагерь этот был временный, служил пересылочным пунктом. Сейчас он горел.

Эсэсовцы стояли у ворот, подняв воротники прорезиненных плащей и наблюдая за пожаром. В стороне у дороги, возле одинокой сосны, притулились два мотоцикла.

— Разрешите, товарищ капитан, я их одной очередью, — прошептал Петухов.

— Чуть позже, — откликнулся Тасманов, — а сейчас послушаем.

Капитану хотелось проследить путь эсэсовцев от ворот до сосны, где стояли мотоциклы, — оставили же они себе тропу через минное поле.

И вдруг сквозь треск горящего дерева Тасманов услышал слабые нестройные крики.

— Пацаны там, товарищ капитан, — захлебнулся полукриком Кудря, — послушайте-ко... Сгорят...

— Да. Ребятишки, — сказал старшина. — И ничего не сделаешь, все подходы заминированы...

— Кроме одного, старшина... — Капитан сказал это сквозь зубы. Рыжиков покосился на Тасманова. — Смотри, — сказал капитан.

Эсэсовцы гуськом пошли от ворот, след в след. Последний остановился, когда была пройдена половина пути. Тускло блеснул корпус противопехотной мины — немец достал ее из-за пазухи, положил в заранее подготовленную

лунку и прикрыл куском дерна. Отряхнул руки. И осторожно зашагал к сосне, низко опустив голову, видимо, высматривая едва приметные знаки, обозначающие безопасную тропу.

Четверо уже подходили к мотоциклам.

— Петухов... Струткис, — шепнул капитан и кивнул Рыжикову. Это означало, что старшине достался немец, идущий последним.

Три длинные очереди почти одновременно распороли тяжелый влажный воздух. И настала тишина. Эсэсовцы лежали в неудобных позах там, где их застигла смерть.

Тасманов встал и тут встретился глазами с Кудрей. И вадрогнул. Они кричали, эти глаза, — столько мольбы и отчаяния было в них. Капитан сказал, как выстрелил:

— Иди... Ворота лимонкой...

И Тихон медленно двинулся вперед, обходя убитых эсэсовцев, так же внимательно глядя себе под ноги, как это делал последний немец сапер.

Падал тяжелый, как ртуть, дождь. Облитые соляркой, тускло горели бараки — теперь в них никто не кричал. И среди множества упрятанных в землю смертей шел лопоухий, похожий издали на мальчишку человек — Тихон Кудря, не привыкший еще к жестокостям войны, не состоявшийся пока солдат. Каждый свой шаг он отмечал автоматным патроном, бросая его в собственный след. Вдавливая патроны в землю бутсами, шагали за Кудрей разведчики.

Текло время. И каждый ощущал его спрессованную плотность. Капитан думал о том, что нарушает все свои заповеди и законы, по которым воевал до сих пор. В другое бы время, да не будь Тихона, он, Тасманов, уже мчался бы на трофейном мотоцикле по старому грейдеру, как птица, вырвавшаяся из клетки. Теперь же все осложнилось.

Грохнул взрыв. Тихон перешагнул сорванные ворота, вошел на территорию лагеря и, забыв об опасности, бегом бросился к первому барaku. Петухов и Струткис еще шли по отметинам Кудри, а он уже сбивал прикладом замок.

Их было двенадцать, изможденных, грязных, в пемыслимых лохмотьях, с глубоко запавшими, педетскими глазами.

Струткис объяснил им, кто их освободители. Сказали про немецкий камуфляж. И все же в глазах детей застыло недоверие. Немецкая форма гипнотизировала их.

Они были поляки, но говорили по-немецки. Одного года заключения в специальном детском лагере хватило, чтобы дети забыли родной язык.

Мотоциклы Тасманов расстрелял сам, предварительно сняв с одного из них тяжелый немецкий пулемет и три диска с патронами. Машины горели с треском — пламя гудело, как в печи.

Расторопный Рыжиков собрал запасные рожки к «шмайсерам», вытащил из трофейного вещмешка пакет с сахаром и дал каждому поляку по два кусочка рафинада.

Дети держали сахар в руках и чего-то ждали. Тогда старшина положил в рот кусочек рафинада и с аппетитом захрупул им.

Нечто похожее на улыбку отразилось на лицах ребят, и они стали с жадностью есть сахар.

Тихон стоял в стороне и беззвучно плакал.

Тасманов смотрел на маленьких поляков и пытался разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, потерявших на какое-то время ясность и заматававшихся, как вспугнутые выстрелом птицы.

Новое, пикогда не испытанное чувство родилось в нем при первом же взгляде на бездомных, наверняка безымянных детишек. Больно обожгло сердце. За годы войны капитан посмотрелся смертей и страданий, привык к ним, как привыкают к жестокой необходимости, когда ничего нельзя изменить или переделать. И вот дети. Маленькие заключенные. Маски вместо лиц. Выпирающие из лохмотьев ключицы. Старческая бескровная кожа на тонких руках.

«Никто из них не должен умереть» — эта простая, четкая мысль вернула Тасманова в привычное состояние. Он взглянул на радиста. Долгих, прикрывшись плащом, воился с рацией. Он словно почувствовал взгляд командира, вскинулся и несколько растерянно произнес:

— Товарищ капитан, «Вереск» на приеме!

Капитан взял микрофон, надел наушники.

— «Вереск», я — «Вега»... Как слышите меня? Прием...

— Я — «Вереск», — сразу же отозвался глухой знакомый голос Дробного. — Докладывай...

Тасманов достал карту и четко доложил обстановку.

В наушниках послышался треск, далекая немецкая речь.

И снова раздался глуховатый сердитый голос начальника штаба:

— Ты не ошибся насчет «Викинга»?

— Нет,— ответил Тасманов. — Танковая бригада «Викинг».

Пауза длилась долго. «Докладывает комдиву»,— догадался Тасманов.

— «Вега», ты слушаешь? — спросил «Вереск».

— Я — «Вега». Слушаю. Прием.

— Возвращайся. И хорошо бы тихо...

«Тихо не получится»,— подумал Тасманов и сказал в микрофон:

— Преследуюсь тремя поисковыми группами. У немцев собаки. Боя не избежать. Прошу выслать конный разведвзвод в квадрат двести шесть. Сигнал для опознания — две красные ракеты, ответ — две зеленые...

— Понял, капитан. Взвод высылаю... Уходи... Связь по возможности. Действуй...

* * *

«Уходи» — это крепко сказано,— думал Тасманов. — Далеко ли уйдешь с доведенными до крайнего истощения детишками».

И все же он повел разросшуюся группу к реке. Немцы не показывались. Может быть, сбились со следа — дождь сыпал и сыпал,— а может быть, разделили группу и решили взять разведчиков в кольцо. Так думал Тасманов.

Он не мог знать, что немцы нарвутся на засаду польских партизан, действующих в округе, что в коротком бою, потеряв половину своих людей, обер-лейтенант — командир двух ягд-команд — отступит к броду под защиту регулярных частей.

Тасманов и не подозревал, как близко ходила смерть,— ведь наткнулся его группа на засаду поляков, и немецкий камуфляж подвел бы разведчиков под пули. О польском отряде не знали в штабе дивизии — такое случалось в войну,— наступление наших войск активизировало борьбу польских патриотов, партизанские группы возникали и росли, как грибы.

Капитан умолчал о детях в разговоре с Дробным намеренно. Он побоялся приказа оставить ребят на попечение какого-нибудь хуторянина, что было равносильно гибели.

Они несли ребят по очереди — тех, которые уже не могли идти. Рыжиков посадил на плечи двоих мальчишек и велел крепко держаться за каску.

Тихон нес на руках истощенного до невозможности самого маленького. Кудря часто останавливался — ему все казалось, что мальчонка перестал дышать.

Группа продвигалась к реке вдоль грейдера. В лесу не так донимал дождь, в случае же тревоги можно было занять круговую оборону, маскируясь за деревьями.

Не доходя до реки с полкилометра, Тасманов остановил группу и выслал вперед старшину и Струткиса. Эту пару капитан сделал неразлучной. Немецкий Струткис был безукоризнен, хладнокровия хватило бы на пятерых. Айвар худощав, но силы ему не занимать.

Рыжиков сообразителен, чуток. Опыт. Всю войну по тылам.

В заросшей орешником низине было сыро, промозгло, неуютно. Дети сбились в плотную кучку, согревая друг друга полуголыми исхудалыми телами. Они негромко переговаривались, словно читали молитву.

«Их нужно накормить, иначе они не дойдут, — подумал капитан. — Хотя бы по стакану молока с хлебом. Тушенка не годится — умрут сразу. У Петухова в НЗ сухари...»

Но прежде чем пришло решение, Тасманов уже напряженно прислушивался.

Сверху, от дороги, доносились странные, незнакомые звуки. «Квач-квач, квач-квач...» Будто квакала огромная лягушка.

Звуки становились сильнее, обрастали другими, треснула валежина, зашуршала прошлогодняя хвоя.

И, осознав, что он слышит чваканье кованых сапог, Тасманов по-немецки, чтобы было понятно детям, громко шепнул: «Рух!»

Петухов и Кудря замерли с изготовленными автоматами там, где их застал приказ командира. Долгих лег на рацию, поводя стволом трофейного пулемета в сторону звуков.

Тасманов достал две гранаты с длинными деревянными ручками. Гранаты были немецкие, очень удобные в таком вот назревающем бою.

Как не хотел и боялся сейчас Тасманов этого боя! В штабе ждут карту. По рации всего не скажешь. Карта — это его, Тасманова, глаза. И то, что увидели они, теперь хотели увидеть и Дробный и комдив.

И какой может быть маневр в скоротечной схватке, когда ты скован, спеленут по рукам и ногам спасенными детишками.

Тасманов слушал теперь уже близкие шаги, стараясь уловить повизгивание овчарок, слова команд. Но раздался приглушенный кашель и хриплый голос кому-то сказал:

— Еще полчаса, Юргеп, и ты выпьешь горячего кофе...

— Шнапсу, Курт... — отозвался вялый тонкий голос.

И капитан понял, что это не погоня. Патруль. Три солдата с фельдфебелем. Рядом передовая, а может быть, и стык зарывающихся в землю полков.

Тасманов со стремительностью рыси присел, сунул гранаты под куст и выхватил нож. Кудря и Долгих уловили и поняли движение командира, отложили автоматы и достали короткие финки. Сержант же стоял у самого края впадины, напряженно вытянув шею, держа палец на спусковом крючке «шмайсера».

Тихон негромко застучал дятлом — даже Тасманов обернулся. Петухов скосил глаза на стук и увидел Кудрю, подбрасывающего на ладони финку.

Петухов воевал с первой минуты войны. Сержант, как и Тасманов, служил на границе. Был ранен, контужен при обороне заставы и все же почью, оставшись в живых один, уполз в ржапое поле, отлежался и ушел в лес. Прорывался с регулярной частотой из окружения.

Тасманов взял его в разведку из пехотной роты, прослышав в штабе о сержанте-чудаке, который возит с собой пограничную фуражку и падевает ее в последнюю минуту перед атакой.

С Петуховым было легко. Тасманов не заботился и не думал о его действиях, был уверен — сержант все сделает как нужно.

Петухов бесшумно лег и как растворился в земле.

Капитан мельком взглянул на ребятишек. Дети стояли тихо, словно и они знали, что сейчас на каждый звук откликается только смерть.

«Чвак-чвак». Совсем рядом. Остановились на краю впадины четыре силуэта, словно шинели вывесили сушиться.

Что увидишь за сеткой дождя?

«Чвак-чвак». Пронесло. Шинели будто смахнуло ветром.

«Юргеп из Любека выпьет свой шнапс, — усмехнулся

Тасманов. — Нам же сейчас даже случайный выстрел ни к чему».

...Капитан угадал — они вышли на стык. Вернувшийся старшина нарисовал план обороны немцев. На левом обрывистом берегу два дзота — расстояние между ними двести метров. И в пространстве этих двухсот метров — никого. Если накрыть дзоты с тыла гранатами, можно на плотках успеть достичь «сопредельной стороны», как выразился Петухов.

«Никого — это значит патрули, — размышлял Тасманов. — Одиш мы только что видели. Да, без боя не уйдешь. Плоты для ребятишек. Петухова и Кудрю вплавь с плотами. Сами же подавляем дзоты и держим зону, пока ребята не переправятся».

Противотанковых гранат было две. У старшины и Петухова. У остальных шестисотграммовые «феньки» — легкие РГ-42. У каждого по две штуки. И еще две немецкие, с деревянными ручками. Получалось четыре связки, если даже оставить по одной каждому на всякий пожарный случай.

Пулемет, захваченный у эсэсовцев, и радию капитан решил перебросить на тот берег. Петухову придется прикрывать отход четверки, когда с дзотами будет кончено.

Плотики вязали из молодых осинок, срубленных тесками. Бечевки и толстой тесьмы, оказавшихся у запасливого Долгих, хватило, чтобы скрепить похожие на жерди тонкие деревца.

Перед последним броском к реке Струткис объяснил ребятам, как нужно грузиться на плоты, лежать не поднимая головы и вообще замереть, словно и не живые они вовсе.

Капитан уговорился с Петуховым: сигнал для начала переправы — первый взрыв. Кудря, если все пройдет удачно, уводит детей в глубь леса, сержант с пулеметом занимает позицию по его усмотрению и прикрывает отход остальной группы.

Они сверили часы и разошлись. Струткис и Долгих — влево, Тасманов и старшина — вправо.

Четверть одиннадцатого — время одновременной атаки на дзоты. Пять часов группа находится в тылу противника.

...У дзота стоял часовой. Входная дверь была закрыта. Амбразура, которую видел капитан, узкая — крест с короткой горизонтальной щелью. Значит, левее есть еще одна.

Тасманов оценил позицию немцев с первого взгляда. Фронтальный сектор обстрела у защитников дзота был просто великолепен — весь правый пологий берег реки и подходы к нему.

«Успели создать систему огневых точек, — подумал капитан, — через каждые двести метров такое вот сооружение. Жиденько, но надежно... Нужно пометить на карте».

Тасманов кивнул старшине и прополз еще немного вперед.

План атаки был прост. Старшина снимает из вальтера часового и одновременно связкой гранат подрывает плотно задраенные двери. Тасманов делает рывок и бросает вторую связку в теперь уже открытый зев дзота.

Выстрел из пистолета во влажном плотном воздухе хлопнул как-то неправдоподобно тихо. Старшина точно метнул свою связку под бревенчатый козырек, прикрывающий вход.

Второй взрыв как бы вывернул дзот изнутри. Он стал вдвое ниже, осел, потом в нем что-то еще раз грохнуло — рухнули перекрытия, из зияющих проломов повалил черный едкий дым.

Тасманова обдало глинистой жижей — после броска он лежал ничком в углублении между задним естественным бруствером и траншеей, ведущей к двери; когда рвануло третий раз, от детонации обвалилась стенка, и капитан едва успел выскочить из своего укрытия.

Пасмурное, низкое небо расцветилось красными ракетами, глухо застучали пулеметы по всему переднему краю. Их светящиеся трассы протянулись на противоположный берег, и Тасманов догадался: немцы не разобрались в ситуации и бьют наугад, пытаясь выявить и накрыть огнем несуществующего противника.

Сползая по глинистому обрыву к реке, Тасманов слышал два взрыва, прозвучавшие почти одновременно.

Прошло не более пяти минут с того момента, как старшина взял на мушку часового. Капитан взглянул на реку, туда, где должны были двигаться плоты с детьми, но ничего не увидел за плотной завесой дождя.

Он вошел в воду, как вдруг сзади хлестнула короткая автоматная очередь. Оглянувшись. Старшина кого-то выцеливал на гребне обрыва. Автомат затрясся в его могучих руках как игрушка. По склону скатилась каска.

Стоя по пояс в воде, Тасманов вскинул свой «шмайсер» и тоже ударил по гребню. «Патруль. Успел прибегать на дым. Что же Петухов?»

Как бы в ответ на мысли капитана с противоположного берега зачастил тяжелый немецкий пулемет.

Ледяная вода перехватывала дыхание. Сильное течение сносило их вниз, в зону видимости следующего дзота, но они не оглядывались; высоко подняв автоматы над головой, загребали свободной рукой, чувствуя, как тяжелеет намокшая одежда и тащит на дно быстро утомившееся тело.

Они выползли на берег ничейной земли совершенно обессиленные и распластались на самой кромке, понимая, что просматриваются в стереотрубы с ближайшей огневой точки. Пули пока стегали воду, но вот засвистели над самой головой, грозя сплести смертельную свинцовую петлю.

— Вперед, старшина, — прохрипел Тасманов, — па кроют.

С немецкой стороны ахнул пестиствольный миномет. Били вслепую по лесу. Там тускло вспыхнули разрывы, и характерный запах, какой всегда остается после разрыва мины, пополз над залитой водой старицей, проник сквозь прибрежный камыш и напомнил Тасманову настоящий бой, в котором разведчикам не так часто приходилось участвовать.

Капитан не думал о смерти. Столько раз приходилось умирать за три длинных года войны, что в сознании прочно утвердилась мысль о собственной неуязвимости.

Они выползли из свинцовой петли, и скоро лес надежно укрыл их. Старшина трижды прокричал совой. На крик приполз Петухов, волоча за собой пулемет.

— Живы, — радостно выдохнул он.

— Кабы не ты,плыли бы сейчас... — отозвался Рыжигов.

— Где Кудря с ребятами? — спросил капитан.

— Порядок, товарищ капитан. — Сержант радовался возвращению товарищей, и улыбка не сходила с его широкого лица. — Тут неподалеку старый польский блиндаж обнаружился, так что в укрытии пацаны.

— Угостил бы водкой, что ли, старшина... — попросил Тасманов, — а то ведь педолго и грипц схватить.

Рыжигов выхватил из кармана фляжку. Капитан отпил три больших глотка, негромко обропил: «Идут...»

В просветах между деревьями показались Долгих и Струткис.

— Ну вот, — удовлетворенно пробормотал старшина, — вся семья в сборе.

* * *

Хутор открылся сразу. При свете дня он выглядел совсем иначе. Тын на фоне неба черный, железный, и над ним высокая жердь со скворешником. Жердь тонкая, и скворешник качается под порывами ветра. Как пятна нефти, блестели стекла в узких окнах дома.

Они окружили дом, и Тасманов взошел на крыльцо, резко толкнув двери, встал за косяк.

На крыльце появился старик. Красноносый, с набрякшими клюквенными щеками. Он все время щурил один глаз, сверля им разведчиков. На лице его не было ни страха, ни растерянности. Кивком головы он пригласил неожиданных гостей в дом.

— Кто-нибудь есть? — спросил Тасманов по-русски.

Старик вскинулся, пристально взглянул на капитана. Тот грубовато сказал:

— Времени нет, дед. Мы русские... Немцев в округе не видел?

Старик пожевал беззубым ртом, поджал губы, покачал головой.

Капитан быстро вошел в дом и увидел старуху. Она сидела тихо, почти не дыша, и походила на сонную ночную птицу. В руках ее, как сначала показалось Тасманову, было зажато лукошко с грибами, но, подойдя ближе, он рассмотрел старую елочную игрушку, сделанную из ваты, — маленькое гнездо с птенцами.

Старуха даже не взглянула на капитана. Казалось, засохшие и готовые вылиться слезы отягощали ее тусклые, пустые глаза.

Дождь звенел по стеклам, стучал по крыше и в прикрытые двери, как человек, уставший в пути.

— Нужно накормить детей, — громко сказал Тасманов, убежденный, что старик понимает по-русски.

Двери распахнулись, Кудря остался на крыльце, пропуская мимо себя ребятишек, которые передвигались из последних сил, а войдя, ложились прямо на пол, и было видно, как мелкая, частая дрожь сотрясает их измученные тельца.

Старик взял Кудрю за рукав и потащил к сараюшке, произнося одно только слово:

— Тенды... Тенды...¹

Они вернулись, неся на руках по большому хлебцу. Старик торопливо нарезал хлеб большими кусками, достал выдолбленный из липы ковш, крикнул что-то старухе, и та покорно поднялась с места, взяла ухват и полезла в печь.

Не хватило тарелок, старик сокрушенно покачал головой и разлил суп в глиняные большие кружки.

Дети ели молча и сосредоточенно, подбирая крошки, изредка взглядывая на взрослых затуманенными едой глазами.

«Откуда у старика свежий хлеб? — думал Тасманов. — Для кого он печет и прячет его в сараюшке? Не для немцев же?»

Капитан вышел во двор. Никого. «Апачи на тропе войны, — усмехнулся Тасманов. — Все подходы перекрыли, а ведь устали-то как».

— Петухов, — тихонько позвал капитан, и тотчас из-за сараюшки появился сержант.

— Григорий, — доверительно и тихо заговорил Тасманов, — дело такое. Отыщешь старое дуло с оружием. Возьмешь запасные рожки с патронами и радию. Сам прятал — значит, помнишь где...

— Помню, товарищ капитан...

— Лошадь, если она еще там, тоже прихвати. И осторожно... Немцы пас так не оставят. Много крови мы им испортили. И несем кое-что, чему сейчас цепи пет. Понял?

— Понял, Андрей Савостьянович... Сделаю чисто.

— Мне рация нужна, — сказал капитан. — Долгих свою утопил. Мальчонка один у него сильно испугался, когда немец палить начал... Вскочил, качнул плотик...

— Вот оно как, — протянул Петухов.

— И посмотри там... внимательно посмотри, как на границе. Следы фиксируй... считай, что в наряд идешь.

— Есть, в наряд, — улыбнулся сержант.

* * *

Петухов не шел, а как бы подкрадывался. Низко согнувшись, держа автомат на изготовку, он подолгу всмат-

¹ Туда... туда... (польск.)

ривался в густолесье, неторопливо переходил от дерева к дереву, замирал, сливаясь с ним, и снова смотрел до боли в глазах в просветы между соснами.

Капитан рассчитал точно, посылая сержанта за рацией. Служба на границе вырабатывает в человеке то шестое чувство, о котором любят шутя поговорить ученые и писатели.

Еще не видя врага, сержант угадал его появление. Помогли галки, шумливые, заполошные жительницы леса. Они гомонно сорвались с развесистого дуба, окружились над ним и полетели прочь, недовольно вскрикивая.

Петухов прекратил движение и лег прямо на мокрую прошлогоднюю листву, припал ухом к земле. И скоро услышал то, о чем догадывался минуту назад. Среди всхлипов дождя Петухов различил слабый шорох шагов, а точнее сказать, шарканье. И вот в обманчивой серой пелене возник силуэт, за ним другой и чуть поодаль третий.

Гулко застучало сердце. «В подзорную трубу смотрел капитан. Так они нас не оставят. Пятнадцать километров ничьей земли — есть где разгуляться. Разведка или дозор? Идут бесшумно, «охотнички».

Сержант пропустил разведку — немцы прошли чуть левее того места, где он лежал, — и рванулся в сторону, в самую чащу, надеясь там найти себе укрытие.

Завал из полусгнивших деревьев возник в полумгле чащи, как спасательный круг в зеленом океане леса, пашлось и укрытие — нечто напоминавшее медвежью берлогу, поросшее мхом, еще храпящее запах осеннего тлена и полусгнившей хвои.

Сержант смотрел из своей поры на приближающихся немцев. Эти шли не таясь, плотной широкой цепью, поглядывая по сторонам, вздергивая автоматы, словно собирались стрелять. Но не стреляли. Видимо, знали, что цель еще далека.

Петухов бесшумно достал единственную гранату и положил ее рядом. Изготовил автомат для стрельбы. Из поры отступать некуда, теплилась слабая надежда, что немцы не прочешут завал. Но и тогда стрелять все равно придется. Для того чтобы предупредить Тасманова. Иначе каратели накроют всю группу.

Не шевелясь смотрел Петухов, как проходили мимо него солдаты в мышиного цвета шинелях, в натянутых на уши пилотках — каски были не на всех, — как скользнули меж деревьев пулеметные расчеты с двумя тяжелыми МГ.

Два плечистых немца пронесли миномет. И тут же следом унтер-офицер провел тяжело завьюченную лошадь.

«Во выюках мины, — догадался сержант, — основательно же фрицевня взялась за дело. Насолили мы им, факт».

Немцы прошли мимо завала, словно его и не было. Они торопились к хутору. И тогда Петухов выполз из норы.

«Еще повоюем, — усмехнулся сержант, — они у меня еще вспомнят границу, гады».

Больше всего боялся Петухов «скучной», случайной смерти — на войне убивал и шальной осколок, и посланная без цели пуля. По правде же говоря, о смерти сержант думал не часто — в глубине души он надеялся пережить войну и вернуться на родную заставу. Он давно уже точно знал, что сделает, когда придет туда. Грапитную стену своими руками. И липнет золотом всех погибших ребят поименно. Чтобы помнили. Всегда. Вечно.

Теперь он шел не таясь, маскируясь шумом, который создавала спешащая полурота. Сержант догонял завьюченную лошадь. Он понимал, что самое грозное оружие у немцев — два миномета. Расстреляв лошадь, он задержит этих крыс на четверть часа, а то и больше. Пока разгрузят выюки, распределят мины промеж солдатиков, Тасманов успеет оторваться от хутора.

Сержант ошибся. Немцы не задержались возле убитой лошади. Они вообще как бы не обратили на него, сержанта Петухова, должного внимания. Сыпанули очередями на выстрел, оставили с десятков солдат прикрытия и так же поспешно устремились дальше, ведомые железным приказом — окружить хутор.

Оставшиеся немцы, рассредоточившись, понемногу простреливали, но на рожон не лезли.

Петухов размышлял недолго. Такой бой его не устраивал. У сержанта родилась дерзкая мысль — опередить немцев. Для этого нужно было добраться до старого дуба, забрать все запасные рожки к «шмайсеру» — сам ведь прятал, — а их там десять штук, взнуздать белую, с подпалпнами, находку старшины, — а она должна быть там, куда же ей деться, сам привязывал, — и ходу по просеке, аллюр два креста.

А что делать дальше — покажет обстановка. Тот, кто верхом на лошади, всегда имеет маневр.

В той стороне, куда ушел Петухов, возникли одиночные, похожие на треск горящих сучьев выстрелы.

Дети спали, уронив головы на стол, и сон их был как сон.

— Буди,— приказал Тасманов Тихону и обернулся к старику.

— Уходите,— сказал он.— Немцы сожгут вас вместе с хутором...

Старик кивнул, шепнул что-то жене. Старуха проворно набросила на себя кожаную куртку и вышла из дома.

Хозяин хутора отодвинул кованный сундук, нагнулся над одной из половиц и легко поднял ее.

Руки его зашарили под полом, и Тасманов увидел, как из груды промасленного тряпья появился новенький немецкий автомат и несколько рожков с патронами.

— Я — жолнеж¹,— просто сказал старик. Он пожал капитану руку жесткими, царапающими ладонями.— Але... прошу за мною.

Капитан так и не узнал, что же хотел ему показать хозяин хутора. В дверях возникла фигура Долгих.

— Немцы,— как-то уж очень спокойно доложил он.

Тасманов выскочил на крыльцо и без бинокля увидел за сеткой дождя поле, запруженное, как площадь. Солдаты шли густо, не таясь.

«Это не ягд-команда,— подумал капитан.— У них приказ во что бы то ни стало настигнуть нас. Рота отборных солдат. Многовато. Хотя понять их можно. Такие потери. Разведка и пять эсэсовцев. Да прогулка по тылам. И два дзота — не подсолнушки на солнышке. Теперь фрицы будут чесать всю эту местность под гребепочку. А Петухов погиб...»

Капитан тут же отогнал эту мысль. Не такой он парень, чтобы дать себя вот так просто расстрелять. И гранаты не было слышно.

Ребристую шестисотграммовую «феньку» Тасманов отличил бы от любой немецкой. Ее положено бросать из укрытия — поражаемость двести метров. «Ушел Петухов... надо полагать ушел...»

— Не стрелять! — крикнул Тасманов и вопросительно посмотрел на старика.

— В лес... — коротко бросил хозяин хутора.

¹ Солдат (польск.).

Немцы заметили их. Поле вздыбилось от ураганного огня, но было еще довольно далеко, и автоматные очереди буравили кромку поля, пулеметчики же высоко взяли прицел, и пули посвистывали над крышей дома, а одна из них задела скворечник, и он рухнул на землю, расплескивая голых, невзрачных птенцов.

Тасманов взглянул на ребят, которые жались к Тихону:

— Всем за дом... Долгих — к пулемету. Заставь их залечь. Пусть минуток пять пожуют землю.

Капитан был уверен, что старик поведет их к просеке, смутно белеющей в трехстах метрах за домом, но хозяин хутора свернул к огороду и, прикрываясь земляным вальчиком, взял немного левее просеки.

«Расчетливый дед, — мелькнула мысль. — Все время держится за строениями. Немцам нас пока не видно, до опушки рукой подать — две перебежки. Ребятишкам придется ползти».

Свады ударил пулемет. Долгих прижимал развернувшуюся в цепь роту к земле.

Они были уже рядом с опушкой, когда сбоку, с той самой просеки, по которой собирался уходить Тасманов, вывалились две большие группы немцев.

Это было так неожиданно, что в первый момент никто не стрелял. Потом сработал навык. Пять автоматов застрекотали почти одновременно, чуть позже к ним присоединился шестой. Старик стрелял короткими очередями, тщательно прицеливаясь.

Для немцев встреча тоже оказалась внезапной, теряя убитых, они бросились под защиту деревьев, залегли и повели прицельный огонь по отходящей группе.

Разведчики укрылись за огородным вальчиком.

Дождь поутих, и открылось поле и близкий лес, скользя по небу светлая полоса — солнце все же прорвалось сквозь тучи — и погасла. Мир, который увидели разведчики чуть просветленным, был ничтожно мал и ограничен.

Ну что ж, они будут драться до последней рукопашной. Война давно стала частью их естества, их судьбой, они славно и достойно жили на этой войне и так же славно умрут во имя победы и своей Родины.

Тасманов достал ракетницу и тут же засунул ее обратно в сумку. Рано. Варюхин со взводом прибудет в квадрат двести шесть не раньше чем через полчаса. Да и

увидит ли он ракету в промозглой, словно придымленной, серости неба. Не хватило одного часа. Время на войне стоит жизни. Если бы не дети... Кто мог предвидеть такое.

За домом грохотал пулемет Долгих. Радист бил короткими очередями — сэкономил патроны.

«Варюхин может не увидеть ракеты, но услышит бой,— мелькнула у Тасманова мысль,— и, может, не осторожничал, а гнал галопом».

Тасманов придумывал себе надежду. Он не верил в безвыходность создавшегося положения. Нужно продержаться как можно дольше. Счет пойдет на минуты.

— Старшина,— позвал капитан.

— Тут я, товарищ капитан,— отозвался Рыжиков, отрывая себе лопаткой окопчик, словно готовился ночевать в нем.

— Возьмешь Струтка — и в дом. Забаррикадируешься и будешь держать левый фланг. Патроны беречь... Иди...

Рыжиков и Струтка уползли огородом. Замолк пулемет. Долгих расстрелял последний диск.

— Тихон,— негромко приказал Тасманов,— к Долгих. И оба в сарай. Держите поле...

— Есть, держать поле,— отозвался Кудря.

Тасманов остался со стариком и детьми. Прикрытый домом, огород сейчас был самым безопасным местом. Сюда не залетали пули. У немцев же, что залегли на опушке, не было пулемета.

* * *

На подходе к полю Петухов пустил лошадь шагом. Все сложилось удачно. Он быстро оторвался от заслона, разыскал памятный дуб, рассовал рожки по карманам. Лошадь же пришлось ловить, она отвязалась и бродила неподалеку, видимо, давно приученная к укромной поляне, на которой среди облажившейся прошлогодней травы внимательный Петухов обнаружил просыпанный овес.

Сержапта не нужно было учить верховой езде без седла. Петухов вырос в деревне, где без лошади не обходилось ни одно дело.

Он выскочил на просеку и погнал галопом, все еще надеясь опередить немцев. Чуток опоздал.

Из-за деревьев были видны и поле, и горящий сарай, и цепь солдат, охватывающая полукругом хутор. Немцы шли

в рост, уверенные в своей последней атаке. Из дома раздавались одипочные выстрелы.

«Что же они не уходят огородом к дальней опушке?» — с отчаянием подумал Петухов. И вдруг увидел: из редколесья, о котором он подумал как о единственном пути отступления, не торопясь вышли три группы солдат; растянувшись цепочкой и, словно на прогулке, не спеша двинулись к хутору. Вот они достигли кромки поля. Еще две-три минуты, и цепи наступающих соединятся в одно сплошное кольцо.

Для удара по наступающим от опушки немцам его позиция была лучше не придумаешь.

«Пора», — приказал себе Петухов и хлестнул лошадь прутом. Это было последнее мгновение, отделявшее сержанта от черты, за которой начиналась дерзкая, сумасшедшая игра со смертью.

Как бы дальше сложилась его жизнь, прими он другое решение, не может знать никто. Полный доверчивой, здоровой простоты, Петухов не раздумывал о правильности или необходимости своего поступка. Вся предшествующая жизнь подготовила его к этому. Товарищи в окружении ведут неравный бой, и только он сейчас может помочь им, пусть даже ценой жизни.

Сержант стрелял с руки, положив автомат на сгиб локтя.

Не было лучше стрелка в разведке, чем Петухов. Короткие очереди точно находили цель, спрятаться от пуль на поле было негде, и сержант положил человек двадцать, пока, оправившись от первой растерянности, немцы не повели прицельного огня по всаднику.

Тасманов мгновенно оценил маневр сержанта. Он дал всей группе единственный шанс прорваться к лесу и дальше в квадрат двести шесть, куда уже должен подоспеть конный взвод, высланный Дробным.

— Быстро к лесу! — крикнул он старику. — Уводите детей.

И показал рукой направление, в котором пужно было двигаться. Старик сдержанно кивнул головой и поднял ребят.

Тасманов вскинул над головой ракетницу и выстрелил. Раз, другой. Две ракеты прочертили белые дуги и взорвались красным недолгим светом.

Рыжиков, увидев ракеты, ногой вышиб раму бокового

окна, коротко выдохнул: «Всем за мной!» — и выпрыгнул во двор.

По полю метался всадник. Сержант отбросил «шмайсер» с пустым рожком и рванул с груди другой. Он успел полоснуть длинной очередью по залегшей цепи, и тут пулеметная трасса достала белую, с подпалинами, лошадь. В предсмертной тоске она еще вскинулась; но, ужаленная новыми пулями, упала на передние ноги и тяжело завалилась на бок.

Петухов успел соскочить с падающей лошади, больно ударился грудью о затвердевший гребень старой пахоты, преодолевая боль, поднял голову и увидел бегущих к опушке разведчиков и детей, развернувшихся в цепь, словно заправские солдаты.

«Капитан придумал, — тепло и благодарно подумал Петухов о командире. — Теперь они ушли... ушли, растаяли».

Сержант пополз к убитой лошади. Другого укрытия на поле не было.

Немцы с двух сторон бежали к опушке, все еще надеясь достать беглецов. На какое-то мгновение они забыли о сержанте, а может, посчитали его убитым. И Петухов ударил с близкого расстояния длинной очередью. Как в тире. Спокойно и холодно. И немцев словно ветром понесло, они отхлынули к самой кромке поля, открывая сектор обстрела для своих пулеметов.

Сержант же не жалел патронов. Восемь полных рожков — не солить же их. Автомат раскалился в его руках. И, не выдержав точного прицельного огня, немецкие автоматчики залегли.

Поле вспыхнуло мокрыми фонтанчиками поднятой земли. Воздух над Петуховым стоял от пуль. Он перестал стрелять и лежал, уткнувшись головой в еще теплый бок лошади, понимая, что теперь ему не уйти из этого бешеного огненного кольца.

Он повернулся на спину и увидел низкие клубящиеся тучи и единственный пронзительный луч снова пробившегося к земле солнца.

Луч протянулся к нему, сержанту Петухову, как рука друга, как надежда, как доброе предзапамятование.

«Это же наши! — задохнулся в нахлынувшем восторге Петухов. — Это же Варюхины с ребятами!»

От просеки донеслась пулеметная скороговорка, и сержант узнал ротный «дегтярь», который он своими рука-

ми перебирал за сутки до выхода в поиск. Петухов перевернулся на живот и осторожно выглянул.

В лесу, за домом, что-то коротко ухнуло. И серия фосфорных мин легла правее позиции Петухова, у самой кромки поля.

Мины разрывались с характерным хлопком, разбрасывая вокруг белесоватые куски фосфора, самовоспламеняющегося в воздухе и горевшего ярким белым пламенем.

Сержант вдруг почувствовал, как жарко стало спине. Жар становился нестерпимым, словно тело прожигали раскаленным углем. Один из кусочков горящего фосфора упал на комбинезон разведчика и прожег его, как тонкую бумагу.

Петухов приподнялся — хотел сбросить комбинезон, — так нестерпима была боль, внезапно ощутил резкий тупой удар в грудь и запрокинулся на спину, все еще не веря, что это пуля.

* * *

Петухов лежал на разостланной плащ-палатке. Старшина непослушными пальцами рвал индивидуальный пакет. Еще слышались выстрелы, но где-то далеко. Здесь же было тихо, остро пахло хвоей. Тасманов склонился к раненому:

— Гриша... Куда тебя?

— В сердце, кажись... — Едва приметная улыбка тронула немеющие губы Петухова. — Вырвались, Андрюша... И шкоды понаделали гансам. Сержант вздрогнул, заторопился: — Парабеллум мой Тихону... Себе возьми бритву... на память. Все... отвернись... умирать буду.

Он замер, плотно стиснув зубы, удерживая стон, и вдруг широко открыл глаза.

— Детишки... все целы? — Шепот был чуть слышным.

— Все... — глухо ответил Тасманов.

— Скажи им... пусть помнят... Сержанта Петухова... пусть помнят...

Тасманов припал головой к груди сержанта и услышал, как остановилось его сердце. Тяжело поднялся, распрямил вздрагивающее, словно от боли, тело. Сбросил с головы немецкую каску. Медленно оглядел каждого из группы, негромко вымолвил:

— Какой человек умер.

И его сильная костистая рука взлетела к непокрытой голове и замерла, как флаг несдавшейся крепости.

ВЗВЕДЕННЫЙ КУРОК

Капитан Стриженой

— На девятом непонятное,
товарищ капитан... Обнаружен

след в наш тыл...

Старшина Ива Степанович Недозор стоял навтыжку, напряженно. Знаменитые на весь отряд запорожские усы чуть шевелились.

Начальник заставы Андрей Стриженой знал эту привычку старшины после доклада бормотать еще что-то неслышное.

Капитан проснулся мгновенно, как только скрипнула дверь. С тех пор как уехала Нина, он не запирал двери на почь. Стриженой взглянул на часы — четыре часа ночи.

— Так что же непонятного на девятом, Ива Степанович?

— След непонятный, товарищ капитан... В единственном числе... И опять же вроде шаровая молния границу нарушила...

— Кто у нас на девятом?

— «Эстет»... Простите, товарищ капитан, Агальцов. Десять минут назад он включился в розетку и доложил, что видел своими глазами удивительное и редкое явление природы — шаровую молнию больших размеров на расстоянии примерно полукилометра.

— След на контрольно-следовой полосе?

— КСП на участке проходит по ложбине, там я в сухое-то время мокро, а сейчас — озеро, должно быть... След обнаружен у сломанной ольхи, что над ручьем. Агальцов решил молнию проследить. Пока бежал, молния исчезла в лесу, тогда он немного углубился в тыл, тут и увидел след. Он его лапником закидал, чтобы не смыло, и к розетке бегом. Задача ему поставлена держать след, пока не прибудет Гомозков с Мушкетом.

— Так...

«На девятом — это плохо, — думал Стриженой. — Плотный лес с густым кустарником, два оврага, ручей, выводящий к старому замку. И Агальцов... Молодой, неопытный солдат... «Эстет»... Придумают же...»

Капитан быстро оделся, оглядел старшину. Тот стоял, выпятив грудь, всем видом показывая, что готов возглавить поисковую группу.

«Не потянет, — мелькнула мысль, — пятьдесят два года, три ранения, две контузии. Пойду сам. Обидится старик. Отца вспомнит. Потом объясню...»

— Ива Степанович, — мягко сказал Стриженой, — останетесь за меня. Оповестите все пограничные наряды, позвоните соседям. Сообщите в отряд о нарушении. И вот еще что — Гордыню с Даниловым к старому замку...

Старшина опустил голову:

— Есть...

— А я с «тревожной»... Буду звать...

Туман и мелкий моросающий дождь. Хуже погоды не придумаешь. А ведь еще не шумела осенняя ярмарка листопада, не кричали в небе журавли, хотя осень и чувствовалась в звонкости воздуха по утрам, в шорохе усыхающих на болоте камышей, в логкой багряности осиповых листьев. А дни-то какие стояли — тихие, солнечные. И вдруг, словно по чьему-то приказу, погода изменилась в одну ночь. Заволокло небо, и заморосил нудный, затяжной дождь. Из распадков и пизип хлынул туман и укутал горы в плотную вату.

Пятый год пошел, как Стриженой припал заставу, а все не привыкнет к таким вот природным метаморфозам.

Внезапный порыв ветра рвал космы тумана, и провода антенны без обычной летней распушенности, боязливо потянулись и тягуче залопотали: «Сты-нем, сты-нем». В тумане прошелестели чьи-то большие крылья.

И аистам не спится. Тревога разбудила птиц. Счастливая застава, говаривали в отряде, на трубе гнездо аисты свили. А оно, гнездо это, еще до войны было, а потом, еще при отце, когда он принял заставу, аисты вернулись.

Мысли об отце знакомым теплом толкнулись в сердце, и оно защемило застарелой болью.

Отец... Он погиб здесь такой же дождливой осенью.

Случилось это в тысяча девятьсот сорок девятом. Пограничники и истребительные отряды из местных комсомольцев теснили и дробили банды националистов-бандеровцев. Самолеты выслеживали дымы костров в глухих ле-

сах, местные жители проводили воинские подразделения сквозь непроходимые болота, крестьяне отказывали бандитам в продовольствии.

Осенью сорок девятого основные силы бандеровцев были разгромлены. Отдельные банды стали прорываться по указанию Бандеры через границу. Они стремились пробиться в Западную Германию. Самый короткий путь туда был через территорию Чехословакии. Прорыв осуществлялся сразу в нескольких местах.

Удар одной из банд пришелся на заставу капитана Павла Стриженого. Высланное подкрепление задержалось в пути — бандеровцы взорвали мост через горную реку. Застава, поднятая в ружье, заняла оборону на участке от старого замка до стыка с соседней заставой. Два часа длился неравный бой. Бандитов сдерживал ручной пулемет, за которым лежал сам начальник заставы. Его поддерживал огнем автомата сержант Ива Недозор. Древняя разрушенная башня замка прикрывала пограничников.

Оуповцы открыли по башне огонь из минометов, а выкатившийся неведь откуда грузовичок, обложенный мешками с песком, почти вплотную приблизился к развалинам замка, и оттуда застрочили из двух спаренных пулеметов.

Капитан приказал Недозору подорвать грузовичок с пулеметами, сам же сменил позицию и внезапно ударил по врагу из-под козырька сохранившейся крыши.

Двумя связками гранат сержант подорвал бандеровский «броневик», но был ранен в плечо и в голову и потерял сознание.

Стриженой, трижды раненный залетающими под каменный козырек осколками, продолжал сдерживать банду, пока пущенная бандеровским снайпером пуля не сразила его.

А вскоре подоспела помощь из отряда, и банда была почти вся поголовно уничтожена.

...«Тревожная» группа ждала во дворе заставы — лучший следопыт отряда Гомозков с неразлучным Мушке-том, рядовые Заборов и Колашник. Во дворе урчал мотором газик. Капитан заметил в кабине водителя Хачика Месропяна.

Через минуту они уже мчались сквозь косую пелену дождя.

«Так что же случилось в девятом квадрате?» — думал Стриженой. Вода скрыла следы на контрольно-следовой

полосе. И каким же чудом заметил единственный отпечаток у ручья рядовой Агальцов! На девятом много воды — вот она разгадка: болота, ручей и дальше три озера, и еще дождь, который сделал ручей полноводным, а болотца почти непроходимыми. Почти. На границе нет такого понятия. И не с божьей помощью перемахнул разрушитель КСП. Агальцов заметил след, когда, увлекшись погоней за шаровой молнией, вышел к ручью. Ручей на девятом близко подходит к КСП. Значит, разрушитель прошел по воде с сопредельной стороны и, пользуясь непогодой, дошел до ручья. А может быть, он даже заметал след. И вот ошибся. Один-единственный раз. И не заметил этого. Или не захотел заметить, не обратил на столь незначительный факт внимания. А вот глазастый Агальцов заметил след и поднял тревогу.

Капитан думал о совпадении. Агальцов увидел молнию и затем в том же квадрате обнаружил след. Какой же давности? След не мог быть старым, иначе его смыло бы дождем. Значит, след мог появиться сразу после молнии. Уж не с ней ли связано нарушение границы?

Стриженой в позапрошлом году сам видел шаровую молнию. Перед грозой. Огненный шар величиной с футбольный мяч, словно живое существо, медленно двигался над склоном горы, пока не пропал в ущелье.

«Нужно расспросить Агальцова, что же он видел с расстояния пятьсот метров, да еще в тумане. Но это потом. Главное сейчас — перекрыть выходы к шоссе, ведущему в город. Именно туда и будет стремиться разрушитель. Район заблокируют. Если разрушитель не успеет за полтора часа добраться до шоссе, что мало вероятно, то он в мышеловке. На что же он надеется? Может быть, на шоссе его ждут с машиной и он идет по самой короткой прямой? И все равно почью в лесу быстро не пойдешь. За полтора часа к дороге не выйти. Тогда что же?..»

Стриженой ставил себя на место разрушителя, искал выход и не находил.

Капитан годами приучал свой мозг в минуты наивысшего напряжения выполнять только одну работу — сопоставлять, анализировать, делать неторопливые выводы. Мысли образовывали как бы замкнутый круг: слышу, вижу, вспоминаю, сопоставляю и думаю, думаю, ищу единственно верное решение.

Стриженой никогда не считал разрушителей глупыми — тут сказывался опыт его предшественников и его собст-

венный опыт. Он протудировал сотни документов, лаконично повествующих о задержании, просмотрел огромное количество стенограмм допросов пойманных нарушителей, в свое время подивился их изощренности в подготовке перехода границы, их остроумным внезапным ходам. И теперь Стриженой понимал, что имеет дело с хитрым, коварным врагом, скорее всего, человеком местным, возвращающимся из-за кордона.

На небольшом, в сущности, клочке земли поведется ожесточенная борьба умов, характеров, опыта и интуиции. Капитан предполагал: нарушитель имеет резервный вариант на случай неудачи, возможен и обратный прорыв границы, поэтому он и поднял заставу по тревоге. Через час пробудится весь район, и круг замкнется. Отряды колхозных дружинников блокируют непроходимые чащи, протянутся цепью вдоль скалистых склонов, как бы отрезая полный тайн мир пограничной полосы от шумного, многолюдного мира городов и сел, от вечно живых артерий—дорог.

Солдаты из пограничного отряда, поднятые по тревоге, закроют все проходимые и непроходимые черные тропы, умело замаскировавшись, замрут, застынут в ожидании, чутко вслушиваясь в шорохи, отыскивая среди них тот единственный, который рождает шаг человека.

Стриженой знал, как редко случается на границе задержать настоящего матерого нарушителя. Иной прослужит всю жизнь, по так и не столкнется с человеком, который долгие годы готовился к переходу. Асы разведки не каждый день прорывают границу. Но ты готовишься к этой встрече всю жизнь, и, если настал твой час, ты отдаешь всего себя борьбе, поиску, схватке.

— Агальцов...— сказал Гомозков, нарушая раздумья командира.

— Где?

— Справа, в сорока метрах от поворота.

Капитан приказал остановиться и выскочил из машины. На темной стене леса тускло мерцала яркая точка. «Курпт!»

Капитан выслушал доклад подошедшего пограничника, спросил:

— Курили?

— Курил, товарищ капитан,— опустил голову солдат,— захолодился на одном месте, вода кругом.

— Гомозков, займитесь следом... А вы... — Стрижепой смерил Агальцова строгим взглядом,— покажете место, где видели шаровую молнию.

— Есть...— Агальцов повел рукой в сторону болота: — Сперва она пришла от границы, а дальше я не видел.

— Какая она была, когда вы ее обнаружили? Опишите...

— Когда увидел, вроде как фара у газика, только больше в размерах и поярче. Туман был, товарищ капитан... Много не увидишь. Хотя по манере все это напоминает Клода Моне, знаете, есть такой французский художник. Так вот у него Нотр-Дам написан в сплошном тумане, получилось вроде видения, ирреально все, вроде есть и вроде пригрезилось.

— А если без Моне?..— усмехнулся капитан.— Не пригрезилась вам, Агальцов, эта самая молния?

— Никак нет. Я в том месте, где молнию засек, лес обследовал. Деревья в округе подпалены... Чувствуете, пахнет...

«Вот тебе и первогодок,— думал Стрижепой, — и с обонянием у него полный порядок, и времени даром не терял».

Во влажном воздухе стойко держался запах горелого дерева.

Подошедший Гомозков доложил:

— След часовой давности, товарищ капитан, размер обуви сорок три, сапоги с подковами, новые. Рост нарушителя за метр восемьдесят пять, вес... вес за сто сорок, товарищ капитан, остальное только Мушкету известно.

— Так... Говоришь, с подковами сапожки. На счастье подковки приколотили, Гомозков, а? И вес... А может быть, вес он что-нибудь... След нужно искать, Глеб. По ручью ведь пошел.

— По ручью, товарищ капитан.

— Значит, где-нибудь выйдет. Возьмешь Агальцова — и вверх. Я еще побуду здесь — и вниз спущусь...

— «Попрыгунчик», товарищ капитан?

— Не знаю, Гомозков. Нужно посмотреть, что на КСП в ложбине. Держи связь с заставой. Там Недозор...

— Есть, держать связь с заставой.

Агальцов и Гомозков с Мушкетом неслышно растаяли в тумане,

Теперь они бежали, отстав друг от друга на добрую сотню метров. Впереди Гомозков с Мушкетом на длинном поводу, за ним — худой, жилистый Агальцов.

Собака взяла след, едва пограничники прошли полкилометра вверх по ручью. Два часа без передышки шел поиск. И вот падо же: Мушкет потерял след, кружил по поляне с тремя стогами сена, тыкался носом то в один стог, то в другой, жалобно скулил, потом сел, вывалив язык и тяжело дыша, словно бы моля об отдыхе.

— Ищи, Мушкет, ищи... Ну, Мушкетик... милый... уйдет ведь он...

Гомозков уговаривал собаку, поглаживая ее мокрую голову.

Далеко в горах высверкивали молнии, здесь же в долине ровно шумел дождь.

— Что? — выдохнул подбежавший Агальцов.

— Похоже, Мушкет след потерял... — угрюмо отозвался проводник.

Агальцов сразу поскутнел.

— Значит, спрашиваем — отвечаем... Как звали моего предка, который жил при Иване Грозном? Ответ — Лифантием...

— Ты бы лучше осмотрел местность, чем трепаться, — не то приказал, не то попросил Гомозков.

— Ладно. Я сейчас залезу вон на ту сосенку и гляну разом на синий город Севастополь.

Агальцов слыл мастером турника. Вскоре его жилистое тело замелькало где-то возле самой вершины.

Гомозков устало присел на поваленный бурей старый дуб.

Надежда, что Мушкет снова возьмет след, не оставляла следопыта. Дождь, конечно, мешает собаке, но и еще что-то. Ведь след-то свежий, и что Мушкету дождь, если он не вынюхивает землю, как другие, а ведет проводника по запаху, оставленному чужим человеком в общей атмосфере данной местности.

Значит, что-то еще мешает собаке.

Гомозков знал, на какие ухищрения идут нарушители, чтобы замести след. Табак, рассыпанный на тропе, — самое простое. Гомозков встал, потянул ноздрями влажный плотный воздух. Его насторожил сам воздух. В нем таил-

ся какой-то запах, незнакомый, совершенно чуждый многочисленным лесным запахам. Словно жгли здесь недавно не то пробку, не то...

«Газ», — пришла внезапная мысль. Вот что мешает Мушкету.

Агальцов шумно спрыгнул на землю.

— Нет, ты мне скажи, шотландцы носят комбинацию? А? Небо в мехах до самого Рижского залива, товарищ сержант. В полумиле, курс зюйд-вест, большая поляна, и на ней опять же три стожка сена. Надо бы посмотреть...

— Посмотрим. Обязательно. Отдохнем чуток... Мушкет выдохся.

Агальцов удивленно уставился на товарища:

— Здесь он, твой дядя с подковами. И недалеко... Достанем... Ты вот лучше мне скажи, Алеша. Вроде ты и грамотен... Биографии великих людей читал, разные картины видел, а живешь не думая.

— А чего думать, если все попятно... К примеру, на сей момент: Мушкет твой едва плетется, потому что старшина лишний кусок мяса пожалел собачке.

— Потяни-ка своим длинным носом. Потяни как следует... — Агальцов шумно со свистом вдохнул в себя воздух. — Чуешь что-нибудь?

— А что? Костром вроде пахнет.

— В котором сжигали пробки из-под Прасковейского портвейна...

— Вроде так...

— Значит, не померещилось, — пробормотал Гомозков.

Теперь следопыт был уверен: нарушитель где-то рядом. Он тоже не двужильный, устал и явно сбавил обороты, а чтобы сбить собаку со следа, пустил в ход последнее средство — баллончик с газом.

Гомозков взглянул на Мушкету. Тот зябко вдрагивал всем телом, лежа в кустах, и грустными глазами смотрел на хозяина.

— Нужно идти, — сказал человек собаке, и она послушно встала.

— Еще немного — и мы достанем его, Мушкет. Алексей, смотри в оба, автомат с предохранителя и... тихо. Пойдешь следом, дистанция пятнадцать метров... Вперед...

Он психодил здесь каждую тропинку еще в детстве. В Мюнхенском центре знали, кого посылать для прорыва границы. Каких только кличек для этого человека не придумывали за рубежом! Сколько псевдонимов и фамилий сменил он за четверть века, работая по заданию службы «серого» генерала Гелепа на территории Польши и Чехословакии! Давно копчилась война. Для него же она не кончалась никогда. В сорок девятом с остатками разбитой оуновской банды он бежал из родных мест, через территорию Чехословацкой республики пробрался в Мюнхен и работал в штабе Бандеры. Он и сам иногда забывал свою настоящую фамилию. И имя. Но не было человека на земле, по которой он сейчас шел, кто бы забыл его последнюю кличку — Марко Палач. Сейчас ему пятьдесят один год, но в плотном, плечистом теле угадывается незаурядная сила и ловкость, все так же зорки глаза и остер слух.

Он хорошо знал, как будут действовать пограничники. Ничего нового они не придумают. Заблокируют зону, перекроют дороги, обшарят старый полуразвалившийся замок. Найдут тело Цацуры, если он не успел уйти обратно и умереть на территории так любимой им Чехословакии. И пачнут свой знаменитый прочес. Сеть будет плотной — тут и весь погранотряд, и заставы, и дружинники, и местная милиция. Может быть, и еще кто-нибудь. А он не будет торопиться. У него есть время. Продукты. Уютный спальник на гагачьем пуху. А главное — логово, в котором он будет заниматься гимнастикой и спать, строго соблюдая режим, предписанный добродушным, веселым немцем по фамилии Веттинг.

В центре позаботились, чтобы он не походил на прежнего Гонду. Две пластические операции — пустяки в сравнении со страхом быть узнанным.

Гонда не доверял никому. Не доверял и не верил. Это стало законом его жизни давно. Может, поэтому он и решился на довольно рискованный шаг — подслушать разговор тощего американца, прикатившего в дом под Мюнхеном перед самой заброской. Он предчувствовал, что разговор пойдет о нем. В тот день Гонда должен был бежать двадцатикилометровую дистанцию. Это входило в подготовку к переходу. Веттинг доверял ему и не контролировал, Гонда пробежал половину дистанции и скрытно вер-

нул к спрятанной в густом лесу вилле. Обмануть охрану не составило большого труда. Давно уже матерый агент изучил систему постов на подходе к дому. Рисковал ли он? Безусловно. Но он хотел знать, что думают о прорыве границы и о пем самом Веттинг и тощий американец. И он полз, зажав дыхание, к распахнутым окнам кабинета шефа мюнхенского отделения разведки Аларда Веттинга, словно переходил границу.

Разговор записался в памяти дословно. Тогда же он узнал фамилию американца — Фисбюри. Впрочем, это могла быть и не настоящая фамилия.

Фисбюри. Я хотел бы повидать агента.

Веттинг. Получите его в полдень после кросса...

Фисбюри. Вы словно готовитесь к чемпионату мира по боксу...

Веттинг. В нашем деле и одна недотренированная мышца может все разрушить.

Фисбюри. И все же почему он?

Веттинг. Наш лучший агент. Знает местность — как это у русских? — как свои пять пальцев. Рожден в та-мошних местах. Опасность быть узнанным мы ликвидировали. Две операции сделали его неузнаваемым.

Фисбюри. И все же риск...

Веттинг. Он не сдастся. В любом случае пограничники получат только тело.

Фисбюри. Еще бы... такие грехи не замолить. Но я не об этом. Риск быть узнанным — риск провала всей операции. Почему бы не попробовать в другом месте?

Веттинг. Именно на этом участке у агента на границе личный схрон. Никто, кроме Козырного, как мы предполагаем, об этом не знает. Запас продовольствия рассчитан на две недели. Больше погранищикам держать войска в зоне не позволят. И тогда Козырной спокойно покинет убежище и, замаскированный под грибника, Черным бором уйдет к шоссе. Иохим, когда нужно, умеет стать невидимым, хотя риск определенный есть... но ведь он есть всегда.

Фисбюри. С какого года существует схрон? И кто его построил?

Веттинг. Никто. Козырной нашел его еще в сорок седьмом году. Схрон — это скрытая пещера с тайным лазом. Лаз же служит и вентиляционной трубой. Кое-что Иохим за годы оуновского движения там переделал, но без свидетелей. Кстати, этот схрон дважды спасал его от

«ястребков» — так называли в частях Бандеры истребительные батальоны Красной Армии.

Фисбюри. Кроме ненависти к Советам, что еще стимулирует Козырного?

Веттинг. Деньги. На его счет в Мюнхенском банке...

Фисбюри. Понятно.

Веттинг. Но это не все. Козырной вернется и... станет легендой, героем...

Фисбюри. Вы хотите «расшифровать» агента? Не рано ли? В случае удачи — годовой отпуск, пусть съездит в Штаты. Кстати, там и потратится... Соблазнов много. Вернувшись, он захочет заработать. И тогда...

Веттинг. Нужно быть благодарным таким людям, как Иохим. У него огромные заслуги и опыт, которого недостает молодым агентам. После возвращения Козырной останется работать инструктором в одной из разведшкол.

Фисбюри. Вы неисправимый альтруист, Алард... Но оставим это... Козырной пойдет с прикрытием?

Веттинг. Да. Сразу за контрольной полосой агент прикрытия двинется в противоположную маршруту Козырного сторону. Вода скроет следы. Через час он должен совершить обратный прорыв границы, чтобы дезориентировать пограничников, отвлечь их...

Фисбюри. А если его схватят?

Веттинг. И это тоже предусмотрено, сэр...

Фисбюри. Не слишком ли громкое кодовое название операции — «Введенный курок»? Как это по-немецки?...

Веттинг. «Деспант Хан». Романтично и изящно... И соответствует действительности — у моего агента реакция взведенного курка. Вы можете убедиться в этом сами. К операции привлечены кроме «носильщика» еще двое: связной в городе, кличка Чибис, база и канал информации, и наш резидент в регионе Южного Урала... Но основная тяжесть по выполнению задания ложится на Козырного. Он должен проникнуть в расположение интересующего нас объекта, взять пробу грунта и ночью сфотографировать «новостройку»... А сейчас я хочу показать вам место перехода. Пройдемте к карте...

Гонда отполз от окна и вернулся на кроссовую тропинку. То, что он услышал, обрадовало его. Ореол героя, который прочил ему Веттинг, его не волновал. А вот годовой отпуск, деньги и возможность после возвращения осесть наконец на одном месте вполне устраивали агента.

Гонда устал рисковать, хотя не хотел признаться в этом даже самому себе.

Вот и сейчас нервы на пределе. Ручей, по которому шел Гонда, уводил в сторону от КСП. До схрона двадцать минут пути. Больше всего Гонда боялся сейчас, как бы не кончился дождь. Погода для прорыва была выбрана лучше не придумаешь. Дождь и туман. И все же Гонда прихватил с собой и порошок с ядохимикатом, и небольшую металлическую щетку для затирания следов. До замаскированного лаза от ручья нужно сделать пятьдесят шагов по горному склону. И каждый — след.

Агальцов

Взвизгнул Мушкет. И, словно споткнувшись, ткнулся мордой в землю. Гомозков мгновенно вскинул руки с автоматом к груди и тотчас почувствовал острейшую боль в левой, той, что успел прикрыть сердце. Вражеская пуля ударила в приклад и отрикошетила в кисть руки. Он упал между кочек так, как падают сраженные наповал точным единственным выстрелом в десятку.

«Бесшумный пистолет», — успел подумать Глеб, и тут же мысли его метнулись назад — ведь Агальцов идет шагах в двадцати за ним и через несколько секунд выйдет на кочкарник, на открытое пространство.

«Я не могу пошевелиться — он меня видит и думает, что я убит, — иначе вторая пуля. Что же делать?»

Он вдруг представил себе широкоскулое курносое лицо Агальцова с чуть раскосыми, всегда смеющимися глазами и совсем уже нехотая вспомнил, как в первый же день своего появления на заставе Алексей заработал высканье от старшины Ивы Недозора...

Стена, возле которой стояла койка Агальцова, буквально на следующий день оказалась оклеенной вырезанными из «Огонька» репродукциями.

— Это што? — спросил старшина, увидев уголок «эстет».

— Вершина эстетического наслаждения, товарищ старшина, — невинно улыбаясь, с готовностью пояснил солдат. — Люблю, знаете, портретную живопись. Особенно восемнадцатый-девятнадцатый век. Какие люди жили! Ведь все в глазах прочитать можно... Умные глаза, знае-

те ли. И с достоинством. Рокотов, например... его серия портретов.

— Это шо такое? — грозно повторил свой вопрос старшина.

Агальцов молчал. И тогда старшина приказал пограничнику выйти во двор заставы. За ними потянулись любопытные.

Во дворе заставы Ива Недозор, торжественный и строгий, скинул руку и обратил внимание солдата на сложенную из красного кирпича трубу. На трубе было гнездо аистов.

— Когда летит аист или даже стоит — это красиво. Живая красота, товарищ Агальцов. А знаете ли вы, товарищ эстет, что аисты жили здесь и до войны. Немцы заставу сожгли, а труба и печь остались. Мы вернулись — заставу отстроили... И красота в лице аистов обратно прилетела.

Агальцов смотрел на аистов и посмеивался.

— А теперь, товарищ боец Агальцов Алексей Иванович, идем до казармы, биографию будешь рассказывать.

— Да ведь она ж у меня в анкете изложена, товарищ старшина.

— В анкете — это правильно. Меня интересуют подробности.

На заставе знали эту привычку старшины въедливо интересоваться жизнью человека до призыва в армию. Наводящих вопросов у Ивы Степановича было великое множество, и беседы продолжались с перерывами не одну неделю. Такой уж был у Недозора принцип — знать о солдате как можно больше.

...Жалобно и протяжно, как человек, застонал Мушкет.

«Живой! — мелькнула радостная мысль. — Где же Агальцов?» И вдруг... Не померещилось ли?

В стороне от стожков, на правом фланге, отчетливо послышался треск и шорох, словно там разыгрывалась кабанья схватка.

«С ума он, что ли, сошел?» — ругнулся про себя Гомозков и внезапно понял: Агальцов отвлекает на себя нарушителя, он обо всем догадался, когда взвизгнул Мушкет.

Ближний стожок вздрогнул. Маневр Агальцова удался. Нарушитель переключился на второго преследователя. Но шевельнуться Гомозков все равно не мог. Он лежал на открытом месте, и всякое движение было бы замечено.

А треск уходил вправо, вроде бы затихая, пока не смолк совсем. Гомозков догадывался, что сейчас сделает Агальцов, — он ползком вернется к стожкам и затаится, ожидая, пока враг обнаружит себя. «Он вернется, потому что совсем не уверен, что я убит».

И не так прост этот ершистый смешливый парень. Есть в нем и хитринка, и сообразительность, и отчаянность, без которых не обойтись на границе.

«Не умирай, пока живешь», — вспомнил вдруг Гомозков любимую поговорку Агальцова и решился. Осторожным неуловимым движением протянул правую руку к выпавшему автомату.

— Глеб, живой ли? — услышал Гомозков откуда-то сбоку еле слышный шепот.

Следопыт не успел ответить. В наступивших сумерках от крайнего стожка метнулась высокая нескладная фигура человека. И тотчас ударил автомат Агальцова.

— Бей в ноги! — крикнул сержант и, вскочив, рванулся к нарушителю.

Человек бежал, словно пьяный. Его шатало, он делал неверные движения и, не оглядываясь, стрелял из пистолета наугад, посылая раз за разом пули в небо.

«Ранен, что ли?» — мелькнуло у Гомозкова. И тут преследуемый обернулся, тяжело взмахнул руками, выронил пистолет с длинным стволом, качнулся и рухнул на колени.

— Иезус Мария, они меня убили, — услышал подбегавший Гомозков предсмертный шепот человека в толстой непромокаемой куртке. И увидел его лицо. Оно было искажено страшной внутренней болью. Тримаса боли не разгладила черты и после смерти.

— Пуля? — спросил подошедший Агальцов. — Неужели моя?

— Нет. Скорее всего, цианистый калий, — угрюмо отозвался следопыт, — а может... Постой-ка...

Гомозков наклонился к мертвому нарушителю, достал нож.

— Похоже, здесь сработал другой яд, — сказал он через минуту. На его ладони лежали две целехонькие ампулки с прозрачной жидкостью.

— Побудь тут. Я к Мушкету, он живой был, перевязать нужно...

Гомозков с сожалением осмотрел свою распухшую, контуженную пулей руку и достал индивидуальный пакет.

Мушкет был жив, но потерял много крови. Пуля скользнула по черепу, разорвала кожу и сильно контузила животное. Перевязав собаку, следопыт подключился к замаскированной в зарослях розетке и доложил на заставу о случившемся.

— Добро, Глеб, — сказал Недозор, — жди капитана, он рядом.

Гомозков вернулся на поляну, где Агальцов, сидя на корточках, рассматривал холодное, безжизненное тело.

«А ведь для него все это впервые», — вдруг подумал сержант и спросил:

— Обыскивал?

— Не-е. Вот пушку осмотрел... Стрельнуть бы на нее... Интересные игрушки делают на Западе.

Гомозков прикрыл утомленные глаза, поморщился от ноющей боли в руке, негромко обронил:

— Спасибо тебе, Алексей, за выручку...

— Да ну, чего там, обыкновенное дело... Спрашиваем — отвечаем: сколько будет дважды три, умноженное на девять?..

Сержант усмехнулся, достал фляжку, глотнул ледяной колодезной воды.

— Ты знаешь, что однажды сказал один умный и старый человек о нашей службе? — Сержант помолчал, собираясь с мыслями, а может быть, вспоминая сказанное. — Нигде, как на границе, не чувствуешь, как дорог простой миг бытия, дорог друг, глоток свежей воды. Нигде, как на границе, не познаешь, как неестественны трусость, ложь и лицемерие, как они бессмысленны. Только на границе людям часто случается видеть собственную смерть — в облике ли респектабельного цивилизованного человека или озверевшего, готового на все бандита. За годы службы на границе этот человек видел сотни смертей...

— Недозор, что ли? — догадался Агальцов.

— Да. Ива Степанович... Вот ты сегодня первый раз видел свою смерть. — Гомозков кивнул на мертвого нарушителя: — Он мог тебя убить...

— А тебя?

— И меня. Но не в первый раз...

— Ладно. Что не случилось, то не считается, — весело сказал Агальцов. — Думаю, что этот гигант был не один, товарищ сержант, а изображал из себя Буцефала, проще говоря, лошадь Александра Македонского. Но седок не оставил ля тряс...

— Чего не оставил? — вскинулся Гомозков.

— По-французски ля тряс — след. Так седок его не оставил.

— Разбираешься... — задумчиво протянул следопыт.

Гомозков и капитан Стриженой

Дожидаясь капитана, Гомозков не сидел без дела. Укутал Мушкета в бушлат, обшарил на всякий случай поляну в поисках следов. Не обнаружив таковых, вернулся к мертвому нарушителю и тщательно обыскал его. Две полные обоймы к бесшумному пистолету, плитка черного шоколада, белые таблетки в целлофановом пакете, сигареты «Мальборо», стеклянная плоская фляжка с коньяком. И никаких документов. Похоже, на прогулку собирался человек.

Для Гомозкова сегодняшний поиск — повторение пройденного. И все же этот долгий бег по лесу и короткая схватка на поляне как бы заново волновали следопыта, заставляли взглянуть на себя со стороны, оценить каждый шаг, выявить ошибки. На поляну он выскочил опрометчиво. То, что торопился достать нарушителя, — не оправдание. Возможность засады нужно было предвидеть и обойти стожки по кромке леса. Капитан, конечно, выскажется по поводу контузии и ранения Мушкета.

Строг Стриженой, но справедлив. А последнее время совсем засуровел капитан. И тому есть причина. Уехала жена. Красивая женщина, ничего не скажешь. Полгода всего и прожила на заставе. По его, Гомозкова, рассуждению, женщине на границе делать нечего — никаких тебе развлечений. Пообщаться, поговорить — разве что с Агальцовым. Капитан весь в делах и заботах, участок трудный, ох трудный. Гомозков знает это по себе, на таком участке не заскучаешь.

И опять же привычка. Кто вырос в большом городе, тому к пограничной тишине трудно привыкнуть, а тут иной раз комара слышно. Случаются тревоги, так тоже для городского человека не сахар. Шум среди ночи, газики режут, солдаты топают, команды рвут эту самую пограничную тишину. Захочешь потом уснуть — не уснешь. Все равно ждать будешь: что там, как там? Большой го-

род, большой город.. Гомозков и сам тосковал иногда по своему Саратову.

С капитаном у сержанта сложились дружеские, добрые отношения: вместе решали шахматные задачи, до которых Стриженой был охоч, вместе думали, как плотнее закрыть границу, вместе бегали тренировочные кроссы — готовились к тому, что случилось сегодня.

Серьезный, хитрый, дерзкий прорыв. И то, что нарушитель отравлен медленно действующим ядом, подтверждало опасения следопыта — где-то затаился второй, тот, что не оставил следа. Придется вызывать отрядного проводника с собакой. И пройти по обеим сторонам ручья. Дождь и время — вот что работает на второго. А может быть, испугнутый боем на поляне, он уже выскользнул за рубеж.

Обследовать контрольно-следовую на всем протяжении — такую задачу поставит капитан, если уже не распорядился осмотреть КСП.

Капитан с Заборовым вынырнули из зарослей с юга, откуда Гомозков их не ждал. Вымокшие до нитки, словно их окунали в глубокую воду, Стриженой и Заборов привалились к крайнему стожку, давая отдых натруженным ногам, и не спеша закурили — сначала капитан, потом солдат.

Стриженой выслушал доклад Гомозкова. Недовольно нахмурился, узнав о ранении Мушкета, и подошел к лежащему на боку нарушителю.

— «Мальборо», говоришь, и коньяк.. На пикник соби-
рался... И заметь, Гомозков, погоду для этого выбрал под-
ходящую. «Лошадка», что и говорить, мощная... И все
же не поверили «там», что при крайней необходимости
человек этот воспользуется ампулами с цианом, подстра-
ховались... ровно настолько, чтобы дать второму уйти, а
«носильщику» наследить...

— Выходит, «рядовой» тут лежит, а «генерал»
ушел, — вставил Гомозков.

— Выходит так, Глеб. Отряд поднят по тревоге, дру-
жинники тоже не спят... — Капитан аккуратно спрятал
окурки в портсигар. — Куда ж ему деваться?..

— Возьмем, товарищ капитан, — улыбнулся Гомоз-
ков. — Вот только дождь некстати...

Дождь размыл контрольно-следовую полосу до стыка с соседней заставой. В низинах стояли огромные лужи, и ни о каком прочтении следа не могло быть и речи. В двух местах дикие свиньи так вспахали полосу, что даже Гомозков только развел руками, глядя на глинистое месиво. Отрядный следопыт Тарас Карун с собакой Найдой метался вдоль КСП, поглядывая на высокое начальство с опаской, но все это были дежурные пустые хлопоты. Собака, как и предполагалось, след не взяла.

Офицеры из отряда во главе с начальником штаба подполковником Жуховым поглядывали на Гомозкова, ожидали, что скажет лучший следопыт. Они прошли пешком весь участок, подолгу ждали, пока сержант колдовал над мало-мальским отпечатком на залитой водой КСП. То он долго измерял и исследовал лунку, образовавшуюся на самой середине полосы, то уходил пемного в тыл и просил Каруна поработать с Найдой. Гомозков едва не стер колени, ползая вдоль размывтой ручьями, побитой косыми сильными струями дождя КСП.

Он двигался впереди группы, чтобы видеть дозорную тропу чистой, незатоптанной, и остро чувствовал отсутствие Мушкета. Нет ничего хуже слепого поиска. Гомозков не верил в обратный прорыв. Предчувствие подсказывало ему, что второй где-то рядом, затаился и ждет, пока затихнет шум, поднятый дерзким нарушением.

А шуметь бы не нужно. Все должно быть наоборот, тихо, незаметно, без суеты. Засады на тропах, ведущих в тыл, наглухо закрытые подходы к шоссе. И ждать. Второй сам обнаружит себя. Сколько можно сидеть в убежище? День, два, неделю. Выходить-то все равно придется. Прочес силами отряда, соседних застав и сельских дружинников не дал желаемого результата. Ни следа, ни даже намек на след, ни малейшей детали, которая хоть как-то сказала бы, что второй здесь, в этих четырех квадратах леса, гор и болотцев.

Гомозков все чаще возвращался мыслями к ручью, куда первоначально направился «носильщик». Разгадка исчезновения второго крылась где-то здесь. Но ведь сержант сам пропахал чуть ли не на животе пространство, примыкавшее к ручью. Проклятый дождь. Ливень смыл всякое подобие следа.

— Ну что? — спросил Жухов, как только следопыт пернулся к кабаньим следам.

— Обратной дороги не было, товарищ подполковник, — твердо сказал Гомозков.

— Может быть, ты и прав... — задумчиво произнес Жухов, — но все же стопроцентных гарантий нет. А?

— Их почти никогда нет, товарищ подполковник... Но в данном случае... такую погоду использовали для прорыва, и вдруг обратно... И смерть «носильщика»... Человеком пожертвовали...

— Все правильно, сержант, — сказал подполковник, — боюсь только, не спугнули ли вы с Агальцовым второго стрельбой у стожков. Ведь прорыв-то рассчитан был чисто, шум в планы не входил.

Гомозков слушал Жухова и думал о Мушкете. Ему нужно было подтверждение своей версии, а подтвердить ее мог только старый четвероногий друг, которого он так неосторожно подставил под пулю.

Поважный

Начальник отряда Серафим Ильич Поважный сидел в ком-

нате Стриженого напротив хозяина и сокрушенно покачивал бритой головой.

— Что же получается, Андрей Павлович? — хитро помаргивая большими, чуть навывкате, глазами, говорил Поважный. — Нарушитель глотнул яду на сопредельной стороне, а к нам пошел умирать...

— Он всего лишь «носильщик», товарищ полковник, — спокойно сказал Стриженой, — опасного человека нес. Думаю, ему не хватило времени нарушить границу в обратном направлении...

— Все это так, товарищ капитан. От вашего Гомозкова убежать трудно. И мы теперь знаем, что «носильщик» был с грузом. Где второй? — Полковник остро взглянул на Стриженого, насупился: — Выкладывай свои соображения, и без фантазий.

— Есть, выкладывать соображения, — подчеркнуто серьезно сказал Стриженой. — Тщательное изучение обстановки, давшие поиска, анализ следов на контрольно-следовой полосе — все говорит за то, что второй нарушитель проник далеко в наш тыл до того, как был заблокирован участок.

— На крыльях он летел... — сыронизировал Поважный.

— Может быть, и на крыльях, — невозмутимо отозвался капитан, — а может быть... Ему ведь важно было выиграть время. И если он местный, а Гомозков считает его таковым, то к шоссе нарушитель бежал кратчайшим путем.

— Так уж и бежал все двадцать километров... — проворчал полковник.

— Гомозков это расстояние покрывает за час с небольшим, тренированный человек с хорошо поставленным дыханием сможет пробежать дистанцию быстрее...

— Ночью, в дождь, по скользким тропам... — усмехнулся Поважный. — Фантазируешь, Андрюша... Вари свой знаменитый кофе и прикажи принести сюда карту участка. Будем ставить точки на уязвимых местах, искать и думать. Я не верю, как, впрочем, и твой Гомозков, что нарушитель ушел обратно за кордон. Не за тем его послали. Кроме того, наши чехословацкие друзья предупреждены и дали бы знать. Твоя версия ближе к истине, но и в ней не все сходится. Есть думка, что он затаился. И сделал это так хитро, что мы прошли мимо. Нужно бы как следует посмотреть все крупные деревья, пригодные для оборудования «гнезда». На участке много столетних грабов с большими дуплами. А кое-где прощупать землю, как делали это в сорок седьмом и сорок девятом, когда искали оуновские схроны. И развалины замка. Они хоть и на виду, но стены простучать еще раз нелишние. Кстати, в хозяйстве Недовора есть сарай для сена или чего-то там еще. Стоит на отшибе. Небось не догадались заглянуть?

Стрижепой улыбнулся.

— Не шучу, — сказал полковник. — Загляни, и сделай это осторожно. Не было в твоей практике? А в моей было. Так что считай, что я приказал осмотреть сарай.

— Есть, осмотреть сарай...

Поважный наблюдал, как Стриженой разжигал крошечную спиртовку и потом колдовал с джезвой, засыпая в нее из бапок смолотый кофе и сахар.

— По-турецки, товарищ полковник?

— Давай по-турецки... Главное, чтобы покрепче... Когда еще к тебе в гости выберешься...

Начальник отряда малепькими глотками отпивал ко-

фе и разглядывал карту участка, принесенную расторопным Агальцовым.

Поважный служил в отряде с конца войны. Начинал начальником заставы. Как говорится, знал службу изнутри. Порой был резок, вспыльчив, но вряд ли кто за долгие годы сделал для границы столько, сколько он. Рассказывали, что Поважный мог нарисовать словесно, как выглядит каждый погранзнак района и когда его подновляли последний раз. Лощинки, бугорки и неглубокие ущелья в счет не шли. Граница долгие годы лепила и закаляла этого человека, учила выдержке и воле.

И сейчас он сидел и хмурился, растирая бугристый лоб ладонью, словно хотел стереть многочисленные глубокие морщины — следы давних ночных раздумий. И Стриженой подивился внезапно переменившемуся лицу Поважного — на нем застыло выражение твердости и холодной вдумчивости.

— Расширим петлю на двадцать километров по окружности и будем снова тщательно прочесывать местность, каждую щель, каждую копешку и каждое дупло. Шоссе закроем до конца поиска. Щупы привезут саперы. Гомозков возглавит поиск, пусть ищет так, как подсказывают ему опыт и интуиция. Выделить ему в помощь двух следопытов с собаками. — Поважный положил тяжелую руку на карту. — Нет у нас альтернативы, Андрей Павлович. Волк заброшен к нам матерый и, по всему виду, живым не дастся.

— А если повторный прочес окажется холостым? — осторожно спросил Стриженой.

— Не окажется. Не должен оказаться. Будем искать, если нужно, неделю, а то и две. Мы отвечаем за границу. И должны использовать все средства...

Поважный запылся, по лицу его прошла легкая судорога, и он, стряхивая с себя суровость, улыбнулся и весело спросил:

— Ксения Алексеевна в гости не собирается?

— Мама написала, что приедет в конце месяца, перед выездом даст телеграмму.

— Опять Недозор встречать будет?

— Он, Серафим Ильич. У них с матерью традиция — обязательно пройти через Черный бор.

— Да-а, — протянул полковник. — Такая уж удивительная женщина, Ксения Алексеевна. Всегда завидовал твоему отцу... Рад буду встрече. Меня-то она первого на-

вестит, тоже, знаешь, по традиции — первому представляться начальству. Давай-ка еще по чашечке твоего знаменитого да поеду к соседям...

Агальцов и Гордыня

Прошло двенадцать суток, как поднятые по тревоге, погранич-

ники вели поиск. На тринадцатые пришел приказ: отряду вернуться на исходные. Массированные прочесы, засады на тропах не дали результатов. Но заставы продолжали жить напряженной жизнью. Стриженой с тревожной патрулировал близкий тыл, оставив секреты на лесных тайных тропах; спал урывками, проводя все время на участке. Он не верил установившейся тишине. Гомозкову прислали Барса — широкогрудого красивого пса, и пограничник пропадал с ним у разбухшего от дождей ручья, на что-то надеясь, а может быть, просто приучая собаку к заболоченному квадрату земли.

После длительных проливных дождей наконец установилась теплая солнечная погода. Ефрейтор Иван Гордыня и Агальцов совершали очередной дозорный поиск в ближайшем к КСП тылу. Молчаливый неулыбчивый Гордыня шел впереди головным дозора и всматривался в полегшую, уже начинавшую жухнуть траву. Всякую пограничную работу он делал сосредоточенно и добросовестно. А работы этой на границе Иван переделал за два года столько, что вспомнить приятно. У себя в колхозе Гордыня слыл отличным трактористом, и здесь, на заставе, никто лучше его не мог вспахать и заборонить ленту земли, называемую контрольно-следовой полосой.

Иван умел сложить печь, поставить дом, настлать пол, сварить отменный обед на всю заставу. Он пользовался безграничным доверием старшины Недозора и уважением всех, кто жил с ним бок о бок, ходил в дозоры, мчался в газике, когда вспыхивал тревожный свет сигнала на пульте дежурного.

Сзади бесшумно скользил Агальцов. Почти две недели поиска иссушили его и без того поджарое тело, под глазами залегли синие тени. Он сдружился с Гомозковым и по его рекомендации стал «верхолазом». Следуя по маршруту, он выбирал самое высокое дерево и делал его своеобразной обзорной вышкой — взбирался на самую вершину и надолго замирал там с биноклем. Придумка Го-

мошкова позволяла вести наблюдение за обширным квадратом территории, где всякое движение должно быть замечено.

Агальцов облюбовал старый, в три обхвата, бук с раскидистой кроной.

— Стой! Смири гордыню, о Гордыня, ты будешь рядовым отныне... — громким шепотом продекламировал пограничник.

— Ну и трепач, — восхищенно пробормотал ефрейтор.

Захлестнуть перевочную петлю на толстом суку было делом привычным и не заняло много времени. Когда Агальцов исчез среди ветвей, Гордыня бесшумно лег в траву.

Агальцов устроился на вершине бука почти с комфортом — крона оказалась своеобразным зеленым, слегка пружинящим креслом. Алексей подстраховал себя веревкой и крутнул на бинокле барабанчики наводки. Сильные стекла-линзы мгновенно приблизили дальнюю кромку Черного бора, блеснувшее зеркальце небольшого озера. Некоторое время Агальцов всматривался в просеку, ведущую к шоссе, потом развернулся в «кресле» и обратил свой взор на юг. Взгляд его заскользил вдоль ручья и дальше — к знакомой ольхе, где он две недели как обнаружил след.

С такого ракурса Алексею еще не приходилось просматривать склоны ручья. Он взял выше — там, где склоны холма падали почти отвесно, — и увидел щель. Она лежала, как рубец на теле горы. Ее словно нарисовали. Агальцов увидел большие царапины на гладкой каменной поверхности склона и догадался, что все это проделал камнепад, вызванный ливневыми дождями. Камнепад что-то сдвинул в огромном теле горы и образовал щель. Агальцов был уверен, что сможет просунуть туда руку по локоть. Смутная догадка пронзила мозг: «Может быть, это...»

Алексей заспешил вниз. Он только и сказал, отвечая на удивленный вопросительный взгляд Гордыни:

— Теперь быстро...

Никогда в жизни Агальцов не бегал так быстро. Тяжелый ефрейтор безнадежно отстал. Алексей успел крикнуть ему, чтобы тот подключился к розетке и сообщил на заставу о возможном убежище второго нарушителя на крутом склоне возле ручья.

Агальцов не был до конца уверен, что открыл убежище второго, но что-то подсказывало ему — тревога будет поднята не напрасно.

Чувство опасности заставило его залечь на подходе к склону. Остаток пути Алексей проделал ползком, сняв автомат с предохранителя. Пограничник уже подвинулся, чтобы сделать последний рывок к щели, когда увидел след. Он был еле заметен на скользкой хвойной подстилке, но дальше, в низине, где подстилку смыло дождем, след отчетливо пропечатался, и, припав к земле, Алексей различил его — он уходил от склона в наш тыл. Значит, второй ушел, и бункер пуст. Все еще не веря в неудачу, Агальцов взбежал по склону и рванул сдвинутый камнепадом обломок скалы, скрывающий лаз в пещеру. Заглянул внутрь и отшатнулся — таким смрадом ударило из каменного схрона. И все же, преодолевая тошноту, он спустился в пещеру.

В ней не было ничего, если не считать спального мешка и с десяток пустых консервных банок.

Агальцов выбрался наружу и достал из подсумка ракетницу. Выпущенные подряд две красные ракеты вонзились в небо, оповещая границу о новой тревоге.

Старшина Недозор

Ива шел ходким ровным шагом, радуясь возможности побыть наедине с лесом. Извечное чувство пограничника — тревога — не оставляло старшину, и поэтому Недозор заметил след, ведущий к росстани. Там, где земля не была прикрыта прошлогодней листвой, четко, словно печать, выделялся совсем свежий след. Человек, обутый в спортивные туристские ботинки сорок четвертого размера, прошел здесь каких-нибудь десять минут назад.

«Лесничий», — подумал Ива и тут же прогнал нелепую мысль. Лесничего Ивана Сороку старшина знал едва ли не с молодых лет, и, сколько Ива помнит, тот всегда был в сапогах.

Может, кто из приезжих забрел... По грибы... Надо бы поговорить в сельсовете, а может, и на общем собрании, чтобы приезжих гостей без сопровождения местных в лес не пускали. Так, чего доброго, и к контрольно-следовой прибредут. Опять же тревога, выяснение личности и все прочие формальности. Прав капитан Стриженой,

сказавший на прощание: «Черный бор сейчас не тыл, а самая что ни на есть граница. Быть внимательным и осторожным. Считать себя в поиске».

Трава в лесу не успела пожухнуть, но была вся покрыта палым листом, желтым, буровато-красным. Та же листва, что осталась на деревьях, сильно поредела и истончилась, и только кусты стояли нетронутыми, иногда темно-зеленые, как летом, а иногда багряные или с оттенком меди.

Ива вошел в чащобу. Лес обласкал его влажным теплым дыханием. Гушар гушаром лес, полон загадок и тайн. В самой середине его открылось озерцо. Солнце сюда не доставало — такой рослый дубняк с разлапистыми грабами вокруг, — и оно лежало притемненное, таинственное, как сказка. И совсем уж как в сказке, бродили на другой стороне озерца две белые кобылицы и рыже-огненный жеребенок. Чуть позвякивали колокольца от ботал.

Ива застыл от восхищения. Он не знал и не понимал живописи, зато умел ценить живую красоту природы. А то, что он видел, было невероятно и прекрасно — тихое прозрачное озерцо и белые лошади с неспутанным, резвящимся, рыжим, как огонь, жеребенком.

Ива подошел к озерцу, зачерпнул в пригоршню воды, умылся, а потом и напился.

Лошади были с кордона. Иван Сорока выпустил их на луг, что примыкал к озерцу, полакомиться последним раз-потравьем.

От солнца ли, томливо висевшего в безоблачном синем небе, от лесных ли осенних запахов, оттого ли, что увидел он двух кобылиц и рыжего жеребенка, по всему телу Ивы тихо разливалась нежащая лень. И мысли его неспешно вязались в нехитрый узор. Вспоминалось прошлое. Настоящее-то, повседневное было просто, как необходимость. А думать о прошлом он любил. Да и человека он шел встречать из прошлого — породнились они в том памятном бою пролитой кровью, а она, та кровь, может быть, роднее родной.

Ксения Стриженая приезжала на заставу каждый год, и всякий раз осенью. Для Ивы ее приезд был настоящим праздником. И по давнему уговору встречал он ее на развилке трех дорог, где Ксения Стриженая высаживалась из отрядного газика и ждала его у столетнего граба, выбе-

жавшего на большак да так и застывшего часовым на перекрестке.

Потом они вместе шли к заставе, пересекая угрюмоватый Черный бор, разговаривая о новостях, о жизни и о разных разностях, накопившихся за целый год. И если бы кто увидел их со стороны, подумал бы: вот встретились брат с сестрой, и нет у них другой заботы, как наговориться вдосталь, полюбоваться друг другом, порадоваться, что живы еще и держатся на земле крепко.

Ива любил осень грустью своего одаренного, счастливого сердца. Любил слушать печальный монотонный шум дождя. Когда он шумит, всегда думается, как хорошо, что есть крыша над головой. Может, потому, что Ива вырос в деревне и детство его прошло возле тихой и теплой реки, любил старшина желтое жнивье, сосновые перелески и робкие незаметные тропки в чащобах.

Но больше всего на свете любил Ива лошадей. Когда он видел лошадей, он вспоминал детство, ту счастливую раскованную пору, когда мир кажется светлым и чистым, а люди в нем красивыми и добрыми.

Когда же это было, и было ли все так, как представлял себе свое детство старшина сейчас, отгороженный от него четырьмя десятками лет, кровопролитной войной и строгой беспокойной службой на границе?

«Самый старый в отряде я,— думал о себе Недозор.— И полковник Поважный давно приглядывается ко мне, но что-то мешает ему сказать прямо и строго: «Пора уходить в отставку, товарищ Недозор».

И то правда, пора. Последние три года Ива чувствовал себя неважно. Не то чтобы где-то болело — так, легкое недомогание, а после бессонной ночи ныло в левой стороне груди.

«Неужели сердце сдает? — думал Недозор. — Отдохнуть бы надо, на курорт, что ли, съездить».

В последнем поиске, когда старшина возглавлял «тревожную», случился конфуз. Искали забредшего с сопредельной стороны крестьянина (это уже потом выяснилось, что он крестьянин). Час длился поиск. Мушкет взял след, и Гомозков оторвался от группы. Старшина знал способности следопыта вести «куцевский» бег, но далеко отставать нельзя, и Недозор приказал прибавить ходу. На втором километре он остановился, удивленно посмотрел на догонявших его пограничников и замертво рухнул на землю, так и не поняв, что же произошло.

Но все обошлось. Придя в сознание, Ива приказал обоим пограничникам следовать за Гомозковым и, может быть, впервые в жизни соврал, что подвернул ногу.

Старшина лежал на мокрой после дождя земле с таблеткой валидола под языком и слушал свое сердце. Оно билось натужно, словно кто-то сдавил его сильными пальцами и забыл потом разжать их.

Ива впервые за долгую жизнь испугался. Съездил в город в платную поликлинику. Врач, низкорослый тщедушный человек с неправдоподобно белой шевелюрой, долго и внимательно слушал бухающее в груди сердце, потом так же тщательно исследовал длинную бумажную ленту с пепоятными Недозору чернильными закорючками и наконец изрек: «Страшного пока ничего нет. А вот покой нужен. Покой, понимаете, милейший? Пора. Займитесь огородничеством, больше спите. У вас есть семья?»

Ива не ответил, поблагодарил доктора, взял выписанные рецепты, а перед самым уходом спросил: «Если выдерживать режим, пройдет ли болезнь?» На что доктор вежливо заметил: болезнь Ивы — это возраст, и неприятные ощущения останутся теперь до конца дней.

«А в каком дне он, этот конец», — сердито думал Недозор и решил не думать больше о болезни. Просто жить как жил. Только для лекарств вшил Ива внутрь бриджей небольшой карманчик и заполнил его самыми эффективными современными препаратами. А чтобы сберечь их подольше, сделал старшина нечто вроде кожаного кисета и не расставался с ним ни днем ни ночью.

Недозор снова углубился в чащобу. Набухшая влагой старая кора сосен и грабов здесь была черной. И весь лес казался подкрашенным сажной краской до половины своей высоты. А там, где кора была молодая, деревья казались бронзовыми.

Ива шел теперь не спеша и тихонько напевал любимшую еще с войны песню:

Матуля, я тут завтра не буду,
Искай меня, где сонейко взойдет.
Буду за него я биться,
Чтоб в полон не отдать.
Или могилу мне отроешь,
Или ворог туда войдет.

На примятую жухлую траву старшина и не обратил бы внимания, если бы не пепел, сразу сделавший травин-

ки седыми. Он склонился над ними и увидел на земле характерное, едва заметное углубление. Человек сидел здесь, отдыхая, и курил. Нет, не курил, а что-то сжигал — для одной сигареты слишком много пепла.

За долгие годы, проведенные на границе, у Недозора выработалась привычка придавать значение пустякам. Вот пепел. И не где-нибудь, а в самой чаще Черного бора. Вроде бы и от границы далеко, а если прикинуть, то и не так уж далеко.

Знакомый след старшина обнаружил нескоро. Человек, оставивший пепел, шел по густотравью, пока мог, обходя лысинки и взгорбки, где исходила легким парком голая влажная земля. Может быть, он нарочно брел вот так наугад по разнотравью. Если он городской житель, то его понять можно. Обалдел от тишины и первоизданности природы, почувствовал себя робинзоном и рванул по чаще, чтобы трава по колено.

И все же старшине хотелось увидеть след. И он увидел его снова на краю оврага, где трава была скошена до самой кромки, и обойти эту своеобразную КСП робинзон не мог. Если он, конечно, хотел спуститься в овраг. А он это и сделал. Ива склонился над жнивьем. Все тот же след от спортивных ботинок с низкой рифленой резиновой подметкой — сорок четвертого размера. Вот ведь как устроен человек. Теперь Иве захотелось увидеть владельца столь шикарной спортивной обуви.

Ничего предосудительного не было в том, что человек решил спуститься в овраг. Только Недозор подумал о том, что оврагом можно скрытно выйти к ближнему проселку, а такое знает только человек местный или хорошо знакомый с окрестностями. Нет, Ива не стал смеяться над своей подозрительностью. Он принял всерьез возможность встречи с незнакомцем и переложил макаровский пистолет из кармана брюк в карман кителя, предварительно сняв его с предохранителя и дослав патрон в ствол.

Теперь старшина, осторожно ступая, шел вдоль оврага, стараясь держаться за кустарником. Он знал, что рано или поздно незнакомец станет выбираться из этого похожего на гигантский туннель оврага. Можно было бы опередить робинзона, прибавить ходу и перекрыть ему выход на проселок. Но старшину останавливала мысль, что незнакомец может раньше покинуть овраг и тогда все ожидания его на выходе будут напрасными.

Ива даже почувствовал нечто вроде легкого азарта. «Увижу, проверю документы и... спрошу про пепел. Судя по размеру обуви и по глубине следа, мужчина крупный. Гомозков бы точно определил и рост и вес, он ведь профессор по этой части», — думал Недозор.

Вначале старшина услышал легкое отдаленное вжиканье — так отмахиваются ветками от комаров. Потом услышал треск и шорох, а вскоре и тяжелое дыхание человека, слегка запыхавшегося от быстрой ходьбы.

Ива лег в кусты так, чтобы видеть край оврага.

Широкоплечий, плотный человек вырос из овражного полусумрака, не спеша отряхнулся и, не оглянувшись, твердо зашагал едва заметной тропкой по самой кромке.

Ива успел хорошо рассмотреть его, пока незнакомец не повернулся спиной. Одет он был как истый горожанин — в синий недорогой джинсовый костюм, на голове легкая белая пляжная фуражка с длинным козырьком, в руках лукошко, полное грибов.

«Вот так-то, бдительный старшина Недозор, — усмехнулся Ива. — Человек грибы собирал, а ты его шпионом сделал».

И вдруг старшину будто током ударило. На незнакомце не было ботинок. Он уходил по тропе в обыкновенных резиновых сапогах, в которых ходят в лес все мало-мальски уважающие себя грибники...

«Что за черт, — думал старшина, — ведь ясно же я видел след спортивного ботинка. Переобулся он, что ли? А где же ботинки?» Кроме лукошка, в руках у человека ничего не было.

И все же, прежде чем броситься вдогонку за «грибником», старшина осмотрел этот второй, новый след. Сомнений не было: человек переобулся. И сделал это в овраге.

«Робинзон-то, видать, с Гавайских островов», — чувствуя привычный холодок в груди, подумал Ива. Он ускорила шаг, решив не окликать незнакомца, пока не подойдет к нему вплотную.

Ива, может быть, и не узнал бы никогда эти глаза, если бы однажды не видел их так близко. Тогда они смотрели в упор и полосовали старшину огнем ненависти, ибо не было в руках у Гонды оружия. А случилось такое тридцать лет назад без малого, когда пограничники вместе с отрядом «ястребков» брали банду Салового. Банда была прижата к непроходимому болоту, и деваться ей было некуда.

Тогда, в пылу боя, и после, когда гнали пленных к машинам, не знали, кто есть кто — все в ватниках, все бандиты. Оpoznать Гонду было некому, а если бы такое случилось, на три мушки сразу приказал бы взять его майор Кальянов, командир оперативной группы. А уж он-то, Ива, глаз бы не спускал с надрайонного «проводника» Иохима Гонды, прозванного за чрезвычайно изощренную жестокость Палачом.

И сейчас это были глаза хищника, готовившегося к прыжку. Они не изменились — узкие, как щели, белые от страха и ненависти глаза убийцы, хотя лицо было другое, совсем непохожее на лицо Иохима Гонды.

Ива отступил на шаг, и это спасло его. Гонда резко взмахнул рукой, и в ней блеснула сталь клинка. Он, конечно, слышал шаги сзади и давно приготовился к неизбежному оклику и встрече. До последнего момента, пока не скрестились взгляды, у Гонды не было уверенности, как ему поступить, — догонявший его человек мог быть просто сельчанином, прохожим, лесничим, наконец. И на этот случай были разработаны различные легенды — кто он и откуда.

Гонда не узнал старшину, но понял по выражению глаз пожилого пограничника, что узнал. Узнал! Случилось то, чего больше всего опасался один из бывших главарей бандеровской службы безопасности.

Пожилой сивоусый человек должен умереть быстро и тихо, без выстрела. Не для того он таился в личном схроне, чтобы будить Черный бор выстрелами. Крик не в счет — в этом лесу он гложет, как в колодце. А в том, что сивоусый будет кричать, Гонда не сомневался. Счет будет идти на секунды. Пауза и так затянулась. Гонда прыгнул вперед, словно его сильно толкнула земля. Нож полоснул пустоту. Неуловимым движением сивоусый сместился в сторону, и Гонда по инерции проскочил мимо, но тут же мгновенно развернулся и вдруг увидел холодный зрачок пистолета. Уже автоматически рухнул на край оврага, из которого выбрался минуту назад, рванул сильное тело в сторону, услышал запоздало сухо треснувший выстрел и покатился в спасительный сумрак оврага, набирая скорость, точно огромный валун, сброшенный с покато́й горы, — ломая кустарник, подминая под себя тонкие стволики берез.

Пауза в три секунды. Какое гигантское время уместилось в ней для Недозора! Целая жизнь. И еще ее про-

должение. Он скатился в овраг вслед за Гондой и не успокоился, пока не увидел в полусумраке мелькающую тень человека.

Гонду выдавало движение. Бандит знал, что стоит ему замереть, встать на месте, и он растворится, исчезнет из поля зрения сивоусого пограничника. Но страх был сильнее, он толкал Гонду все дальше и дальше вдоль знакомого ручья.

Овраг перешел в пологий подъем, и Гонда выпрыгнул на свободное от кустов пространство, надеясь быстро достигнуть спасительного леса, и сразу спиной почувствовал эту пулю. Она ударила в левое предплечье. Боль была мгновенной, словно ожог. Гонда повернулся, рванул из-под мышки крупнокалиберный бесшумный пистолет и разрядил в ближний кустарник всю обойму. Распластавшись на сырой, пахнущей грибной прелью земле, Ива считал выстрелы. Девять. Значит, пистолет будет перезаряжать на ходу.

Недозор легко оторвал тело от земли и успел пересечь поляну, как снова затукали глухие частые удары.

«У него есть второй пистолет», — мелькнуло в сознании. Старшина ткнулся лицом в оказавшийся на пути большой трухлявый пенёк и тут же услышал, как в полусгнившее дерево вошла пуля.

«Бьет прицельно — значит, страх отпустил», — подумал Недозор.

Так оно и должно быть. Гонда — волк матерый. Тогда, в сорок восьмом, ушел быстро и проворно, обманув бдительность конвойных и выпрыгнув из грузовика на полном ходу со связанными руками. Сколько ни искали потом в лесу, исчез, растворился бесследно ловкий и хитрый бандит Иохим Гонда. «Да, местность он знает лучше любого лесничего. Что-то у него с лицом. Постарел, что ли? Нет, скорее помолодел, усы модные отпустил, телом усох немного, но все так же проворен, и силы в плечах на троих. Если сейчас подняться, стреножит враз — в пятнадцати метрах затаился, гад. Где же он?»

За стеной леса никакого движения. Недозор не мог знать, что ранил Гонду и теперь тот осторожно полз, прикрываясь кустарником, чутко прислушиваясь к шорохам леса, зажимая правой рукой рану в предплечье.

Сдерживая стон, Гонда вспомнил ледяную маску лица Фисбюри и его монотонную напутственную речь: «Вы перешагнете границу по воде. Вас прикроет наш человек,

Случайности учтены и исключены все до единой. Вы отсидитесь в своем схроне и, когда пограничники снимут осаду, достигнете шоссе и прибудете в город по известному адресу. Вас встретит резидент, он передаст вам инструкции. Нужно всегда помнить: вы выполняете особое задание шефа разведки, я подчеркиваю — особое...»

Плечо наливалось тяжестью, словно повесили на него пудовую гирю. Боль почти не чувствовалась, и Гонда понял, что кость задета скользом — пуля разорвала мышцы плеча и прошла навывлет. Такие раны не страшны, только нужно остановить кровь.

Пластической операцией Гонда был доволен. Теперь и свои из Центра не узнали бы его. Он внушал себе, что стал другим человеком, с другим лицом, привычками, манерами, с другой походкой. Он отпустил модные в России усы, концами к уголкам губ, привык носить темные элегантные очки, отрепетировал перед зеркалом особую, как ему казалось, располагающую улыбку.

И вот все полетело к дьяволу. Первый же пограничник узнал его. Такие у него были глаза, словно увидел ядовитую змею. Что же, выходит, они не сняли осаду, «держат зопу» или это случайность, от которой его стопроцентно застраховал Фисбюри. Пожалуй, все-таки случайность. Иначе давно бы уже шум, поднятый в лесу, был услышан, и тогда... ампула с цианом. Но у каждой случайности своя закономерность. Не хватило каких-нибудь двух километров. А там — шоссе. И первая попутная машина увесла бы его в город. Впрочем; еще не все потеряно. Есть шанс оторваться от старика. Гонда вспомнил кроссы в парке под Мюнхеном. Не зря же он лил пот, черт возьми. Но сказывалось двухнедельное сидение в схроне. Прерывистое, сбивчивое дыхание отнимало у мышц силы.

Гонда слышал отдаленный топот, приглушенный прошлогодней листвой, и старался держаться за широкими, в два обхвата, грабами, но не оглядывался, боясь потерять бесценные секунды.

Их разделяла какая-нибудь сотня метров. Ива не стрелял, берег последний патрон. Не стрелял и Гонда — одной правой рукой на бегу никак не мог перезарядить пистолет, левая же не слушалась, повиснув безжизненной плетью вдоль тела.

«Еще немного, и я достану его, достану. Он ранен...» — догадался старшина, все убыстряя и без того бешеный темп бега.

И вдруг... Вмиг приподняло его и бросило. Ни боли, ни страха. Какая-то дремотная мягкость. И, сверкнув, погасла мысль: «Так вот она такая, смерть». И тотчас почти из небытия, как из вязкого утреннего тумана, появился отец, Степан Евдокимович Недозор. Черные глаза вприщур. И смеющееся лицо его как бы говорило: «День мой — век мой!»

«К чему это?» — забилась в мозг Ивы тревожная мысль, и он вдруг понял, что жив и не пуля это вовсе ударила и бросила его на землю. В сердце что-то оборвалось и зазвенело долгой пронзительной болью. Боль несла гибель. Расцепив сведенные судорогой руки, прижатые к груди, Ива лихорадочно зашарил по карманам — он искал лекарства. И оттого, что так долго не мог найти его, старшину бросило в озноб. Недозор сейчас не страшился смерти. Лекарства нужны были, чтобы продлить жизнь ровно настолько, сколько потребует последнее, может быть, самое важное дело, которое должен был совершить Ива.

Лекарства отыскиались в боковом кармане пиджака. Он высыпал из узенькой пробирки на ладонь крошечные белые шарики и положил под язык сразу три штуки. Потом, когда они растаяли, еще три. Лекарство ударило в голову, словно бы даже обожгло мозг, но Ива знал, что так оно и должно быть и скоро он сможет вдохнуть полной грудью.

«На войне как на войне», — подумал Недозор и вдруг увидел себя на раскаленном июльском поле и слышал стригущие землю пулеметные очереди. Его батальон лежит за железнодорожной насыпью, и он один посреди поля, а из дота с холма бьет крупнокалиберный пулемет, и только чудо спасает пока человека. Он вскакивает и бежит к холму зигзагом, сбивая пулеметчиков с прицела. Сзади грохочет выстрелами железнодорожная насыпь. Пули и мины взвихривают перед дотом белую песчаную пыль, и, прикрытый этой пылью, как дымовой завесой, он снова бросается к подножию холма, тяжело хватая воздух воспаленным ртом.

Старшина вспомнил, как командир полка обратился именно к нему, сержанту завода разведки Иве Недозору. А случилось такое в боях за Левобережную Украину. Тщательно замаскированный немецкий дот обнаружил себя в последнюю минуту, когда полк брал одну из тех

господствующих безымянных высот, которые за время войны никак не удавалось взять малой кровью.

Дот бомбили наши «илы», стволы десятков орудий раскалились от стрельбы по вершине холма. Дот же был как заколдованный, а может быть, немцы не пожалели бетона и стали, чтобы побольше пролилось славянской кровушки за выход к Днепру.

«Ну, граница, — сказал подполковник, — на тебя надежда. Взорвешь дот — к ордену представляю».

«К ордену не обязательно, — тихо молвил тогда Недозор, — а вот огоньком прикройте, чтобы фрица с прицела сбить».

Весь батальон вел огонь по амбразуре дота. Связку толовых шашек тащил в вещмешке сержант Недозор — запалы держал в беремечке под гимнастеркой, чтобы не зацепило пульей.

И не полз, а стелился худенький сержант последние двести метров по прошлогоднему жнивью. И каждый полынный куст был ему броней и укрытием. Может, и спасло его тогда от пули неровно вспаханное танками поле.

Горел уже сложенный Ивой костерок из сухих веток, что развел он под одиноко стоящей сосенкой, занималась уже кора на деревце, а старшине все виделась белесая, изрытая танковыми гусеницами земля того бесконечного солдатского поля и слышались глухие удары свинца об эту землю. Он как бы вновь ощутил и полынную горечь во рту, и жар полуденного, ослепительно белого солнца, и свое хриплое, страшное дыхание.

...У него еще хватило сил отползти от сосенки, но он уже не услышал того, что сказал или собирался сказать: — Прости меня, лес...

Капитан Стрижепой

«Почему я бегу? — думал Стрижепой. — Нужно заставить

себя идти спокойно: сосна потушена, Недозора отвезли в больницу. Барс взял след, Поважный в курсе всех дел, а я бегу. Я бегу потому, что нарушитель — Гонда и он повернул к границе. Я боюсь, что он снова канет в этих озерцах и болотцах, зароется в другую нору — схрон и бог весть сколько будет там отсиживаться».

Капитан вспомнил лежащего навзничь Недозора, его бледное заострившееся лицо с пепельными подглазьями,

и в который уже раз повторил про себя лаконичный текст записки, нацарапанной карандашом на газетном клочке и намертво зажатой в кулаке: «Товарищу капитану Стриженому. Мною по дороге к росстани в Черном бору опознан Иохим Гонда. У него что-то с лицом. Преследовал врага, пока мог. Ранил его, но не знаю куда. Уходит на север, думаю, к шоссе. Все. Прощайте. Сосну поджигаю, чтобы пришли люди и нашли меня. Недозор».

Стриженой скрипнул зубами. Его не покидало странное ощущение песвоего тела. Оно словно слегка закаменело, стало жестким и непослушным.

С того момента, как нашли старшину и потушили пожар, капитан думал о Недозоре. Он вспоминал его в разные годы и в разных ситуациях, немного ворчливого, как многие пожилые люди, порой по-детски застенчивого и безмерно доброго к солдатам-первогодкам, и догадывался, за что любили его пограничники. Он всех их встречал и провожал, как собственных детей.

Капитан поймал себя на мысли, что и сам думает о Недозоре как о близком, родном человеке.

Граница — это люди. Старшина Недозор умел создавать людей границы. И он был предан ей до конца. Не эту ли преданность чувствовали немного растерянные парни, прибывшие на пополнение, когда старшина выстраивал их на заставском дворе? Он проникал в каждого нового человека так, словно тот был чем-то необыкновенно интересен. Он открывал таланты и характеры. Кто был лучший следопыт отряда Глеб Гомозков до встречи с Недозором? Хулиганистый, разбитной парнишка с непомерно развитым честолюбием. Старшина разглядел в нем призвание следопыта, особое чутье, догадку на след, трогательную и властную любовь к животным.

А оп, Андрей Стриженой, разве не учился сам у Ивы Степановича выдержке и терпению, доброте и строгости? И всем тонкостям пограничного дела, которым невозможно обучить ни в одной высшей школе.

— ...«Атлас», «Атлас», я — «Сорочь», я — «Сорочь».

Мегафон трещит и хрипит, словно его пронзают десятки молний.

— Я — «Атлас», — спокойно говорит Стриженой, — иду по следу. Закройте правый фланг... — И после недолгого раздумья глухо добавляет: — Всеми имеющимися людьми.

Сейчас важно отсесть Гонду от развалин старого замка.

Интуиция подсказывала капитану, что Палач устремится к тому месту, где он покинул «носильщика», то есть устремится к воде. Маневренная группа отряда, если она успеет, заставит Гонду повернуть на юг. Так опытные загонщики выгоняют волка на затаившегося стрелка.

Гомозков

«...Дыши в себя, если враг близко», — вспомнил Гомозков

третью заповедь старшины Недозора и придержал Барса. После ранения Мушкета следопыт ревниво относился ко всему, что делал Барс. Понимал, собака работает хорошо, и все же не мог избавиться от ощущения недоверия к новому другу.

Теперь Гомозков ступал осторожно. Слух и зрение обрели особую остроту. Он вдруг ощутил необъяснимое беспокойство, которое заставляет горных змей уползать в долины накануне землетрясения. Было такое ощущение, что тебя разглядывают. Барс рвался с поводка.

«Он где-то рядом, — подумал следопыт, — совсем рядом. Нужно дождаться отставших Агальцова и Гордыню. И, может быть, капитана. Он с группой идет к ручью».

На краю заболоченной поляны Гомозков остановился и, чувствуя холодок в груди, лег за поваленное бурей дерево. Из этого чахлого болотца и вытекал тот злополучный ручей, который петлял вдоль КСП, где Агальцов увидел шаровую молнию.

На болотце едва слышно всхлипнуло. Раз, другой. Гомозков до боли в ушах вслушивался в эти вроде бы знакомые звуки. Легкий ветерок принес тихий шелест.

«Уходит или провоцирует? — подумал проводник. — Пустить Барса?.. Но ведь ребята вот-вот появятся. Пересечь открытую поляну и... наткнуться на пулю?» У Гомозкова вдруг заныла левая, контуженная две недели назад рука. «Носильщик» Гонды стрелял как бог. Если бы не Агальцов...

Сзади накатился нестройный треск сухостойника. Следопыт трижды крикнул совой. Треск смолк. Вскоре Агальцов и Гордыня подползли к поваленному дереву и молча уставились на поблескивающее сквозь кочкарник болотце. Они ни о чем не спросили, знали, Гомозков зря землю обнимать не будет.

— Он пойдет по ручью, а мы следом, — шепнул следопыт солдатам.

Плеск стал слышной. Уходит.

— Прикрой, — шепнул Гомозков, — потом за мной...

И выскочил на свободное пространство.

...Пятый час идет поиск. Кольцо сжалось до предела. Но след потерян. Гонда не вышел из ручья, возможно, он даже и не входил в него. Барс метался по обоим берегам, не находя привычного запаха, и жалобно повизгивал, словно жалуюсь на собственную беспомощность. Гомозков стоял потупившись, понимая, что ошибся, уверовав в единственно возможный, как ему казалось, маршрут Гонды. Палач оказался хитрей. Он догадался, что тропа к КСП перекрыта, и избрал другой путь. Скорее всего, сделал по болотцу петлю, пропустил мимо себя пограничников и снова вышел в наш тыл. Только вот в каком месте?.. Начальник отряда полковник Поважный развернул мажоранную группу к югу, приказав Стрижену с «тревожной» вернуться к болотцу и прочесать весь квадрат в поисках следа. Застава же во главе с замполитом лейтенантом Крапивинным наглухо закрыла границу по всему участку.

Гонда

Обманув пограничников, Гонда долго кружил по болотцам, находя одному ему известные подводные тропки. Но он понимал: пограничники вернутся. Пора использовать запасной вариант, о котором Гонда умолчал в кабинете Веттинга. Для этого нужно было дожидаться темноты и проникнуть на территорию развалин замка. В запасе минимум два часа. День клонится к закату. Козырной не верил в засаду. Развалины на виду, и только дурак решится лезть в западню. Да и обшарили пограничники все вокруг. Развалины — тыл границы. И все же нужно быть осторожным — не выдать себя движением. Если на башне наблюдатель, он рано или поздно обнаружит его. Значит, по-пластунски от дерева к дереву. И на ближних подступах ждать сумерек. Поспешность может все погубить.

— Гут, — сказал он себе по-немецки и вдруг подумал, что еще вчера ему показалась бы нелепой даже мысль о том, что он будет утюжить животом эту ненавистную ему землю.

По тому, как дрожали пальцы, Гонда понял, что смертельно устал. Он пошарил в карманах и достал таблетки, завернутые в целлофан. «Они придадут вам бодрости и восстановят силы», — вспомнил Гонда наставления Веттинга.

— Сволочи, — пробормотал Козырной и тяжело лег на густо растущую осоку.

У него было состояние полной безысходности. Хотелось вот так лежать, лежать, не поднимая головы, не вслушиваясь в шорохи и шумы близкого леса.

«Бойтесь абулии больше пограничников — она порождает апатию». А ведь верно. Немец прав. Мне сейчас все равно, что будет через час, через сутки. И только инстинкт самосохранения пока еще срабатывает. Ему вспомнилась одна из ночей большого города Франкфурта-на-Майне...

Его и еще одного слушателя разведшколы послали пообщаться с туристами из Советского Союза. Туристы прибывали поздно вечером из Мюнхена на автобусе. Гонда и Стрелец (под такой кличкой значился другой агент) долго кружили вокруг гостиницы, где остановились туристы. Они уже потеряли всякую надежду, когда в полночь из гостиницы вышли двое советских — парень в джинсовом костюме и широкоплечий, спортивного вида мужчина лет пятидесяти.

Франкфурт, этот «маленький Париж», как его любят называть немцы, засыпал рано, и двое русских шагали по пустынным улицам, залитым светом реклам, останавливаясь у освещенных витрин, о чем-то оживленно переговариваясь.

Гонда вышел из темного переулочка с единственной целью — напугать этих не в меру смелых путешественников. И ошибся. Оба русских спокойно обошли их с разных сторон, словно и Гонда и Стрелец были дорожными указателями. И тогда Стрелец крикнул им вслед по-русски:

— Эй, земляки, хотим поговорить.

Оба советских остановились, несколько, может быть, удивленные тем, что их окликнули, да еще по-русски.

— Вы из Москвы? — спросил Стрелец.

— Из Москвы, — ответил тот, что был постарше. — А вы откуда?

— Мы?.. Я — с Урала, а вот он — с Кубани...

— И живете в Западной Германии?.. — улыбнулся парень в джинсовом костюме.

— Да. Так вот случилось, — пробормотал Стрелец. — Поговорить захотелось, знаете ли, на родном языке.

— Понятно, — сказал тот, что постарше. — И о чем же мы будем с вами говорить?

И Стрельца вдруг понесло:

— Я вот хочу на родину вернуться... Как это лучше сделать?

— Обратитесь в советское посольство, — ответил пожилой, — как все, кто хочет вернуться. Вам помогут...

— А КГБ?.. — ляпнул Стрелец.

— Тогда возвращаться не стоит, — усмехнулся пожилой.

— Вы воевали? — спросил Гонда.

— Воевал, — разглядывая Стрельца, сказал пожилой, — с первого и до последнего дня...

И, не прощаясь, двое русских повернулись к ним спиной и не спеша зашагали к центру залитого светом огромного города.

— Вот теперь они какие... — растерянно прокизнес Стрелец.

Гонда зло усмехнулся:

— Домой захотелось? Они тебе построят дом с нарами на вечной мерзлоте.

— Что ты, что ты... — бормотал агент. — Мы тут как галушки в сметане.

— Смотри, из макитры не выпади. Подбирать с полу не стапнут...

Где он теперь, «маленький Париж», город Франкфурта-Майне? Вспомнилось же такое. Мюнхен вот не возник, а ведь он прожил в нем без малого пятнадцать лет.

Ксения Стриженая

Колесов оторвался от бипокля.

— Зря мы здесь загораем. Нарушитель сюда не сунется, он сейчас другую дорожку ищет — за нашу КСП...

Ксения Алексеевна промолчала. Она думала о муже. Вот здесь, под этим разбитым козырьком, лежал Павел Стриженой и короткими очередями из ручного пулемета сдерживал банду. Лучшей позиции придумать было невозможно. Автомат Ивы Недозора и «дегтярев» Павла держали на мушке подступы к границе.

В жизни человека бывают часы, когда прожитое как

бы концентрируется, сжимается в короткие, как вспышки, мгновения. Они, эти мгновения, озаряют прошлое, дни и годы обыкновенного мирского существования или даже войны с ее разрушительной силой. Павел прошел войну, а погиб здесь в осенний ночной час, и его наган с серебряной пластинкой холодит сейчас ей руку.

О чем он думал в те минуты, когда нажимал на спусковой крючок пулемета? У него не было времени для боли, для угрызений совести, для печали. Может быть, он думал о том, что хотелось пожить, — ведь для него, веселого, отзывчивого человека, сорок лет были только полуднем жизни.

Познакомились они в предвоенный год. Ксения кончала консерваторию по классу фортепьяно. Тогда много выступали в парках, на открытых эстрадах. Она играла шопеновские ноктюрны, после концерта к окруженной подругами Ксении решительно подошел смуглый кареглазый военный с двумя кубиками в петлицах. Он попросил уделить ему минуту времени. Она чувствовала его молчаливый восторг и неуловимую робость перед ней.

— Вы хотите пригласить меня в кино? — игриво спросила она.

— Куда хотите, — мягко и растерянно сказал он.

— А вы хитрый... — кокетливо заметила Ксения, оглядываясь на подруг.

— Не очень... А вот вы...

И он заговорил о музыке. Он заговорил о ней, как о своей неосуществленной мечте. И спустя много лет Ксения помнила этот удивительно страстный монолог, прерываемый лишь доверительным прикосновением к ее руке в поисках, может быть, вдохновения.

Он открылся ей, как самому близкому человеку. Ее поначалу огорошила такая откровенность и прямота, потом она поняла, что человек этот весь соткан из чистых, благородных помыслов, что он естествен и бесхитроsten в каждом своем порыве.

Они встретились в следующую субботу и пошли в кино. Потом посидели в кафе и выбрались за город, бродили по лесу и вернулись в Москву поздно. Они дружили по-юношески светло и чисто. И полилась между ними та самая вечная и прекрасная музыка, в которой один созвучен другому, и стало невозможно разъять эти созвучия. Они уехали в Среднюю Азию, на границу, к месту службы Павла.

Ей спились березы. По почам она плакала. В первые дни ее потрясло однообразие пейзажа. Песок и редкие кусты саксаула. Беспощадное белое солнце — сорок пять по Цельсию в тени. Можно было сойти с ума. Это уже потом Ксения узнала и поняла красоту весенней, пестрой от тюльпанов и астрагалов пустыни. Оценила вечную, текучую песню песков, полюбила черное бархатное небо с близкими, как нигде, синими-синими звездами. Ей нравилось поить гордых верблюдов. Она научилась ездить верхом, стрелять из винтовки.

Но иногда вспыхивала в ней неодолимая тоска по дому, по Москве, по инструменту, пальцы помнили любимого Шопена, они ничего не хотели забыть, эти тонкие длинные пальцы лучшей выпускницы консерватории. Родился Андрей. А вскоре началась война. Павел писал рапорты с просьбой отправить его на фронт. Он уехал в конце сорок второго под Сталинград. Ксения осталась на заставе, хотя ей предлагали вернуться в Москву, настаивал на том же и Павел. А она осталась. И поднималась по тревоге, как все, и скакала в ночь, сжимая короткий кавалерийский карабин в правой руке, чтобы можно было стрелять навскидку. Она обстирывала и кормила заставу, отрезанную от Большой земли нескончаемыми песками, и ждала писем от Павла. Война уводила его все дальше на запад, а потом пришло письмо из госпиталя. Стриженой писал, что ранен в плечо и в голову, лежит в одном из сочинских госпиталей и, как только подлечится, приедет на заставу.

Он приехал весной, когда цвели тюльпаны и миндаль. Увидел шрам — след бандитского ножа, молча кивнул, все понимая, и позвал на руки четырехлетнего Андрейку. А она смотрела на него, бледного, исхудавшего, с тонкой полоской бескровных губ, и узнавала своего Павла, единственного в мире человека, кому было позволено обнять и поцеловать ее в губы, властно, по-мужски...

«Поклонись своей любви, Ксения», — сказала себе Стриженая. Ей показалось, что она произнесла это вслух. Взглянула на Колесова. Сержант, поджав губы, крутил барабанчики окуляров на бинокле. Она посмотрела на западную часть гигантского лесного массива. Там, над зубчатой кромкой, в розово светящемся небе застыл неправдоподобно красный шар солнца. «Оно похоже на этот сумасшедший, тревожный день», — подумала Ксения.

Полковник Поважный любезно предложил провожа-

того. Молоденький сержант Константин Колесов, узнав, кого будет сопровождать на заставу, был сама предупредительность и внимание. И все же Ксении стоило большого труда уговорить сержанта подняться на башню разрушенного замка. Он уступил только после того, как Стриженая рассказала ему о ночном бое и гибели мужа. И все-таки, прежде чем подняться на башню, Колесов подключился к розетке, связался со штабом отряда и внезапно получил приказ остаться на башне и вести наблюдение до подхода «тревожной» группы.

Ксения ощутила в кармане плаща холод нагана. В нем семь патронов с войны. Полный барабан. Мужнин наган. Единственная вещь, которую Ксения оставила на память. Может быть, потому, что он именной. Тонкая серебряная пластинка на рукоятке. И на ней малопонятная гравировка: «От Гангута до Корсуни — 1945 год».

Сам Стриженой никогда не объяснял смысла надписи на пластинке, однажды только сказал: «Не знаю оружия надежнее, чем наган».

И вот пришла пора распрощаться с дорогой сердцу вещью. Ксения твердо решила подарить наган заставскому музею, где все дышало подвигом мужа и его бойцов.

— Мы здесь не зря, Костя, — запоздало отметила Стриженая, — даже у тренированного человека есть предел физических возможностей. К тому же, как тебе сказали, нарушитель ранен. Он может прийти сюда зализывать свою рану и отдохнуть.

— Да ведь развалины-то эти с башней у всех на виду, — возразил Колесов.

— Ему нужно где-то укрыться... Он ушел по воде и сбил след. И он знает, где его ищут. К границе он не пойдет — умен. Вам известно, что такое схрон?

— Не видел пока. А слышал много, — ответил Колесов.

— Тайники и схроны строили немцы. Вы, конечно, знаете, что такое ОУН. Для этих бандитов и делались подземные квартиры. Сколько их еще на нашей земле осталось... В сорок шестом году у бандитов были даже свои бронетранспортеры и тяжелые минометы. Оуновцы — фанатики, хотя и среди них находились обманутые бандеровской пропагандой простые крестьяне.

— Нам рассказывали, — серьезно сказал Колесов и вдруг спросил: — А кто такой Гонда? Жухов сказал: нарушитель Гонда, и все...

Ксения Алексеевна прищурилась и взяла из рук сержанта бинокль. Долго рассматривала окрестности.

— Я не знаю, кто он сейчас... В ОУНе носил чин надрайонного «проводника»... Жестокый и страшный человек. Недаром его прозвали Палачом. Говорят, только один вид горящего села доставлял ему огромную радость. Пыткам и зверствам Гонды нет числа...

Шар солнца скатился за лес, оставив призрачный, слабый след. Зубчатая кромка бора уходила в сумрак, буквально на глазах исчезала, сливаясь с еще теплившимся мягким светом горизонтом.

— Все, — сказала Стриженная, возвращая бинокль. — Через полчаса сюда явится Андрей с «тревожной». Теперь можно и на заставу. Иногда, Костя, человеку просто необходимо почувствовать, что он делает важное и опасное дело... Звездный час не случился, значит, не о чем и жалеть. Осмотри еще раз подходы, а я вниз. Подожду тебя под аркой.

Она спустилась по каменным стертým ступеням в узкий, стиснутый кирпичными стенами двор. Двор был глухой, и только в дальнем углу зиял пролом. И в нем стоял человек. В сумерках он казался вырезанной из фанеры черной мишенью. Стриженная вздрогнула. Инстинкт бросил ее на холодные плиты. И тотчас глухо хлопнуло. И пуля, трижды срикошетив от стен, бесформенным комочком свинца подкатилась к самому лицу Ксении.

«Костя!.. Он же будет спускаться. Ему не сделать и двух шагов по лестнице. И он ничего не слышит там... наверху...» — молнией пронеслось в мозгу.

Снова глухо щелкнул бесшумный пистолет. И снова стены отозвались на выстрел тройным стуком.

«Он меня плохо видит — серый плащ на серых плитах. Нагап!» — вспомнила Ксения. Она успела рвануть из кармана оружие, когда осколки гранитной плиты ударили в лицо, обжигая нестерпимой болью. Ослепленная, она стреляла наугад в направлении пролома, предупреждая Колесова о появлении Гонды.

Козырной уже покинул двор. Только на миг его фигура еще раз появилась в проломе — тогда и прозвучала короткая автоматная очередь. Окрика Палач не слышал. Пуля ударила в голову выше левого виска, жестоко контузила того, кто именовался Иохимом Гондой, по кличке Козырной.

Гонда

У него было странное ощущение несвоего тела. Он видел и чувствовал, но не мог шевельнуться. Сквозь полуприкрытые веки Гонда различил склонившееся над ним лицо молодого скуластого парня. Тот сказал:

— Вот и все...

А Гонда думал об ампуле, вшитой в воротник джинсовой куртки. Вторая — в перстне на безымянном пальце правой руки. Нужно только дотянуться до одной из них и раздавить зубами. Мышцы отказывались повиноваться мозгу. Этого не мог предвидеть ни Веттинг, ни тощий американец, по фамилии Фисбюри. Этого не мог предвидеть никто.

Кололо в висках. Тело казалось объатым пламенем. Внезапно он вспомнил себя в эсэсовском черном мундире с двумя молниями — готическими буквами «С» на левой петлице. Есть ли у них фотографии того времени, когда он служил в военно-диверсионном подразделении «Нахтигаль»? Его охватила бешеная злоба. Не хватило каких-нибудь пяти минут, чтобы вырваться в подземелье. Он бы сдвинул плиту и одной рукой. Она в левом углу под лестницей. Никто, кроме атамана Салового и брата Сигизмунда, не знал о ходе в подземелье. Обоих давно нет в живых. А может быть, и этот тайный вход открыт пограничниками? Помнится, еще в сорок восьмом там крутилась группа войсковых саперов. Как бы там ни было, теперь и эта возможность уйти, раствориться в полузасыпанных галереях замка рухнула. Мелькнула слепая и беспомощная мысль о побеге. И тут же угасла — после такой контузии далеко не убежишь. Поздно. Он не смог продать жизнь дорого, теперь нужно попробовать ее купить. И пусть идут ко всем чертям и тощий американец, и Веттинг со своей любовью ко всему изящному. Он выложит все, что знает. И потребует гарантии. Он будет жить до последнего. Есть еще его Величество Случай. Ведь ушел же он в сорок восьмом от «ястребков», из самого пекла вырвался. А умереть он всегда успеет.

Эпилог

Дорога то взлетала на холм, то круто падала вниз, и тогда казалось, что она уходит под землю, — такой туман стоял в пизинах.

Андрей искоса взглядывал на мать. Ксения Алексеевна зябко куталась в домотканый гущульский платок и грустно покачивала головой, утверждая себя в каких-то давно выношенных мыслях.

Лес на холмах сквозно сиял льдистой пустотой. Шофер-первогодок вел газик осторожно, словно вез бесценный хрупкий груз. Он тоже поглядывал на Ксению Алексеевну, и с лица его не сходило выражение плохо скрываемого восторга.

— Я возьму его к себе, — внезапно сказала Стриженая. — Он будет жить в комнате Нины...

— В лесничестве ему предлагали работу, — осторожно напомнил Андрей. — Он не сможет без границы...

— Когда не сможет, тогда и уедет, а пока поживет у меня. Я за ним присмотрю.

Андрей смотрел на рваный глубокий шрам, тянувшийся от уха почти до самого подбородка, и узнавал свою мать. Она не менялась с годами — только серебристей становились волосы, да солнышки морщин делались гуще. Ксения Алексеевна работала. Общительная по натуре, она всегда была окружена людьми. И все же родной человек у нее один — он, ее сын, плоть от плоти матери. Даже глаза и те с материнской, едва приметной раскосинкой.

Ксения Алексеевна повернулась к сыну лицом:

— Не смотри на меня так. Красота мне все равно ни к чему. А дети привыкли. Ты ведь не знаешь, я забыла тебе рассказать. Мы в школе ставили оперу, детскую, конечно. Пришлось мне на время стать композитором. И представляешь — не совсем бесталапно.

«Мать все понимает, — подумал Стриженой, — о многом догадывается, и о Недозоре заговорила неспроста. После того, что случилось в Черном бору, о службе не может быть и речи. И мать не верит в возвращение Нины. Две женщины, а такие разные. Он вдруг представил себе Нину при встрече с Гондой и не мог себе сказать, как бы она поступила. В ней слишком много было для себя, в матери же — все для людей. Вот и сейчас думает об одиноком больном Иве Степановиче».

Газик проскочил пригород, пересек центр и выкатился прямо к вокзалу. Стриженой помог матери выйти из машины. Ксения Алексеевна прощально помахала рукой водителю.

Андрей решительно шагнул к привокзальному скверу.

— Посидим...

Они нашли свободную скамью, окруженную с двух сторон акациями. Некогда густо поросшие листвою дерева проредились, с них срывались легкие, истонченные листья, прихваченные первыми ночными заморозками.

Ксения Алексеевна молчала. Они сидели близко, рядом, и мать чувствовала, как труден сыну предстоящий разговор. И она первая начала его:

— Такие прорывы не каждый год, Андрей.

— Да, не каждый, — согласно кивнул Стриженой, — но я к нему готовился...

— Поводил он вас за нос с этим скроном... — сказала мать. — Кто бы мог подумать: пещера, убежище — в полукилометре от КСП... И все-таки вы его взяли. А Колесов молодчина... И Агальцов... Настоящие ребята... — Ксения Алексеевна усмехнулась: — Ты только не думай, мать героическая женщина. Мне было страшно так же, как в сорок втором, когда я заработала первый шрам, как в сорок восьмом... когда погиб твой отец. — Ксения Алексеевна потеряла виски и вдруг остро и озорно взглянула в лицо сыну: — Ты устал... Последние недели были трудными и неудачными. А заставка числится в отличных... В ошибках разберешься сам... Они для того и совершаются, чтобы на них учились. Но вот что я скажу тебе на прощание... Нужно всегда помнить, что каждый из вас значит для государства здесь, на пограничной полосе. Что бы ни случилось с душой, как бы ни выворачивалась она от боли, твои тревоги ничто в сравнении с тревогами границы на всем бесконечном ее протяжении...

— ...На всем бесконечном ее протяжении, — как эхо повторил Стриженой. — Спасибо, мама...

Ксения Алексеевна достала из кармана револьвер.

— Хотела вот увезти обратно. Все равно, думала, нигде патронов для нагана теперь не достанешь. Ведь те, которые были, — с войны. Я счастлива, Андрюша, что стреляла из него по врагу. Оказывается, можно хоть на минуту вернуть молодость. И я поняла, что не имею больше права на это оружие. На границе оно должно передаваться по наследству. Возьми... Я его и везла в комнату славы. Пойдем на перрон...

Ксения Алексеевна озорно, по-молодому рассмеялась и легонько щелкнула сына пальцем по носу, как это делала давным-давно, когда он пытался дотянуться рукой до макушки карликового карагача, росшего во дворе отцовской заставы.

НА РАССТОЯНИИ КРИКА

С аэродрома, где приземлился Ли-2, его повезли на новеньком «виллисе». Молчаливый подтянутый капитан коротко козырнул и вежливо распахнул заднюю дверцу.

По сторонам бежали взбухшие, сбросившие снег поля, кое-где на речках синел еще ледок, отступивший от берегов, но уже чувствовалось: еще день-два, и хлынет тепло, сорвутся первые дожди, зацветут сады.

Майор Андрей Долгинцов смотрел на черный, слившийся с землей лес на горизонте и чувствовал, как все, что он видел, вдруг стало близким, волнующим. Подумать только! Четыре года назад он воевал здесь — в морозные ноябрьские ночи сорок первого уходил за «языками» в немецкий тыл, — но так ни разу и не побывал в Москве. И вот теперь, когда война идет к победному концу, внезапный вызов в столицу.

«Виллис» остановился у приземистого незаметного серого здания. Капитан провел его мимо часовых, предъявив удостоверение. Они поднялись на второй этаж и вошли в просторную комнату, где за столом сидел человек в форме старшего лейтенанта.

— Садитесь, — предложил старший лейтенант, — генерал освободится через несколько минут.

Генерал, вопреки ожиданиям Андрея, оказался довольно молодым человеком с веселыми, живыми глазами. Мундир сидел на нем ладно, а тройная планка орденских лент выдавала в нем человека бывалого и заслуженного. Он поднялся из-за стола, пожал Андрею руку и кивнул на кресло.

— Сколько времени вы служили в армейской разведке, Андрей Степанович?

— Два года три месяца, товарищ генерал.

— Переведены к нам в сентябре сорок четвертого?

— Так точно.

— Я помню две операции, в которых вы участвовали... Они прошли успешно. Тогда вы работали под кличкой Седой?

— Так точно.

— Говорят, вы удачливы...

— Всяко бывало.

Долгинцов усмехнулся.

— А все же?..

— Удачлив, товарищ генерал.

— Разряд по альпинизму?..

— Кандидат в мастера.

— Историю Германии изучали?

— В пределах училища, и еще немного сверх того.

— Понимаю. — Генерал улыбнулся: — Придется внимательно прочитать вот эти книги... — Он пододвинул Долгинцову список. — Немецкий знаете в пределах училища или сверх того?

— Немецкий знаю, товарищ генерал.

— Это мы проверим, — весело сказал генерал, — я вам сейчас прочитаю строфу по-немецки, а вы попробуйте определить, в какой части Германии я родился и жил. Генерал откинул голову и, полузакрыв глаза, прочитал наизусть:

Ты знаешь безжалостный Дантов ад,
Звонящие гневом терцины!
Того, кто поэтом на казнь обречен,
И бог не спасет от пучины.

— Рейнланд-Пфальц, южные области, товарищ генерал. А строфа из Гейне... «Зимняя сказка».

Генерал, не скрывая удивления, внимательно взглянул на разведчика:

— Похвально... майор. Весьма похвально... Откуда такое знание диалекта?

— Приходилось допрашивать разных пемцев... Подмечал нюансы в произношении.

Генерал задумчиво повертел в руках карандаш.

— О качествах разведчика много написано, еще больше говорится в официальных и частных беседах. А разведка — это тысячи мелочей, которые нужно помнить. Развитый интеллект, эрудиция, быстрота мышления... Вы должны знать правду. Выбор пал на вас по многим причинам.

— Я готов выполнить задание. — Андрей привстал.

Генерал коротко кивнул:

— Тогда к делу. В боях за Шрайберсдорф нашими разведчиками захвачен тяжелораненый гауптман Удо фон Плаффен. При обыске обнаружены испанский паспорт и рекомендательное письмо к Кальтенбруннеру. Письмо содержит просьбу переправить Удо в Швейцарию. Заботливый папаша, генерал СС, просит своего старого приятеля Эрнста Кальтенбруннера об одолжении. Генерал СС Дитрих фон Плаффен погиб во время налета американской авиации на Нюрнберг. Других близких родственников у гауптмана нет. Вы одного возраста с Удо, похожи лицом, фигурой, сединой. Удо рожден на земле Рейнланд-Пфальц...

— Понимаю, — сказал Долгинцов.

— Вы пойдете на связь с нашим человеком в Австрии и останетесь там для выполнения особо важного задания.

Генерал встал, подошел к зашторенной стене и открыл большую крупномасштабную карту.

— Покажите все населенные пункты в Австрийских Альпах, где вы бывали с альпинистской группой в тридцать восьмом году...

Седой взглянул на карту и сразу вспомнил последнее свое восхождение.

Австрийцы пригласили группу советских студентов-альпинистов штурмовать трехтысячник в районе Гроссглокнер. Это был своеобразный обмен. Четверо австрийцев в то же время совершали восхождение на Ушбу. Трехтысячник они тогда взяли легко, играючи. После Тянь-Шаня и Памира Альпы показались горюшками.

— Филлах, — сказал Седой, — небольшой курортный городок. — Он переместил указку чуть ниже. — Штирия... Австрийцы называют ее Грюне Марк — «зеленый край». Город Клагенфурт, по населению и площади больше, чем Филлах, но менее экзотичен. Здесь наша группа жила целые сутки... Бад Аусзее, горный курорт... озеро, кирха, прогулка на катере... лебеди, ночной ресторан.

— Запомнил, — улыбнулся глазами генерал.

— Мы там праздновали восхождение... «Мозельвейн» из подвалов господина Фишбаха.

— Достаточно, Андрей Степанович. Бад Аусзее — ваша цель. Подробности и вся подготовка к операции — в разведотделе штаба фронта. Сожалею, что не могу показать вам Удо фон Плаффена. Гауптман пока еще в тяжелом состоянии. Вояка он бывалый — Франция, Греция,

Африка и наша Белоруссия... Дважды был ранен. Впрочем, это все есть в досье. Нам удалось все же поговорить с ним. Испанский паспорт используйте только в крайнем случае. Гестаповцы не очень жалуют дезертиров, даже в перспективе. И помните: несмотря на близость поражения, в Германии наблюдается повышенное чинопочитание. Парадоксально, но это так. И не выпячивайте приставку «фон». Сейчас она не популярна... Будьте внимательны к мелочам... В Москве пробудете трое суток. На аэродром вас проводят. Желаю успеха и... удачи, товарищ майор, удачи...

* * *

Говоривший подполковник сильно шурился и сверлил Седого глазами-буравчиками, словно на допросе. Холодный, равнодушный голос раздражал Андрея.

— У нас мало времени на детальную разработку операции. Вы разведчик с опытом и хорошей интуицией, бывали в горах, выбрасывались с парашютом, знаете в совершенстве немецкий. Наблюдательны, сообразительны...

Подполковник продолжал говорить, слегка раскачиваясь. И Седой подумал, что этот человек что-то убаюкивает в себе, может быть постоянную боль.

— Австрия — ваша цель. Точнее, район Альпийской крепости, но не сам Редл-ципф. Аусзее. Альтаусзее. Монтзее. Изучите карту, хотя вы там и бывали. Пойдете от селения к селению, от озера к озеру. Самолет возьмет вас в Шрайберсдорфе, ночью проскользните левее Граца... Впрочем, на карте обозначена точка выброски. Достигнете Аусзее и через нашего человека на явочной квартире передадите для Аякса письмо. С той же минуты поступаете в распоряжение Аякса. Нашего человека зовут Австриец... Пароль — «Я привез вам посылку от Анны». Отзыв — «Давно жду. Благодарю».

«А ведь он похож на немца, — подумал Седой, разглядывая асимметричное худощавое лицо подполковника, — типичный пруссак, играющий роль русского. И не исключено, что бывал «там».

Подполковник почувствовал, что его разглядывают, остро и холодно взглянул на Седого:

— Вам придется столкнуться с людьми Кальтенбрунера. Альпы — сейчас его компетенция. Каждый новый человек под подозрением и слежкой. От вас не требуется

особой конспирации. Нужно прежде всего стать немецким офицером с солидным рекомендательным письмом к весьма влиятельному в рейхе человеку, то есть к самому Кальтенбруннеру, и жить жизнью такого офицера. Характер и склонности вашего визави? Лучше, если он не будет служакой. Вы третий человек, идущий на связь с Аяксом. Два месяца, как замолкла рация. Многое нам неясно. Возможен провал в Аусзее, не исключено, что квартира под наблюдением, а Австриец засвечен. А теперь привыкайте... к этой вот вещице.

Подполковник достал из кармана изящную коробочку, отделанную сафьяном. Усмехнувшись, раскрыл ее. Свет настольной лампы, преломившись в гранях камня, вспыхнул пестерпимым ярким всплеском.

— В перстне настоящий бриллиант, сорок восемь каратов, фамильная драгоценность фон Плаффенов. Монограмма на платиновой основе перстня. Бриллиант известен в Германии и за рубежом, так что будете носить на пальце целое состояние, я бы сказал, танковую бригаду.

Седой взглянул подполковнику прямо в глаза. Тот спокойно выдержал взгляд.

— Оставить монограмму и вставить фальшивый бриллиант? Нет. То, что должны сделать Аякс и вы, стоит много больше. Ваш перстень должен поражать воображение и по возможности открывать вам двери и... людей. Ну а самое главное — камень прикроет вас. У человека с таким состоянием есть веская причина оказаться в предгорьях Альп и, может быть, совершить прогулку к швейцарской границе.

— Я должен передать рекомендательное письмо в капелярию Кальтенбруннера? — спросил Седой, рассматривая бриллиант.

— Да. Чтобы не вызвать подозрений. Для окружающих вы человек, жаждущий аудиенции у одного из влиятельных людей рейха.

— Ну а если...

— «Если» не будет. Кальтенбруннер не принимает никого, он готовится к встрече Гитлера. Да, майор, недалеко от Альтаусее подготовлена посадочная площадка для личного самолета фюрера, который должен взлететь с одной из площадей осажженного Берлина. Вот только взлетит ли? Но Кальтенбруннер ждет... Его резиденция в Альтаусее, вас туда просто не пустят. На этом и строится наш расчет. Письмо настоящее. Изъято у раненого

гауптмана Удо фон Плаффена. Перстень тоже. Шанс встретить в Аусзее человека, знавшего Удо, невелик. Гауптман — офицер вермахта, а в Австрийских Альпах дислоцированы дивизии «Эдельвейс». Теперь о сути задания. В районе Альтаусзее находятся копи, где в глубоких шахтах гитлеровцы захоронили сокровища третьего рейха. Ясно, что при приближении американских войск шахты будут взорваны. Нам известно также, что доверенное лицо Кальтенбруннера в определенный день двинется через горы в Северную Италию и оттуда в Швейцарию. Оно понесет главный капитал Кальтена — микро пленку с данными об агентуре, оставленной секретными службами в странах Восточной Европы. Мы не думаем, что Эрнст Кальтенбруннер хочет купить у американцев жизнь этой микро пленкой. Скорее всего, он надеется, что агентура пригодится нацистскому подполью. Человек Кальтена сильный, выносливый, в прошлом альпинист и горнолыжник. На границе с Швейцарией у немцев есть «окно». Агента наверняка будут встречать на итальянской стороне или раньше, у перевала. Уверен, если вам удастся войти в контакт с Аяксом, узнаете больше и в подробностях. Два месяца молчит рация...

— Разрешите вопрос, товарищ подполковник? — Седой достал пачку «Казбека», взглянул, спрашивая разрешения закурить.

— Курите. И пусть это будет последняя пачка. Удо фон Плаффен не курил. Это из показаний пленных. Ваш вопрос... Его нетрудно предугадать. Что делать, если... Если не войдете в контакт с Аяксом, действуйте по своему усмотрению. Альпийская крепость — не последнее логово для нацистов. Альпы открывают дорогу в Швейцарию и Северную Италию. Люди Кальтена и Мюллера пока еще носят форму и находятся на службе, но настанет час, и они побегут, но побегут организованно, группами. Возможно, с одной из таких групп пойдет и человек Кальтена. Ему нужно будет прикрытие. Вам нельзя ошибиться в выборе группы. В горах же... не мне вам объяснять, как берут «языка». Конечный же результат — микро пленка.

Подполковник поморщился и прикрыл глаза. В свете, падающем от настольной лампы. Седой видел, как заострились скулы на лице собеседника, как плотно сжались губы. Холодный, безразличный тон, выдерживаемый подполковником до этой вот минуты, помогал ему держаться,

сохранять ясность мысли. Этот человек не вылежался в госпитале и сейчас страдал от постоянной глубокой боли. Седой знал таких людей, да он и сам был из той же породы. Седой достал из заднего кармана брюк плоскую трофейную фляжку, плеснул коричневатую искрящуюся жидкость в стакан и пегромко сказал:

— Выпейте... товарищ подполковник.

Разжались губы, дрогнули веки, подполковник открыл глаза, несколько мгновений смотрел на Седого, словно не узнавая, затем увидел стакан, неуверенно потянулся к нему. Боясь уронить, взял его обеими руками, отпил глоток, спросил:

— Откуда... «Мартель»?

— Трофей. Разведчики подарили по старому знакомству, — усмехнулся Седой. — Выпейте, помогает, по себе знаю.

— Сколько дырок в тебе, майор?

— Восемь...

— А мне говорили, три...

— Устаревшие сведения.

Подполковник допил копыак залпом, стукнул стаканом о стол.

— Монолог с лирическим отступлением, — буркнул он и посмотрел на часы. — В письме содержится просьба легализовать Удо за границей. Испанский паспорт указывает адрес. Старик заботился о судьбе сына, и это понятно. Удо твоего возраста и немного похож. Все, майор. Подробности, карта, письмо и фотография Австрийца — в канцелярии. У тебя впереди ночь...

— И еще два дня...

— Да. И два дня. Не забывай о портном. Форма должна сидеть ладно. Ты все-таки аристократ. И еще вот что... — Подполковник ссутулился, погасил настольную лампу, лицо его сразу стало странно неподвижным, отчужденным. — Может случиться так, что квартира в Аусзее провалена. Тогда обрати внимание на цветы, особенно в кафе на столиках. Увидишь фиалки, изыщи возможность сесть за этот столик. Я уверен: тебя «прочитают», если фиалки на столе не случайность. Это старый резервный пароль. Сейчас весна, и в предгорьях Альп много фиалок. Чтобы тебя «прочитали», нужно попросить официанта заменить цветы на свежие. Потом самое трудное — ждать. И будь внимателен к мелочам. Аякс будет проверять тебя.

Подполковник тяжело поднялся из-за стола, остро и, как показалось Седому, насмешливо взглянул на разведчика:

— Я не имею права сказать тебе: береги себя. Войне конец. Самое большее — через месяц. Не торопись... даже если все будет складываться нормально. Не торопись. Ну... Сухов моя фамилия...

Он вышел из-за стола, привлекая правую ногу, протянул Седому тонкую бледную руку. Рукопожатие неожиданно оказалось цепким и сильным.

* * *

Он три часа ехал автобусом, потом два часа шел пешком через незнакомый глухой лес, пока не вышел на узкий проселок, вымощенный гранитом. Проселок должен был привести его в Аусзее. Следовало опасаться магистралей, где проверка документов, как сито — через каждые десять километров.

Ночной прыжок был удачным. Седой приземлился на большой поляне, закопал парашют, сориентировался по карте, добрался до шоссе и затаился до утра в кустарнике. Автобусная остановка оказалась неподалеку, и первым автобусом капитан вермахта Удо фон Плаффен уже ехал к Альпам, пряча глаза за темными стеклами очков — весеннее солнце заливало салон.

Он не доехал до полосатого шлагбаума, где начиналась «зона», двух остановок, вышел из автобуса и свернул в лес. Седой не сомневался в надежности своих документов, но все-таки боялся попасть под наблюдение. Появившись в городке без соглядата, он мог несколько часов оставаться безнадзорным и попытаться за это время проверить Австрийца.

Проселок точно вывел разведчика к озеру, возле которого разбросал свои черепичные крыши небольшой курортный городок, весь утопающий в весенней кипели садов.

Швейцар местной гостиницы, получив от Седого щедрые чаевые, вернул ему уже заполненный бланк.

— Не рекомендую останавливаться у нас, — быстро сказал он, — тесно, отдельных номеров нет. И шумно — внизу ночной ресторан. Я дам вам адрес. — Он усмехнулся: — Пансионат ффрау Хольценбайн. Роскошные комнаты, теплая вода, австрийская кухня и тишина. Дорого...

Седой кивнул. И швейцар написал короткую записку на обратной стороне уже заполненного бланка.

Здесь, в гостинице, Седой впервые почувствовал силу фамильного бриллианта. Швейцар не сводил глаз с перстня. Козырнув, разведчик вышел на улицу. Прежде чем идти в пансионат — адрес был написан все на том же бланке, — Седой решил осмотреть городок и увидеть Австрийца. У него и в мыслях не было заходить в маленький домик на окраине — он просто хотел убедиться, что домик существует.

Австриец имел обыкновение прогуливаться с палевым догом между двенадцатью и часом дня. В распоряжении Седого оставалось чуть больше часа. И он решил пройтись по улице, кружащей вдоль озера.

Шла война. Здесь же время словно остановилось. По аллеям у озера прогуливались изысканно одетые пары, бродили подтянутые бодрые старички в смокингах и тирольских шляпах с перьями, продавали цветы. А по озеру плавал маленький прогулочный катер, лавируя среди белых лебедей, бог весть когда сюда завезенных.

С гор налетал ветерок, пахнувший свежавывавшим снегом. Военных на улице было мало — преимущественно офицеры из дивизии «Эдельвейс». И все же ему встретились два офицера вермахта. Высокий нескладный майор-пехотинец шел, опираясь на тяжелую палку. Рядом с ним вышагивал плотный широкоплечий человек в форме саперных войск, лицо которого было укутано бинтами.

«Здесь неподалеку должен быть госпиталь, — вспомнил Седой. — Ну да, американцы уже бомбят Альпы, но сегодня-завтра подойдут к Зальцбургу».

Белый домик под красной черепицей равнодушно смотрел на безлюдную улочку закрытыми окнами. Седой, не останавливаясь, прошел мимо, свернул в переулок и поднялся по вырубленной в скале лестничке наверх, откуда открывался красивый вид на озеро и прилегающие к нему склоны гор. Улочка с домиком Австрийца хорошо просматривалась с площадки, которой заканчивалась лестница. Седой присел на ступеньку и достал маленький полевой бинокль. Он был один: с правой стороны его закрывала скала, слева — высокие каменные перила, похожие на парапет.

Палевый дог появился в калитке ровно в двенадцать. Эта точность насторожила разведчика. В стеклах бинокля промелькнуло сухое, тонкое лицо с орлиным посом и

длинными седыми баками. Это был он, Австриец. Долгинцов проводил его взглядом до конца улочки и спрятал бинокль в карман мундира. Седому не понравилась походка человека, вышедшего на прогулку. В ней явственно читалась напряженность — и вздернутые плечи, и спина, словно ждущая удара.

«Черт его знает, — думал Седой, — может, мне все это кажется. Настроил себя: Австриец засвечен, а он вот гуляет в положенное время, ждет».

И все же двое не вернулись. Но ведь могло случиться, что они завязли в густой паутине проверок еще на подступах к Аусзее.

Австриец жил один. Значит, домик сейчас пуст. Седого подстегивало время, и он решился. Спустившись по лестнице, он зашагал к домику, твердо решив снять комнату напротив, как вдруг обнаружил: дома, стоявшие на другой стороне улочки, были отгорожены от внешнего мира глухими жалюзи. Разгорался весенний день. Дома же взирали на Седого слепыми окнами. Он шел словно по выжженной зоне.

«Они ждут третьего, то есть меня. — Мысли смешались, понеслись вразброд, как вспугнутые взрывом лошади. — Я иду по улочке второй раз — это наведет их на мысль, что я тут неспроста. Двое наших не вернулись... Отсюда... У Австрийца спина, ждущая удара. Так ходят обреченные... Значит, связи с Аяксом не будет...»

Первые удачи с приземлением и прибытием в Аусзее без препятствий показались Седому зыбкими и ничтожными.

Он шел легкой, небрежной походкой, пасвистывая забытую опереточную мелодию, и поглядывал в конец улочки, где должна была возникнуть фигура Австрийца с палевым догом. Седому хотелось увидеть его лицо.

Австриец стоял на набережной и кормил лебедей. Отламывая от венской булки кусочки, он бросал их в воду и без всякого интереса смотрел, как птицы лениво заглатывали хлеб. Дог стоял рядом и был похож на изваяние.

Лицо Австрийца, топкое и бледное, с большими голубыми глазами, казалось изнуренным и печальным. Он оглянулся всего один раз, когда за спиной, громко разговаривая, прошли два офицера с серебряными эдельвейсами на беретах.

Пансион фрау Хольценбайн Седой разыскал довольно быстро. Его встретила дородная женщина в черном платье с глухим воротом, молча приняла записку швейцара, внимательно прочла обратную сторону, где в графе «Цель приезда» значилось: «Аудиенция у Кальтенбрунера», поджала губы, мельком, но с интересом взглянула на разведчика и слегка кивнула головой, соглашаясь принять постояльца.

Седому отвели большую комнату с балконом на втором этаже. Из окна были видны горы, внизу на клумбе начинали цвести какие-то ранние цветы.

Плата за пребывание в пансионате фрау Хольценбайн была фантастически высокой даже для этого райского уголка. Хозяйка сдержанно намекнула, что можно рассчитывать не только марками. Седой пожал плечами и отсчитал марки из той пачки, что получил в канцелярии штаба.

Он поднялся к себе и вышел на балкон. На горизонте, там, где долина врезалась в межгорье, виднелись зубчатые синие леса. С востока к дому подступали высокие прямоствольные сосны и вековые грабы. Теплое, золотистое сияние стволов медленно переходило в смуглую матовость. И среди них молочно белели березы, но графика их была резче, кропы не светились, а спокойно и мягко зеленели. Синева неба уже не звенела, как утром, не сияла, а светила ровно и глубоко.

«Откуда здесь березы?» — подумал Андрей.

В сердце заполз холодок грусти.

«Майн либер. Андрей, ты совсем раскис. Ты полагал, все сложится, как домик из цветных кубиков. Ты забыл, кем нафарширован этот фешенебельный курорт. Ищейки и асы СД, люди гестапо, начинавшие службу еще в Испании. Они хотят, чтобы в последнем их редуте не было никого постороннего. Здесь планируется фашистское подполье, его будущее».

Андрей сиял мундир, прилег на диван. До обеда оставалось два часа — хозяйка просила не опаздывать. Ночь, проведенная без сна, и так неудачно начавшийся день навалились неимоверной усталостью.

«Покурить бы сейчас», — подумал Седой. Он вспомнил свою последнюю «прогулку» по немецким тылам — это было на территории Литвы — и старика литовца на заброшенном хуторе, куда он с группой набрел после долгого скитания по лесам. Они оторвались от преследования,

но усталость и голод мучили разведчиков. Ребята успели прямо на полу, едва переступив порог дома. Он же просидел всю ночь со стариком, положив трофейный «шмайсер» на колени. Бутылка самогона, которую литовец поставил перед ним, была самым страшным искушением. Он знал, как снимает нервное напряжение стакан этого мутного зелья, но он не мог знать, на чьей стороне воюет сын хуторянина, чей портрет красовался на стене. Чтобы не уснуть, он стал чистить оружие своих товарищей, не разрешив старику выходить из дома. Они молчали всю ночь, как могут молчать только враги.

...Ровно в два Седой спустился в столовую и увидел там троих мужчин, одетых в штатское. Разведчик щелкнул каблуками, сдержанно представился. Высокий худощавый человек с черточкой усов под длинным толстым носом дружелюбно протянул ему руку:

— Майор Ганс Хольц.

С кресла в углу поднялся крепыш в очках с красивым, чуть надменным лицом. Коротко кивнул:

— Подполковник Зигфрид фон Рорбах...

Третий, широкоскулый толстяк в пестром костюме, остро взглянул на Андрея исподлобья, нехотя буркнул:

— Гауптштурмфюрер Каргер.

— Садитесь, капитан, вон там, с краю, — пригласил подполковник. — Здесь у каждого свое место.

Фрау Хольценбайн сама прислуживала за столом, ей помогала совсем юная девушка, представленная хозяйкой как Габриэлла.

Обедали молча. Окончив трапезу, немцы закурили: двое — сигареты, Рорбах — толстую сигару.

— Не курите, капитан? — удивился Хольц.

— Не случилось привыкнуть, — усмехнулся Седой.

— Давно с фронта? — спросил Хольц.

— Четвертые сутки... Шрайберсдорф...

— Сюда на отдых или дела?

Хольц откровенно рассматривал разведчика.

— Дела. Аудиенция у Кальтенбруннера.

Каргер удивленно вытаращился на Седого.

— Что делаете вечером? — прервал паузу Рорбах.

— Не знаю, — пожал плечами разведчик, — осматриваю город, буду читать... отдыхать.

— Что читать? — улыбнулся Рорбах.

— Библию, с вашего позволения, — рассмеялся Седой.

Все улыбнулись.

— Наш долг пригласить вас, как новичка, в ночное заведение господина Фишбаха, — сказал Хольц. — Там собирается занятная публика. Кстати, у Фишбаха бывает Айгрубер.

— Я согласен, господа...

«Кто такой Айгрубер? — думал Седой. — Необходимо сегодня же узнать».

— У нас свой столик в ресторане. — Рорбах явно играл смущение. — Нас всегда четверо. Капитан не будет возражать, если к компании присоединится женщина?

— Напротив, господа. Думаю, что дама только украсит наше общество.

«Кто такой Айгрубер?» Мысль эта не давала сосредоточиться.

* * *

— Айгрубер — человек, которому вы можете вручить рекомендательное письмо. Он...

Фрау Хольценбайн поджала губы и строго взглянула на Седого. Во взгляде ее был упрек и недоверие — офицер вермахта, прибывший в Аусзее, должен знать хотя бы фамилию адъютанта Кальтенбруннера.

— Извините, фрау Кристина. Значит, я знал однофамильца. Я воевал вместе с подполковником Куртом Айгрубером в Африке. Распространенная в Германии фамилия, неправда ли?

— Да, герр Плаффен, — все так же сурово вымолвила хозяйка.

«Вы болван, майн либер Андрей, — ругал себя разведчик, листая библию. — Не хватало еще обратиться в справочное бюро с просьбой собрать досье на матерого гестаповца. Пока каждый твой шаг — ошибка. Бинобль на лестнице, разглядывание Австрийца с расстояния пяти метров, мундир, который нельзя сменить на штатское, — на ужине ты будешь как пугало. И наконец, вопрос хозяйке пансионата, которая несет бремя тайного и явного осведомителя. Следующий шаг может быть в пропасть...»

Седой думал о себе, как бы со стороны оценивал свои действия, посмеивался над холодком в груди.

Он думал о себе во втором лице, но всякий раз прогонял мысль о своей незаменимости в этом деле. В разведуправлении полагаются на его интуицию, но здесь нужен разумный совет человека, знающего обстановку, людей. Нужна связь с Аяксом.

Столик, за которым сидели Каргер, Рорбах и Хольц, стоял в глубине просторного помещения с низким сводчатым потолком. Седой облегченно вздохнул, приметив в ресторане несколько армейских мундиров.

— Извините за опоздание, господа. Габриэлла забыла разбудить меня.

— Мы уже сделали заказ, — подмигнул Хольц. — Вам осталось занять место и ждать.

— Раньше здесь гасили электричество и зажигали свечи, — сказал Рорбах.

Седой скользнул взглядом по залу — калейдоскоп лиц, возбужденных, разгоряченных вином, больше морщинистых и бледно-мертвенных в свете многочисленных бра.

Сквозь синеватый сигаретный дым мелькали люди, одетые в черные вечерние костюмы: черные галстуки выделялись на белых рубашках, матово вспыхивал жемчуг на холщевых шеях женщин. Подобно теням появлялись и исчезали бледнолицые официанты с пустыми, плоскими глазами.

— А вот и Лотта, — услышал Седой.

Хольц поправил галстук и звякнул вилок, словно давал сигнал тревоги.

В проходе возникла хрупкая фигура женщины, затупой в темный эсэсовский мундир. Ее ярко-рыжие пушистые волосы были забраны под изящную форменную пилотку. Женщина была красива той красотой, которую можно встретить на портретах моцартовских времен — топкий, с горбинкой, нос, маленький, чуть жестковатый рот и лицо с алебастрово-белой кожей.

Она коротко кивнула, задержала взгляд на Седом, и он вдруг почувствовал, как что-то в нем дрогнуло.

Рорбах представил Седого.

— Лотта Кестнер, — коротко прозвучало в ответ.

Принесли вино. Хольц налил всем. Лотта встала. Поднялись и остальные. Стоя с фужером в руке, Андрей пытался угадать тост.

— За мужчин-солдат, — коротко произнесла эсэсовка.

Седой снова поймал ее немигающий резкий взгляд и ответил легкой усмешкой.

Андрею показалось: в глазах Лотты сверкнула ответная, нет, даже не усмешка, а улыбка.

«Чертов боковой свет, он меняет даже выражение лица», — подумал разведчик.

Рорбах пригласил Лотту на танец. И здесь произошло неожиданное: один из тех, кто был в мундире, вдруг встал

из-за стола и нетвердой походкой направился к танцующим. Он шел так, как ходят по канату. Подойдя совсем близко, он рванул Рорбаха за плечо.

— Она будет танцевать с офицером вермахта... — пробормотал пьяный.

Седой встал из-за стола. Рорбах ударил обидчика быстро и точно в подбородок. Пьяный рухнул на пол, но вскоре тяжело поднялся и выхватил из кармана мундира парабеллум.

Рорбах отпрянул, прикрывая рукой левую сторону груди.

— Всем не двигаться, — крикнул офицер, — стреляю без промаха.

Он медленно приближался к Рорбаху, и вкрадчивое выражение его лица, слепые от ненависти глаза буквально гипнотизировали подполковника.

— Ты проглотить пулю, штатская крыса, — жгучий шепот повис над замершим залом.

Седой шагнул вперед и встал перед пьяным. Черный зрачок пистолета почти уперся ему в грудь. Он видел длинный ряд орденских колодок на мундире гауптмана, железный крест, тускло поблескивающий в молочном рассеянном свете, и вдруг понял, что нужно делать.

Разведчик дружески улыбнулся пьяному, укоризненно сказал:

— Не делай глупости, дружище. Меня зовут Удо.

По тому, как потухли глаза гауптмана, Седой понял, что достиг цели.

Он властно и осторожно взял пистолет из расслабленной руки пьяного и, подхватив его под локоть, повел меж столиков на место.

— Вы храбрый человек, капитан, — встретил его роко-чущий баритон Каргера.

Рорбах, еще бледный от пережитого страха, кивнул Седому. Хольц с детским любопытством всматривался в лицо Андрея. Лотта сидела, устало прикрыв глаза, сжимая в руках бокал с вином.

— Не хватало, чтобы немцы стреляли друг в друга... здесь, — сказал Седой. — Выпьем, господа. Предлагаю тост за единственную среди нас женщину.

* * *

Гитлер не прилетел. Американцы подходили к Зальцбургу. Советские войска вели бои на улицах Берлина и

вплотную приблизились к отрогам Восточных Альп. Ходили слухи, что взлетная площадка в центре Берлина разбомблена советской авиацией, а личный пилот фюрера застрелился. Обитатели пансионата фрау Хольценбайн коротали время за игрой в вист, бродили по живописным окрестностям и, казалось, чего-то ждали.

Рорбах по утрам истязал свое тело гимнастикой, купался в ледяной воде озера и посмеивался над Седым, который обходился легкой зарядкой и чашкой крепкого кофе. Они сблизились после случая в ресторане, подполковник оказался интересным собеседником, рассказывал много о Японии, где прожил три довоенных года, читал наизусть японские танки-пятистишья, полные тонкого лиризма и средневекового аромата, расспрашивал Андрея о боях в Белоруссии и Польше, и это было как нельзя кстати, потому что Седой хорошо знал обстановку тех сражений, расстановку сил на 1-м Белорусском, прошел по тылам немецких армий, допрашивал многочисленных «языков».

Из бесед с Рорбахом Андрей понял, что тот не нюхал порошу и едва ли пережил хоть одну бомбежку. «Абвер или СД? — думал Седой. — Он такой же подполковник вермахта, как я гауптман. Хольц тоже не похож на фронтовика, хотя и носит знаки ранений. С Каргером все ясно. С Лоттой тоже. Медноволосая эсэсовка, фанатичка и ортодокс, чистокровная наци, верящая в чудо».

«Они побегут, но побегут организованно, группами, — вспомнил разведчик слова Сухова. — Возможно, с одной из таких групп пойдет и человек Кальтена».

Седой без помех съездил в Альтаусзее и разыскал Айгрубера. Тот взял письмо, недобро усмехнулся и сообщил, что Эрнст Кальтенбруннер пока никого не принимает. Пообещал передать письмо шефу и посоветовал достать штатскую одежду, а лучше альпийскую теплую куртку и ботинки с трикопи.

На четвертый день своего пребывания в Аусзее Андрей, как всегда, отправился ужинать в заведение Фишбаха. После случая с усмирением пьяного гауптмана предупредительные швейцары распахивали перед ним двери.

Пройдя в угол к зафрахтованному Хольцем столику, Седой замер, едва взглянув на сервировку. Посреди столика в маленькой изящной вазе красовался букет фиалок.

Букет состоял из шести бледно-лиловых цветков с мох-патыми листьями и прохладными лепестками.

Чувствуя, как бешено заколотилось сердце, разведчик тяжело опустился на свободный стул. Он исподлобья оглядел компанию. Ничто не изменилось в этих людях. Каргер подремывал, Хольц пытался ухаживать за Лоттой, Рорбах смаковал вино и поглядывал на всех свысока и весело. А фиалки стояли на столе. Седой старался не смотреть на них.

Профессия разведчика приучила Седого подходить к людям просто и в то же время настороженно. Хороший — плохой, добрый — злой, его не интересовали такие характеристики. Люди у Андрея делились на две категории: на тех, с кем можно было идти за линию фронта, и на тех, с кем нельзя. Если человек мог спокойно под огнем разминировать проход, он заслуживал молчаливого уважения Седого. Майор не прощал небрежности и трусости. Но так было там, у своих, когда он долго и тщательно подбирал группу для заброски в тыл врага.

Теперь же нужно было угадать своего среди врагов. Впрочем, фиалки могли оказаться на столике случайно. Может быть, такие же букетики стоят по всему ресторану.

— Извините, — пробормотал Седой, поднялся и прошел через весь зал к туалетным комнатам.

Взгляд его скользил по столикам — бледно-лиловых цветов на них не было. Лишь на нескольких стояли хризантемы в высоких фарфоровых кувшинчиках.

«А ведь я боюсь, — думал Седой, — боюсь потерять эту возникшую надежду. Боюсь произнести простую фразу: «Кельнер, замените цветы на свежие».

Седому пришла вдруг на память вычитанная где-то фраза: «Осторожность — это кольцо бесплодных мыслей, которые вращаются вокруг точки страха».

Не одну тысячу раз преодолевал он в себе это леденящее чувство — война-то была долгой, а он встретил ее на границе в тот памятный рассветный час вечного июньского дня. И столько потом было всего за четыре фронтовых года, что, казалось, не осталось в сердце этого липкого, цепящего ощущения. А может быть, это другое — он боится не выполнить задание. Микропленка с адресами затаившихся врагов, пароли, характеристики, подробные досье на каждого. Вот что понесет человек Кальтена через горы в милую, уютную Швейцарию, а может быть, и дальше, скажем в Мадрид.

Андрей покинул туалетную комнату, предварительно смочив волосы и расчесав их, и пошел в свой угол, делая небольшой крюк, охватывая взглядом вторую половину ресторана, надеясь увидеть лиловый цвет на каком-нибудь столике.

Вернувшись к своему столику, Седой с удивлением обнаружил, что компания увеличилась на одного человека. Разведчик узнал в нем сапера с забинтованным лицом. Его круглая, как белый шар, голова была сплошь закутана в многослойный бинт. Оставалась открытой только верхняя часть лица, откуда поблескивали черные внимательные глаза. Там, где должен был находиться рот, зияла прорезь, и оттуда торчала дымящаяся сигарета.

— Майор Фридрих Корн, — представил незнакомца Хольц, — убегает из госпиталя перехватить рюмочку-другую.

Майор невозмутимо посасывал сигарету, перед ним стоял бокал с коньяком, куда была опущена длинная соломинка.

Появление нового человека и цветы, возникшие на столике певесть откуда, связались в сознании разведчика в одно целое. Он не исключал простого совпадения и все же обрадовался возможности угадать Аякса.

— Скорцени! — свистящим шепотом произнес Хольц, и все вздрогнули, разом обернулись к входным дверям.

Там стоял человек в черном эсэсовском мундире, увешанный оружием так, словно собирался немедленно ринуться врукопашную. Его крупное одутловатое лицо было мрачно-непроницаемым. Большими черными, немного навывкате глазами разглядывал он замерших в зале людей.

В сопровождении метрдотеля Скорцени прошествовал в боковой банкетный зал. Следом за Скорцени в зал вошли несколько людей в штатском.

Хольц вытер вспотевший лоб салфеткой. Каргер ухмыльнулся. Рорбах сделал вид, будто изучает меню. Седой поймал на себе испытующий взгляд Лотты. Она смотрела в упор. Седой не отвел глаза, чувствуя, как в нем медленно и неотвратимо нарастает бешенство.

«Бриллиант настоящий?» — услышал Андрей. Он не сразу догадался, что вопрос задан забинтованным сапером. Сквозь прорезь в бинтах вопрошающе горели угольки глаз.

— Настоящий, — резко ответил Седой.

— За такой солитер можно купить неплохое место в загробном царстве.

— Что я собираюсь сделать, — в тон саперу сказал разведчик.

— Не психуйте, гауптман. — Голос из-под бинтов звучал глухо, но дружелюбно. — Вы должны знать, что нося на руке целое состояние, становитесь крупной дичью, а в этих местах собралось множество охотников... И с большой практикой, заметьте.

— Ну и шутник вы, Фридрих, — пробормотал Хольц.

— Я вот думаю, зачем сюда пожаловал Скорцепи, — невозмутимо отозвался Корн. — Если пить чай, то мог бы...

— Осторожно, майор, — пробурчал из угла Каргер. — Это не вашего ума дело.

В бинтах заклокотал смех.

— Господа, пока есть вино и светит солнце, оставим пикировку.

Рорбах легким движением поправил галстук:

— Не нужно быть пророком, чтобы предвидеть завтрашний день. Нам предстоит долгий путь, господа. Предлагаю идти вместе. В какой-то мере мы знаем друг друга, и это немаловажно...

Рорбах поднял бокал с вином.

«Сухов был прав, — думал Седой. — Крысы побегут с корабля стайками, и, может быть, даже завтра. Появление Скорцепи в Аусзее — это сигнал...»

Вечер давно шагнул в ночь, а ресторан гудел, как растревоженный улей. У всех было предчувствие, что ночь эта последняя, что завтра кончится отлаженная цивилизованная жизнь и начнется другая — горькая и трудная, с ветром и снегопадами, с ночлегом в тесной палатке, с возможной погоней.

Седой ждал, когда компания достаточно охмелеет, чтобы совершить то, что рекомендовал подполковник Сухов. В полночь, чувствуя непривычную тяжесть в голове, он властным жестом подозвал официанта и, тупо глядя ему в лицо, командирским тоном приказал:

— Эти фиалки убрать, принести свежие...

Все удивленно посмотрели на Седого.

— Эти цветы почернели от времени, — мрачно пробормотал разведчик. — Убрать!

— Вам придется исполнить каприз барона Удо фон Плаффена, — пьяно усмехнулся Хольц, — он хозяин стола.

Голова Седого безвольно качнулась.

Он казался пьяным даже самому себе. Из ресторана они ушли вместе с Рорбахом.

...Он сидел в мягком кресле перед открытым окном, не зажигая света. И знал, что сквозь ночную темень на него смотрят глаза врагов.

«Я вижу их глаза», — думал Долгинцов. За долгие годы войны он научился различать глаза, полные затаенной или открытой злобы. Такие они были вчера у Хольца за ужином в ресторане. Он хотел казаться улыбчивым и веселым парнем, но его выдали глаза.

«Наверное, и они чувствуют мои глаза тоже, — усмехнулся Седой. — Я не могу скрыть своего презрения ко всей троице. Вот только Лотта... Что-то в ней не так».

Он иногда ловил на себе ее внимательный теплый взгляд. Или ему казалось? Во всяком случае в нем не было враждебности.

«Скорей всего, это игра, чтобы усыпить бдительность, — скользнула ленивая мысль. — Они мастаки па такие представления. Нужно выспаться...»

* * *

Седой проснулся ночью от шороха. Открыл глаза и сразу услышал дыхание того, кто стоял в углу комнаты, прячась за шкафом.

«Спать чудится черт-те что. Я же помню, как закрыл дверь на ключ, да и сам ключ остался в скважине. В комнате никого не должно быть. Не хватало только галлюцинаций».

И все же он проснулся и почувствовал в полной темноте пристальный взгляд человека. И услышал его дыхание.

«Пистолет. Где пистолет? Ах да, в кобуре. Ремень с кобурой на стуле — не дотянуться. Нужно ждать. Ждать. Ведь так просто убить спящего... Он должен подойти к кровати. Вот тогда...»

Но и человек, затаившийся за шкафом, инстинктом догадался, что Седой проснулся. В лицо ударил сильный сноп света.

— Не шевелиться... иначе пуля. Где оружие?

Яркий свет обжигал, слепил и казался нестерпимо долгим выстрелом.

Седой не раз переживал состояние полной скованности, когда мощная, непреодолимая сила прижимает тебя к

земле и все над тобой гудит и свистит от бешено летящего металла, а ты совершенно беспомощен.

И быстро осознав свою беспомощность, Седой спокойно сказал:

— Пистолет в кобуре на стуле...

Свет метнулся по комнате, и разведчик разглядел того, кто каким-то чудом проник в его комнату. Все было обыкновенно в этом человеке: серый плащ, серая шляпа с широкими полями, длинное невыразительное лицо. В его руке чуть подрагивал девятизарядный вальтер.

— Руки... — приказал человек, подхватывая со стула кобурку с пистолетом.

Андрей выпростал из-под одеяла руки. Луч мощного фонарика уперся в пальцы и сделал их белыми, бескровными.

— Где камешек?

— А я думал вы собирались проверять документы, господин грабитель.

Седой сказал это мягко, с легкой издевкой, словно и не видел направленного в его сторону вальтера.

— Двух дырок будет достаточно, барон, — хрипло засмеялся человек в плаще. — Так камешек или две пули?

— Предпочитаю две пули и тебя на виселице, милейший... Чем скорее ты выберешься из моей комнаты, тем больше шансов сохранить шкуру.

Седой чувствовал: грабитель в замешательстве. Тот не предполагал, что события примут такой оборот. Он был смущен бесстрашием владельца бриллианта, его уверенностью и спокойствием.

Погас свет фонарика. Седой услышал, как щелкнул замок, дверь бесшумно и быстро открылась, и наступила тишина. И Седой, не успокоившийся после ожога страха, долго лежал в этой тишине, вспоминая все, что произошло, до мельчайших деталей. Больше всего его раздражало то, что он не услышал, как вошел грабитель. Он возник неожиданно, как привидение, и, если бы не навыки фронтового разведчика, Андрей закричал бы, давал разрядку взвинченным нервам.

«Собралось множество охотников, и с большой практикой», — вспомнил Седой слова забинтованного сапера. Он встал с постели и включил свет. И вздрогнул — на столе лежал большой запечатанный конверт.

Он знал ледяное ощущение одиночества. Ему случилось выбрасываться из самолета с парашютом в глубоком

немецком тылу и по неделям жить чужой жизнью, а то и вовсе одному в сырых лесных землянках.

Сейчас он страшился вскрыть конверт, потому что боялся снова остаться один.

Седой закрыл дверь на ключ и взял в руки конверт. Осторожно надорвал его — на стол упала записка.

«Приказываю идти с группой Рорбаха. Доставайте темные очки и теплые перчатки. Следует изучить карту Южных Альп, направление — Северная Италия. Радия захвачена гестапо. Радист погиб. Австриец провален. Письмо из Центра уничтожьте. Будьте внимательны. Связь односторонняя. Записку сжечь. В знак того, что вы прочитали записку и согласны выполнять мои распоряжения, совершите завтра с майором Рорбахом прогулку на катере. Купите на набережной у женщины с зонтом букет хризантем. Подарите их ффрау Хольценбайн. Аякс».

Глядя на горящий листок бумаги и потом, растирая меж пальцев пепел, Седой думал о человеке, многие годы, день за днем, идущем по краю бездны.

Он не читал по-фронтовому точных, лакопичных радиogramм Аякса, но представлял себе всю сложность и опасность его работы.

Андрей подошел к шкафу и достал из тайника перстень, долго разглядывал его — он только сейчас заметил, что камень имеет голубовато-зеленый оттенок.

Седой твердо решил сохранить бриллиант. Он теперь уже не сомневался, что письмо от Аякса принес «грабитель». Проверка была грубой и рискованной из-за недостатка времени.

Время теперь неслоь вскачь. Если бы не эта неразбериха, он, безусловно, попал бы в сферу интересов гестапо, и тогда пришлось бы пройти всестороннюю проверку. Гестапо славилось оперативностью. Но не сейчас, когда приходилось спешно упаковывать чемоданы.

Седой понимал, что не от хорошей жизни Аякс пошел на такой риск. Меры предосторожности, которые он принял, были не очень надежны, и если формально следовать правилам разведки, то тот, кто скрывается под этим псевдонимом, должен замереть, затаиться, кануть на долгие месяцы в водовороте крупного города. Может, так бы оно и было, если бы не кончалась самая страшная в истории человечества война.

Уходя на задание и после, ведя разведку в тылу врага, когда приходилось особенно тяжело, Седой всегда вызывал в памяти картину атаки. Он ясно видел, как по команде ротного солдаты встают и бегут вперед, навстречу рвущим воздух осколкам и пулям, забывая о смерти и всегда помня, во имя чего принимают ее.

* * *

— У майора фон Рорбаха было много друзей. Он учился с ними в академии, соревновался на ипподроме и просто рос под скупым солнцем Восточной Пруссии. — Рорбах лениво взглянул на плывущих навстречу катеру лебедей. — Вы должны меня понять, потому что ваш отец владел имением и стрелял диких голубей ради забавы в собственных лесах. Гауптштурмфюрер Каргер не учился в академии и не знает, что Киото — древняя столица Японии, как не знает того, что «Мозельвейн» двадцатого года нельзя запивать белым баварским пивом. Он учился делать колбасу, когда обожаемый фюрер взял власть...

— Американцы взяли Зальцбург, — сказал Седой.

— Вы хотите сказать, что аудиенция у Кальтенбрунера не состоится?

— Я не хочу сдаваться американцам...

— Вы знаете содержание письма, которое вручили Айгруберу?

— Нет. Но догадываюсь, о чем мог просить отец...

— Он просит переправить вас в Испанию... — Рорбах смотрел в упор. Седой не отвел взгляда. — Вы пойдете с нами, Удо. Война должна родить войну. Может быть, не так скоро, как бы нам хотелось, но это произойдет. Пока существует большевизм, мы дорого стоим, барон. Я думаю, что, пригласив меня на прогулку, вы хотели услышать именно это, Удо.

— Благодарю за доверие, — кивнул Седой.

Они сошли с катера и пошли по набережной в направлении старой, белой от времени церквушки, и по дороге Седой купил у женщины с зонтом букет роскошных махровых хризантем.

— Даме сердца? — улыбнулся Рорбах.

— Фрау Хольценбайн, — ответил с улыбкой Андрей.

— Хризантемы заставили меня вспомнить Японию. Жестокость и нежность — такова эта нация. Вот послу-

шайте, Удо, о чем писал японский поэт Фудзавара Киесиэ в семнадцатом веке!

О, этот мир, печальный мир и бранный!
И все, что видишь в нем и слышишь, — суета.
Что эта жизнь?
Дымок в небесной бездне,
Готовый каждый миг исчезнуть без следа.

— Вы много повидали... — грустно заметил Седой.

— Не прибедняйтесь, Удо. Вы тоже. Африка, Франция, Греция и, наконец, Россия. Вермахт шагал широко. Вы даже стали седым...

— В Белоруссии, Зигфрид, можно было стать и зеленым.

«Он знает обо мне, то бишь об Удо фон Плаффене, много, но не все. И он еще не видел фотографии настоящего отпрыска рода фон Плаффена. В письме генерала СС не упоминались ни Франция, ни Греция — значит, началась проверка. Они не хотят идти в Швейцарию с неизвестным. Вот только успеют ли? Если успеют... пуля — это самое легкое, на что можно рассчитывать».

Седой знал, что его могут фиксировать на игру вазомоторов, нервную реакцию. Органолектику они проходили во втором классе разведшколы. Но как раз здесь-то они не добьются ничего. Вживаться в роль Седой умел. Играть же немецкого офицера ему приходилось не раз, правда в несколько иных обстоятельствах. И его не нужно было учить азам офицерского этикета и сдержанного чиновничества.

Вернувшись в пансионат и вручив ффрау Хольценбайн хризантемы, разведчик поднялся к себе, пообещав Рорбаху быть к обеду. Подошел к окну. Осторожно выглянул из-за шторы. Так и есть. Фигура в штатском маячила на углу улицы, там, где к зданию пансионата примыкал аккуратный домик под черепичной крышей. Человек не таясь прохаживался вдоль ограды. Седой заметил его еще вчера днем, но не придал этому значения. Вспомнилась и другая фигура в штатском. Она вела его с Рорбахом с самого начала прогулки: шпик словно бы нарочно обращал на себя внимание, Седому стоило большого труда не оборачиваться.

«Вот почему Аякс приказал сжечь письмо из Центра — они фиксируют каждый мой шаг».

Седой достал из внутреннего, вшитого под подкладку мундира кармана крошечный конверт. Отошел в глубь комнаты, захватив со стола пепельницу, зажег спичку.

* * *

Ночью большая часть обитателей Аусзее перебралась в Кремсмюнстер. Эмигранты всех мастей спешили на встречу приближающимся американцам, предпочитая унижение плена возможной гибели от рук людей Кальтена и Скорцени. К тому же ни для кого не было секретом, что копи, расположенные близ Альтаусзее, будут рано или поздно взорваны.

Группа Рорбаха собралась на одной из тайных квартир гестапо. Каждый получил меховую одежду, горные ботинки, ледоруб. И три альпинистские палатки на шестерах. При распределении палаток произошла заминка. Мужчины решили предоставить Лотте Кестнер право выбора папарника по ночлегу. Лотта усмехнулась и показала рукой на спальный мешок:

— Я буду спать на воздухе.

Рорбах кивнул, соглашаясь. Забинтованный сапер махнул Седому рукой. У Андрея дрогнуло сердце. С той минуты, как разведчик сжег записку, он не переставал приглядываться к своим будущим спутникам. Жест, реплика — все для него было полно особого смысла. Корн вызывал в Седом чувство симпатии. Он любил людей насмешливых, ироничных. Рорбах рассказывал, что в руках сапера взорвался детонатор, ему обожгло лицо и разбило челюсть. С таким ранением не до смеха — Корн смеялся. Рослый, с широкими покатыми плечами, он таил в себе огромную физическую силу.

Седой ответно махнул саперу рукой и принялся укладывать рюкзак.

Последнее убежище эсасовцев провожало группу Рорбаха громким собачьим воем. Служебные псы, брошенные своими хозяевами, голодные, метались по улицам, пугая обывателей.

— Они накличат на нас беду, — проворчал Хольц, оглядываясь с крутого обрыва на городок, где уже мелькали белые лоскуты флагов.

— Им забыли дать циан...

Каргер длинно выругался и вызывающе посмотрел на Лотту. Бледное лицо ее, обрамленное меховым капюшном, осталось непроницаемым.

Из-под бинтов слышался смех, похожий на клекот. Раненого сапера явно забавляли страхи уходящих в горы людей.

Альпийские луга кончились за первой же серой каменной грядой. Повеяло холодным простором, впереди запестрели плешинки снега, подъем стал круче — начались настоящие Альпы, вздыбленный хаос скал, одетых в лед и снег.

Три связки шли, проваливаясь по колено в снег, помогая себе ледорубами. Все надели темные очки.

Каргер жадно хватал ртом воздух. Было видно, что он устал, шел тяжело, покачиваясь, словно пьяный.

Снежное плато вывело группу к подножию крутолобой горы, вдоль которой тянулся острый гребень со спусками и подъемами.

Седой шел в паре с Лоттой. Пройдя на длину веревки, он останавливался и страховал эсэсовку. Лотта передвигалась медленно — видно было, что каждый шаг дается ей с большим усилием.

«Никогда не ходила в горах, — подумал Андрей, — такой не доверят микропленку. Значит, Рорбах или Хольц. Каргер тоже не дойдет до перевала».

О Корпе Седой думал как о союзнике. Им придется спать в одной палатке, и он надеялся на откровенный разговор.

Уже густели, наливаясь холодом, сумерки в долине, когда группа вышла к домику альпинистской спасательной службы. Вместе с сарайчиком, слеplенным из камней, эти сооружения были последними домами до самого перевала. Дальше могли встретиться лишь заброшенные хижины охотников.

Первыми достигли каменного заборчика Рорбах и Корн. Они молча курили, сидя на валунах, поглядывая на тяжело идущих по склону спутников.

Дом и сарайчик оказались пустыми. В них никто давно уже не жил.

Каргер молча, не раздеваясь, повалился на панцирную кровать и мгновенно уснул.

— Он съел за свою долгую жизнь слишком много бифштексов, — мрачно пошутил Хольц.

— Нужно развести огонь, — сказала Лотта. — Здесь холодно. Удо, в сарае есть дрова. Наколите помельче. Я займусь ужином...

Седой накинул на плечи сброшенную было куртку и

взял с тумбочки перчатки. И вдруг услышал, как в одной из них что-то хрустнуло. Он быстро вышел и на подходе к сараю надел перчатки. Ладонь левой руки ощутила угольчатый край сложенного вчетверо листа бумаги. В сарае было темно, и Седой зажег спичку.

«Ночью не спать. Опасность заговорить во сне по-русски. Вас подозревают. Будьте внимательны и осторожны. Запоминайте дорогу — возможен обратный маршрут. А.»

Разведчик тщательно растер пепел и рванул воткну-тый в толстое полено заржавевший топор. Раскалывая тол-стые сырые чурки, он вспомнил, как вошел в дом, бросил перчатки на тумбочку. Нет, сперва он поставил ледоруб в угол, снял рюкзак, а потом уже снял перчатки. Кто был рядом? Хольц! Потом подошел Корн и включил фо-нарик. Затем Лотта и Рорбах. Он нагнулся над рюкзаком, и тогда Лотта сказала насчет колки дров. Кто же? Не спать ночью? Как он сам не подумал об этом.

Бессонная ночь. Она знакома Седому. Среди тысячи суток войны их было так много, что и за несколько лет не отоспаться. Андрей вспомнил июньские короткие ночи на родной заставе, тревожные ночи в ожидании напа-дения. Гул танковых моторов на сопредельной стороне, ляг и отраженный, призрачный свет. До сна ли тогда было ему, совсем еще юному лейтенанту, год назад окон-чившему пограничное училище.

Седой вышел из сарая с охалкой дров.

Холодало. На северной стороне неба появились «ко-шачьи хвосты» — высокие перистые облака, первые пред-вестники наступающей непогоды.

«Будет метель. Почему Аякс не сообщил, кто идет с микропленкой? Не знает сам? Не знает. Меня подозре-вают. И все же Аякс здесь. Значит, я ему нужен — и это главное».

То, что его подозревают, Седой чувствовал и сам. Пер-вые дни в Аусзее ему казалось, что это тщательно скры-ваемая неприязнь не нюхавших пороху гестаповцев к во-енному человеку, фронтовику. Но с появлением «тени» по-нял, что это не так. За пансионатом следили днем и ночью. Седой, даже если бы очень захотел, не смог исчезнуть из городка. И Аякс знал об этом. Значит, ему нужно, чтобы меня подозревали.

«Я иду за ним, как слепой по краю пропасти, — по-думал Седой. — Оступится он, покачусь с кручи и я».

Он боялся уснуть. Усталость все-таки подстерегла его. В доме стояла душная, пахнущая гниющим деревом темнота, из которой доносились храп, стоны, невнятное бормотание спящих людей.

И все же Седой знал: не спит еще один человек — тот, кто отдал ему приказ не смыкать глаз.

Андрей лежал на спине и сквозь полуприкрытые веки смотрел на деревянный потолок, смутно чернеющий в прозрачном, тусклом свете, льющемся в широкие проемы окон.

Вспомнилось, как год назад вот так же лежал он на разостланном тулупе на полу родного дома и делал вид, что спит.

Андрей приехал домой на два дня проведать мать. Она не спала в ту ночь, тихо сидела у его изголовья, иногда шептала что-то жалобно, боясь разбудить его.

Он был у матери один. Отца Седой не помнил. Он погиб в двадцать втором году, гоняясь в Средней Азии за бандами басмачей. Осталась только фотография — высокий широкоплечий человек с открытым молодым лицом, в командирской гимнастерке, с наганом на ремне.

Андрей рос, как все мальчишки в деревне, а повзрослев, уехал в пограничное училище, твердо решив идти по дороге отца. Война. Она прибавит к его биографии такое количество событий и дат, что никакого анкетного листа не хватит и придется писать повесть о собственной жизни, ничего не выдумывая и ничего не прибавляя.

Он простился с матерью в тот единственный свой приезд, так и не сказав ей, кем он служит в армии и где воюет. Законы жизни, по которым живет разведчик, суровы и жестоки. Уходя на задание, он оставляет на родной земле награды, документы и свое настоящее имя.

Андрей смотрел в потолок и мысленно перебирал события последних дней. Гитлер так и не прилетел в Альтаусзее. «Железный Кальтен» распустил своих подчиненных, а точнее, секретные службы фашистского государства. И десятки тысяч их, словно жуки, расплозились по территории Германии, меняя облик, документы, придумывая легенды о своем прошлом. Организационно сохранилась лишь элита — лучшие из лучших, те, кто должен, по мысли гитлеровской верхушки, спровоцировать новую войну. Сохранилась и агентурная сеть, созданная при отступлении во всех без исключения странах, которые вы-

ходили из войны или поворачивали оружие против вермахта.

Подумать только! Списки этих строго законспирированных агентов с подробными характеристиками и адресами находятся сейчас от него, может быть, в каких-нибудь полутора метрах.

Возможно, что это только фотокопии, но как они нужны нашей контрразведке. Еще сутки идти до перевала. Там ждут. Самый север Италии в руках немцев. Дивизии генерала Виттипхофа еще сопротивляются. Из Северной Италии проще уйти в Швейцарию. Значит, в эти сутки все и решится.

За окнами вставало блеклое, похожее на сумерки утро.

Всех разбудил Каргер. Он шумно сел на кровати и громко и хрипло кашлянул. Вскочил Хольц и осторожно выглянул в окно. Он, конечно, знал, что моторизованные отряды американцев, растекаясь в межгорьях, еще не достигли Альтаусзее, и все же в силу профессиональной привычки первым делом осматривал окрестность.

Седой вышел из домика. Словно ожидая чего-то, вглядывался разведчик в бесстрастные каменные громады.

Гасли звезды. Вершины становились золотыми: на дне ущелий таяли последние клочки ночного мрака. Но тени еще не обозначились четкой чернотой, а лишь чуть наметились размытыми очертаниями.

Из сарайчика вышла Лотта — она там ночевала, — молча кивнула и прошла в дом.

Завтракали в полном молчании. Один только раз Рорбах, протянув Седому буханку хлеба, сказал:

— Удо, нарежьте хлеб...

Ничего необычного не было в этой просьбе. И все же Андрей вздрогнул. Он поймал напряженный взгляд Лотты и взял нож. И хотел уж было поднести левой рукой буханку к груди, как вдруг вспомнил, что так режут хлеб в российских деревнях — к себе на грудь. Положил буханку на стол и стал нарезать хлеб аккуратными тонкими ломтями. И не смог сдержать усмешки.

— С детства не умею резать хлеб, — сказал Седой. — У нас дома это всегда делала прислуга.

— Надо полагать, вы кое-чему научились на фронте, — пробормотал Рорбах.

Больше никто не сказал ни слова. Андрей взглянул на Лотту. Она сидела, полузакрыв глаза, уголки ее красивого жесткого рта едва заметно вздрагивали.

«Ирония хороша, когда ею прикрывают то, чего нет на самом деле. Майн либер Андрей, ты умеешь превосходно стрелять, драться, можешь не спать несколько ночей кряду, ты даже умеешь прыгать с парашютом, но ты плохой психолог и не слишком наблюдательный человек. Тебя по-дешевому провоцируют, и ты едва не клюешь на провокацию. А то ли еще будет. Корн пил через соломинку кофе. Каргер просто жевал. Хольц и Рорбах. Вот кто наблюдал за тобой. Аякс, конечно, кроет тебя, Андрюша, всеми нужными в таком случае словами. Но ведь нас двое, а их всего-то четверо. Когда ты злишься, Андрюша, ты сразу лезешь в драку. А ты ведь человек для особых заданий, и у тебя дело чрезвычайной государственной важности. Наблюдай, жди, как приказано, и мой руки перед едой».

Утренний блеск гор погас, словно его выключили, а четверть часа спустя повалил густой, липкий снег.

Рорбах раздал всем по две таблетки фенамина. Таблетки проглотил только Каргер.

Над ними висела белая шапка горы. Разорванные глыбы поздреватого льда иногда высверкивали сквозь снегопад — гора была выше снеговых туч, и там светило солнце.

С маленького плато, где приютился домик спасательной станции, тропа круто взлетала вверх, будто аркан. Потом она раздваивалась, петлей охватывая обрыв, над которым возвышалась одиокая шпалеобразная скала, похожая на обелиск. Оттуда тянуло холодом и мраком. И там был ветер. Внизу же было тихо, и группа сравнительно легко поднималась скальными террасками к взлобью большой горы, название которой Седой прочитал на карте, но так и не запомнил. Он шел на всю длину веревки, которой был связан с Лоттой, и с неистребимой привычкой армейского разведчика всматривался и вслушивался, считая, что тем самым выполняет приказ Аякса — запоминать дорогу.

Снег шел уже два часа. При полном безветрии он падал и падал, сцепляясь в крупные хлопья, ложась на скалы причудливым белым покрывалом.

Седому вспомнились читанные когда-то стихи:

Снег, снег, снег,
Чьи-то шаги в тишине,
Старый идет человек
По собственной седице.

«По седине идет» — это хорошо сказано. Но он-то не старый. Он еще поживет, послужит. Обязательно в разведке. Эта служба ему и по характеру, и по призванию.

Привал с часовым отдыхом устроили в просторном кулуаре между двумя гребнями.

Снег пемного поутих, поднялся ветер. Обед был более чем скудный — по четыре галеты и стакану теплого кофе.

Андрею нестерпимо захотелось покурить. Дым от сигарет раздражал его.

Таблетки фенамина он так и не проглотил, опасаясь подвоха, и теперь чувствовал, что устал. Хватит ли сил до перевала?

Видимость улучшилась, и по указанию Рорбаха дальше двигались без страховки, соблюдая дистанцию в пять шагов.

Около часа группа двигалась вдоль гребня старым альпинистским маршрутом и подходила уже к скале-obelisku, когда Седого внезапно охватила глухая, неясная тревога. Так часто, не видя, ощущает человек приближение облачной тени, беззвучно бегущей по земле.

Он еще полностью не осознал, почему, подобно неожиданному, как удар, подозрению, возникло это предчувствие. Что-то произошло в передвижении фигур впереди и позади него. В мгlistой сумятице снега все это могло и показаться, но только не Седому, обостренно воспринимавшему теперь даже интонацию знакомых голосов.

Разведчик все так же равномерно шагал по тропе, подставив плечо ветру, чувствуя, как в левой половине груди задрожал и забился тревожным звоном колокольчик опасности.

Незаметным движением Андрей снял пистолет с предохранителя и переложил его в карман куртки. Вспомнил о бриллианте — он лежал в нагрудном кармане, упрятанный в брикет жевательной резинки. Достал и сунул в рот. Седой твердо решил: случись что, бриллиант на фашистское подполье работать не будет.

Перстень с монограммой сделал свое дело. Сухов оказался прав — камешек сработал каккрытие и, возможно, как приманка. Андрей подозревал, что в группу его взяли не за личные заслуги и уж, конечно, не за аристократическое происхождение. Предчувствие не об-

мануло Седого. Когда он поднялся на последний перед шпилеобразной скалой выступ-площадку, Каргер, шедший сзади, метнулся ему на спину, пытаясь левой рукой захлестнуть горло.

Броском через бедро Андрей свалил грузного эсэсовца на землю и отступил к скале. Хольц взмахнул рукой — он стоял сбоку от разведчика. Седой успел заметить зажатый в руке кастет. Мгновенно перехватил руку, вывернул ее и сильно ударил ребром ладони по шее. Хольц рухнул как подкошенный. Рорбах и поднявшийся Каргер одновременно кинулись на разведчика. Андрей упал и тут же двойным ударом пог в живот свалил Рорбаха. Каргер успел зацепить Седого ногой. Острая боль ударила в голову, а руки автоматически поймали ногу эсэсовца, и тот со стоном упал на склон. «Теперь быстро встать», — приказал себе Седой.

На самом деле поднимался он тяжело и получил еще удар — на этот раз кулаком по печени. Длиннорукий Хольц достал его левым боковым.

«Боксер», — усмехнулся Андрей и рванул из кармана пистолет. Он едва успел вскинуть его, как откуда-то сбоку хлопнул выстрел — точно пущенная пуля вырвала парабеллум из руки Седого, рикошетом скользнула возле правого виска, слегка контузив разведчика. Он не упал, а только качнулся и увидел словно сквозь туман на гребне знакомую фигуру Корна. В правой руке тот держал пистолет, левая сжимала приклад английского автомата «стен». Седой вадрогнул. На сапере не было бинтов. Изящная меховая фуражка едва прикрывала его выпуклый, бугристый лоб. Лицо было волевым, с крупными чертами.

— Всем стоять смирно! Слушать мой приказ. Через час вы можете продолжать движение. Каждый, кто приблизится ко мне ближе чем на сто метров, будет убит. — Корн поднял над головой автомат. — Этого человека, — вооруженной рукой он указал на Седого, — допросить и расстрелять... Перстень с бриллиантом сдать по прибытии на место в фонд будущей Германии.

Говоривший, не поворачиваясь, сделал несколько шагов назад и скрылся за гребнем.

— Айсфогель... — пробормотал Хольц и достал пистолет.

Они шли к нему с трех сторон, еще не зная, что брил-

лиант затоптан Седым в снег в самом начале схватки слева от скалы.

«Если я сейчас брошусь на них, они стреляют меня тремя выстрелами. Что же Аякс?..»

Впервые за время схватки он поискал глазами Лотту. Она стояла у самой пропасти, засунув руки в карманы куртки и, как показалось Седому, отрешенно смотрела на него. И вдруг он увидел, как Лотта едва заметно покачала головой, вынула руки и демонстративно заложила их за спину.

«Она говорит мне, чтобы я не сопротивлялся. Она не уверена, что Корн — Айсфогель ушел. Она потому и стоит у самого края — оттуда просматривается поворот, которого не минует идущий вдоль гребня».

Седой дал себя связать. Получить сейчас пулю было бы непростительной глупостью. Они поставили его к скале-обелиску.

Хольц ткнул Седого пистолетом в грудь.

— На кого работаете, барон?

— На себя,— глухо буркнул Андрей.

— Не лгите. Мы не мальчики. Так на кого? На Ся-Ай-Си? Или, может быть, на «Джи-ту»?

— На дефензиву,— опять буркнул Седой.

— Оставьте его, Хольц,— вмешался Рорбах.— Он русский. И работает на московский Центр.

Каргер быстро и профессионально обыскал Седого.

— Где камень?

— Он фальшивый, Каргер...— Седой улыбнулся: — И потом... Я предвидел этот грабеж.

— А пулю ты предвидел?

— Не исключал такой возможности...

— Получишь... Между прочим, ты мне сразу не понравился...

— А я вас полюбил с первого взгляда, Каргер. Такой добродушный малый...

— Мы устроим «тир»,— бормотал Хольц.— Я давно не стрелял в живого большевика.

«Войне конец,— подумал Андрей,— может, сейчас, сию минуту... Что же она медлит, Лотта Кестнер? А не ошибается ли он? Женщина могла просто покачать головой, сожалея или не принимая того, что здесь происходило. Тогда без последней рукопашной... Айсфогель... Ледяная птица. Фамилия? Или кличка?.. Предпочел немец-

кому «шмайсу» английский «степ»... Стреляет как бог. Противник серьезный».

Хольц, Каргер и Рорбах разглядывали Седого с любопытством и ненавистью.

— Тридцать метров,— сказал Хольц.— Ставлю бутылку «Мартеля»...

— Нет, Ганс.— Рорбах протестующе поднял руку.— «Тир» так «тир». Тридцать метров, и каждому по два выстрела. Стрелять по конечностям. Мы четвертуем его...

Андрей взглянул на Лотту. Она стояла теперь совсем близко к обрыву. Капюшон на ней был откинут и волосы разметались по плечам. Ветер заламывал ее хрупкое тело над обрывом, и Седому казалось, что еще мгновение — и он столкнет женщину в пропасть.

Каргер считал шаги. Заледеневший снег гулко скрипел под его ногами. Последней к пяточку, вытоптанному Каргером, подошла Лотта.

— Господа,— услышал Андрей ее металлический голос,— прошу право первого выстрела...

— Да, конечно,— сразу же согласился Хольц и объявил, как на ипподроме: — Лотта Кестнер стреляет первой...

Лотта расстегнула куртку.

— Дайте мне ваш вальтер, Ганс. Мой пугач слишком легок...

Хольц протянул ей пистолет. Она встала боком, как на дуэли, чуть согнула вооруженную руку в локте и стала медленно поднимать ее, целясь Седому в голову.

Внезапно, когда все уже ждали выстрела, рука ее опустилась.

— Подарите мне пять шагов, господа... Мне трудно целиться.

Голос ее прозвучал тускло, почти жалобно.

— Вы женщина, Лотта, и имеете на это право. Делайте пять шагов и стреляйте, иначе наш пациент замерзнет.

Рорбах, как всегда, был снисходителен и вежлив.

Лотта сделала первый шаг, и Каргер громко сказал:

— Один...

— Два...— сказали вместе Хольц и Каргер.

Им нравилась эта игра.

— Три...— скандировали они,— четыре... пять... Стой!

И вдруг она резко повернулась. Лотта Кестнер стреляла в упор. Первым упал Каргер, так и не успев сообщ-

разить, что же произошло. Рорбах попытался выхватить из кармана куртки пистолет, но тут же рухнул, сраженный пулей в сердце. Хольц присел и прыгнул вперед, пытаясь достать Лотту своими длинными руками.

Она всадила в него две пули, и он зарылся лицом в снег у самых ее ног.

Лотта повернулась к Андрею, бросила вальтер и, пошатываясь, двинулась к нему, слабо замахивая руками, словно собираясь влететь.

— Ох! — Ноги у нее подогнулись, и она рухнула в снег. Но тут же попыталась подняться, бормоча: — Я сейчас... сейчас... У меня есть нож...

Лотта снова упала, и Андрей услышал, как она тихо плачет. Расстрел эсэсовцев стал последней каплей нечеловеческого напряжения, в котором жила Лотта все эти дни. И вот теперь, когда напряжение спало, не оказалось сил.

Андрей молчал. Он и сам чувствовал себя прескверно. Его бил озноб, горечь заполняла рот — удар по печени не прошел даром.

Наконец Лотта поднялась и, пошатываясь, приблизилась к скале-obelisku. Держа нож обеими руками, перерезала веревку. Седой вздохнул полной грудью, все еще боясь оттолкнуться от скалы.

— Как вас зовут? — устало спросил он. — Меня — Андрей...

— Я не могу сказать тебе своего имени, Андрюша... — Лотта смотрела на Седого добрыми, ласковыми глазами, и что-то материнское, нежное было в долгом ее взгляде. — Но я сделаю то, о чем мечтала всю войну. Я поцелую тебя за всю нашу Красную Армию, которая сломала фашистского гада... Я так долго ждала тебя... солдат...

— Да... — Седой откликнулся как эхо.

Она приблизилась к нему, протянула руки. Андрей вдрогнул и закрыл глаза. Он почувствовал ее теплые губы всего на одну секунду. Ему показалось, что его поцеловал ребенок.

* * *

Он трогал ее смерзшиеся, запорошенные снегом волосы и тихо говорил:

— Я достану его... Не волнуйся. Он ушел на расстояние крика.

— Да. Теперь я знаю — это он. Я так и думала, но не была уверена. Айсфогель... Я видела его однажды в Берлине. Никто не знает, в каком чине он служит в РСХА.— Лотта подвняла к Седому лицо.— Андрей, это опасный, сильный человек. Будь осторожен. Возьми второй пистолет и все запасные обоймы. Я немного отдохну и пойду следом... Но пойдем мы не так, как он, а срежем угол. Под северным гребнем можно пройти к перевалу более коротким путем, но там в кулуаре почти всегда сходят лавины. В ясные дни с двенадцати до трех часов. Можно успеть...— Лотта взглянула на часы: — Сейчас десять... Он идет старой проверенной тропой — не хочет рисковать. А мы должны... Нас теперь двое. И помни: английский «стен-ган» бьет на двести пятьдесят метров. Вот, возьми...— Лотта протянула Андрею длинный красный шнур: — Привяжи к руке — вдруг все-таки лавина...

Седой спрятал шнур в карман, пересчитал обоймы и тоже сунул в карман. Тяжело поднялся, прошел к скале-обелиску, присел на корточки и стал разгребать снег.

— Потерял что-нибудь?

Лотта неслышно присела рядом.

— Танковую бригаду. Подполковник Сухов мне этого не простит. Семейная вещь, известная всей Европе. Вот он...

Седой разжал ладонь с зачерпнутым снегом, извлек из беловатой массы жевательной резинки перстень и протянул его Лотте.

— Сдаю без расписки...

— Не годится, Андрей. Сам вручишь бриллиант Сухову Николаю Савостьяновичу...

— Ты знаешь Сухова?

— Знаю. Но об этом после... «Стен-ган» бьет на двести пятьдесят...

* * *

Он поднимался, и горы точно опускались. Когда он вышел на скалистый северный гребень, вершины уже стали ослепительно белыми. Весеннее солнце поднялось высоко, но здесь, у границы вечных снегов, было холодно и сыро. Тусклой голубизной отливали изломы ледников, прозрачные лиловые тени лежали в ущельях.

Седой надел темные очки, жадно поискал глазами

фигуру Айсфогеля, не нашел и подумал, что рано, тот еще идет под прикрытием гребня.

К кулуару Смерти Андрей подошел, когда все вокруг было залито солнцем. Он сделал несколько шагов — и сразу оказался в полумраке. Солнце сюда не доставало. Со стен с гулким шипением спадали ручьи. Снег в кулуаре — смешанный с обломками скал, будто кто перепахал. Было угрожающе тихо.

Седой шагал быстро, как только мог. Ледяной разреженный воздух заставлял глубже дышать, чаще биться сердце.

Он шел и думал о Лотте. Успеет ли она проскочить кулуар до двенадцати? Совсем обессилела. Седой знал, что такое стрелять в упор в человека, даже если он и враг. К этому трудно привыкнуть. А она, скорее всего, делала это впервые. По самой что ни на есть необходимости. От бедра, когда нет времени, чтобы вскинуть руку с оружием. Про камень-талисман это все байки. Ей было важно, чтобы я не потерял веру в себя, важно было снять элемент обреченности — возьми камень, меня могут убить... На войне убить могут всегда. Но сейчас он не даст этого сделать человеку с красивой кличкой Айсфогель.

Не зря же он, майор Долгинцов, четыре года только и делал, что бегал вдогонку за смертью, а когда она оборачивалась, обманивал и уходил от нее.

Сейчас он будет осторожен, как никогда. И главное — заставить эту птичку смотреть против солнца. Против такого бешеного солнца прицельно не постреляешь. Фактор неожиданности само собой. И лучше бы достать его первой пулей — не «языка» же беру...

На выходе из кулуара Андрей обернулся на шум. Наверху от самого карниза отвалилась гигантская глыба снега и со сристом заскользила по склону. Она сметала на своем пути пагромождения камней и, набирая скорость, неслась в кулуар.

Седой и раньше видел лавины, но такой мощной пляски снега и камней ему наблюдать не доводилось. В кулуаре все кипело, ухало, грохотало, словно там одновременно рвались десятки тяжелых мин.

«Вот тебе и с двенадцати до трех, — подумал Андрей. — Весна нынче ранняя, и солнце сумасшедшее. Год на год не приходится. Опоздай я на пять-шесть минут... и — аминь...»

Сравнительно невысокий хребет, по которому двигался теперь Седой, выводил к небольшой каменной площадке, откуда начинался путь на перевал. Этого места Айсфогель миновать не мог. Слева поднималась совершенно отвесная двухсотметровая стена, справа сипел смерзшийся фирн ледника.

Расчет Лотты оказался точным, если... если Айсфогель не заметил его движения по гребню хребта. У него есть бинокль. Но как бы там ни было, путь на перевал ему закрыт. Остается попытка прорваться с боем.

Седой выбрал для засады ложбинку между двумя покатыми скалами так, чтобы солнце светило ему в спину. Он проверил оба пистолета, лег в начинающий подтаивать рыхлый снег и окинул взглядом холодный, суровый мир гор. И вздрогнул. По леднику шел человек. Медленно, но уверенно поднимался он вверх, помогая себе ледорубом. Недосыгаемый для пистолетного выстрела, он не оглядывался. Знакомый ранец все так же висел у него за спиной.

Пересекать ледник одному, без страховки с альпинистской точки зрения было чистым безумием. Но, может быть, не для этого человека. Недаром же его наградили таким прозвищем — Ледяная птица. Он рискует жизнью, исключая риск боя. В случае неудачи он скатится по леднику в бездну вместе с тем, что несет.

«Сколько у него запасных дисков? — размышлял Седой. — Не больше двух. В горах каждый лишний грамм давит. Значит, если будет бить короткими... Нужно встать и идти. По его следам-ступенькам. Приблизиться на пистолетный выстрел. И вся надежда на слепящее солнце и... на усталость — Айсфогель шел быстро, и путь его был в два раза длинней. Должен устать, не железный же он...»

Впереди белели фирновые взлеты гребней. С них свисали наметенные ветром карнизы. Не обрушится ли один из них от выстрелов? Такое в горах случается. Лавина может сорваться даже от звука голоса. И Айсфогель знает об этом.

Ледник — словно белый галстук на темно-серой груди горы. Кое-где на нем видны «бараньи лбы» — округленные, заглаженные льдом и водами скалы.

Вмятины в фирне — следы Айсфогеля. А вот и характерные углубления, отпечатки «кошек», на которых прошел альпинист самые опасные участки. Андрей с трудом

вбивал ботинки в плотный, смерзшийся снег. Хорошо, что ботинки с трикони держат.

Седой сохранял дистанцию на глаз. Двести метров, не больше. Айсфогель не оборачивался. Нужно заставить его нервничать. Разведчик поднял пистолет и выстрелил в воздух.

Гестаповец обернулся и дал длинную очередь. Пули взметнули фонтанчики льда у самых ног Андрея. Он упал на живот, вонзил ледоруб в снег и сполз на десяток метров вниз.

Следующая очередь была короткой — пули прошли над самой головой.

— Вот черт! — пробормотал Андрей, отползая за один из «бараньих лбов».

Он все еще надеялся на маленькую лавину, разбуженную выстрелами. И он увидел ее. После короткой очереди из «стен-гана» с одного из гребней сорвался ком снега, прочертил на карнизе черную полосу и расколол снежное поле. Оно треснуло пополам и устремилось по центру ледника.

Седой встал из-за камней и закричал, предупреждая Айсфогеля о лавине.

Гестаповец обернулся, прыгнул в сторону и вдруг, осознав, что не успеет, устремился навстречу лавине, высоко подпрыгивая, словно намереваясь перемахнуть всю эту мчащуюся массу снега.

Белая ослепительная пыль скрыла его фигуру. Андрей лег в углубление за камнями и, вонзив ледоруб в снег, вцепился в него обеими руками. Задержал дыхание. Лавина задела каменный островок краем, накрыла удушающей ватной пеленой и промчалась дальше.

Седой выбрался из-под снега и взглянул вслед клубящемуся потоку. Внезапно на его гребне разведчик увидел фигуру Айсфогеля. Он все так же высоко вскидывал ноги, он бежал по лавине, не давая увлечь себя в ее глубину.

Андрей и раньше слышал о людях, седлавших лавины, и вот теперь видел высший альпинистский пилотажа. Это граничило с чудом. И счастье Айсфогеля, что лавина не несла с собой камней. Она выдохлась на половине ледника.

Не было на Айсфогеле и светозащитных очков.

...Их разделяло шестьдесят — семьдесят метров. Но теперь гестаповец был внизу, и солнце светило ему в

спину. Он потерял в схватке с лавиной ледоруб, без которого продолжать путь по леднику было невозможно. Айсфогель избрал единственно верное решение. Он стал медленно и осторожно спускаться к площадке, на которой час назад Седой лежал в засаде.

Андрей отчетливо слышал шипящий звук, издаваемый летевшими из-под ног гестаповца льдыстыми кружками.

«Если Лотта идет тропой, по которой шел гестаповец, она слышала выстрелы и поспешит,—думал Седой.— Я должен его задержать. Как? Соблазнить его живой мишенью. Не дать ему пристреляться, все время вести огонь самому».

Седой достал второй пистолет и поднялся из-за гладкого валуна.

Он стрелял с обеих рук, пританцовывая на ледяной площадке возле камня, бросаясь то вправо, то влево, падая и снова вскакивая, слыша, как постанывают над головой пули, посланные из девятизарядного вальтера с расстояния, когда опытный стрелок поражает мишень с первого выстрела.

Андрею мешало солнце, оно теперь было его врагом. Да он и не вел прицельного огня, стреляя в контур, в силуэт, не давая противнику продолжать спуск к площадке. И потом это было чужое, не им пристрелянное оружие. Он считал свои выстрелы и оставил два патрона в парабеллуме на самый крайний случай, когда увидел поднимающегося ему навстречу Айсфогеля. Этот человек не знал страха. Опасность только подхлестывала его. Так казалось Седому. И все же он заметил, что Айсфогель идет как бы на ощупь, его мотает в стороны.

«Ранен,—мелькнула мысль.— Решил подняться на верный выстрел. Теперь пора его стреножить, самое время».

Андрей поднял пистолет, тщательно прицелился, шурясь от яркого, бьющего в лицо солнца. Глухо клякнул ударник. Осечка?

«Это нужно было предусмотреть, разведчик Долгинцов, и оставить по патрону в каждом стволе. Умереть после всего, что было?! Нелепость».

Седой отбросил парабеллум и взялся за ледоруб. Только теперь Андрей разглядел того, кого называли Ледяной птицей. Высокий бугристый лоб и четко очерченный, вытянутый овал лица. Гестаповец сильно щурил

большие черные глаза, словно искал что-то в лице противника.

«Не двигайся,— приказал себе разведчик,— три метра. Не промахнется. Целится в голову — это уже шанс. Если бы в сердце, тогда почти никакого. Рука дрожит. Устал».

Не спуская глаз с пистолета, Седой видел теперь только руку и белый от напряжения палец на спусковом крючке.

«У него последний патрон, поэтому он медлит. Нет, снежная слепота. Ведь он полчаса как без очков».

Мысль вспыхнула и ослепила. Разведчик сжал ледоруб, резким и быстрым движением обеих рук метнул его в голову гестаповца.

Хлопнул выстрел. И в следующее мгновение Андрей услышал звизг металла и ощутил тупой удар в голову. Пуля попала в ледоруб и рикошетом угодила Седому в левую часть головы, прикрытую меховой шапкой.

Разведчик упал и стал медленно сползать вниз. Словно в полусне услышал:

— Андре-еэ-ей!

Ему казалось, что он целую вечность слышит этот детски тонкий голос. Он напрягал всю свою волю, пытаясь узнать его, но глухой, идущий из глубин мозга гул мешал ему сосредоточиться.

Сознания коснулись знакомые резкие звуки. Они вернули Андрея из забытья. Где-то рядом стреляли.

Седой почувствовал, что скользит по леднику, перевернулся на живот, раскинул руки и ноги в стороны, цепляясь за малейшие неровности, мелкие ледяные заусенцы. Спас его скрытый под снегом заструг, образовавшийся от натеков с тающего дня снега.

Андрей разлепил запухшие от удара глаза и сквозь красный туман увидел идущего по краю ледника Айсфогеля. Гестаповец шел, вытянув вперед руки, как слепой. В одной из них Седой заметил сверкнувший тонкий длинный клинок. Вдруг он остановился и стал торопливо снимать ранец.

«Сейчас он поищет лицом солнце, развернется и бросит ранец в пропасть. В нем микропленка... тысячи адресов и явок... Где же Лотта?»

Седой попытался приподнять голову. Близкий выстрел заставил его вдрогнуть. Андрей успел зафиксировать в сознании падающую фигуру гестаповца и впал в забытие.

...Он пил, захлебываясь, горячий кофе прямо из термоса, Лотта с улыбкой смотрела на него, потом тихонько засмеялась, прикрыв рот ладонью.

— Ты чего?

— Ты рыжий, Андрюша... Я все думала, какой ты, с головы — седой... не поймешь. А борода выдала... Рыжий...

Андрей провел рукой по щеке — трехдневная щетина сухим репейником обметала подбородок и скулы — и тоже засмеялся мелким тугим смешком, держась обеими руками за голову, потому что смеяться было больно.

— Хочешь, я прочту тебе стихотворение Пушкина?

— Зачем?

— Я давно ни с кем не говорила по-русски, Андрюша...

— Наговоримся еще, — посмеиваясь, сказал Седой, — спускаться вниз, считай, сутки.

— Нет, ты послушай. И не смейся. Так нужно... мне.

— Закурить бы сейчас... — пробормотал разведчик.

— Курь. И слушай... — Лотта протянула ему пачку сигарет. — Я пашла их в ранце вместе с контейнером... А это тоже трофей. — Она щелкнула изящной зажигалкой.

После первой же затяжки у Седого закружилась голова.

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле...

Лотта читала негромко, без особого выражения, словно вела беседу:

Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Мишутное забвенье горьких мук...

Ирония возвращалась к Седому вместе с привычным ощущением силы и легкости. Он видел летящий мрамор высокого неба, маленькое облачко, коснувшееся солнца, светящееся и трепещущее, слышал, как вздрагивали продрогшие ели на склонах, наполняя воздух тонким звоном, и каждой клеткой усталого, намучившегося тела ощущал жизнь, ее биение и власть.

— Помнишь наизусть? — усмехаясь, спросил он. — По литературе пятерка была?

— Была, — как эхо, грустно отозвалась Лотта.

Они помолчали. Лотта поднялась первой.

— Андрей... — глухо и строго произнесла она, — теперь слушай меня внимательно и не перебивай. Ты начнешь спуск через полчаса, как я уйду к перевалу. Будь осторожен — в горах могут бродить «адельвейсы». Возьми мой вальтер и две обоймы. Если что... контейнер уничтожить любой ценой. В старой хижине, что на левом склоне хребта, — ты ее видел, когда мы поднимались в группе к спасательной станции, — тебя ждет человек. Его зовут Игнаци. У него для тебя одежда, австрийский паспорт на имя Питера Гешнера, венского служащего, приехавшего в Филлах навестить брата. Он же скажет, где хранить контейнер. Ни в коем случае не держи его при себе. Американцы если не сегодня, то завтра будут в Филлахе. Первое время поживешь у моего человека. Он антифашист, потерявший всех близких в Маутхаузене. Проверок бояться не нужно. Документы настоящие. Как только представится возможность, выедешь в Вену. Микропленка останется в тайнике. Нельзя рисковать... Это приказ Центра.

— Ясно, — сказал Седой, — а все же... могли бы вместе...

— Нельзя, Андрей... Война для нас не кончится и после салютов Победы... Мы сделали одно дело из тысячи... Ты разведчик и все понимаешь... До свидания... Большой привет Сухову и генералу. Он захочет увидеть тебя еще раз. Низкий поклон Москве... — Голос ее дрогнул. — И Малой Бронной...

Они обнялись.

Она спускалась с ледника по его следам и, когда достигла каменной площадки, обернулась, крикнула:

— Я сама найду тебя в Москве... Слышишь?

— Слышу, — тихо сказал Седой.

Она шла по острому гребню, ведущему к перевалу. Ее силуэт долго вырисовывался на фоне синего неба. Потом он исчез.

Седой отвернулся, внимательно оглядел в бинокль склоны, вскинул ледоруб и сделал первый шаг с ледника.



РАССКАЗЫ



ОСТАНЬСЯ ЖИВЫМ

По дороге в штаб Седой заглянул во двор госпиталя, который разместился в большом юнкерском доме. Заглянул просто так, из любопытства. А может, и потому, что слышал музыку. Кто-то хорошо играл на аккордеоне. Потом он услышал песню. Высокий мужской голос почти фальцетом пел:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля...

Во дворе танцевали. Раненые в повязках с медсестрами.

Больничный сад благоухал устойчивым запахом весны. В бело-розовом цветении стояли яблони и черешни. Белыми были халаты сестер и бинты на раненых. От белого рябило в глазах. «Кончается война,— подумал Седой.— И первыми это чувствуют женщины».

Он и сам испытывал необъяснимое, ни с чем не сравнимое чувство — будто тебя подхватило сильное теплое течение и несет, несет в какую-то неизвестную блаженную даль. А там, в этой дали, кто-то ждет, ждет именно его, майора, которого никто ждать не должен — всех родных убила война.

Пьянящее ощущение близкой победы и своей силы, ранняя весна — все это будоражило людей, притупляло чувство опасности.

Армия обошла Берлин с севера и тем самым завершила окружение германской столицы. Одна из дивизий устремилась навстречу союзникам, подходившим к Эльбе с запада. Гитлеровцы еще на что-то надеялись, отчаянно сопротивлялись. Они дрались буквально за каждый дом.

Шагая по улицам аккуратного немецкого городка, захваченного внезапным ударом с фланга и потому целе-

хонького, если не считать выбитых в домах стекол, Седой думал о предстоящем разговоре с начальником разведотдела армии. Он знал полковника Букреева с первого месяца войны, был с ним дружен той скупой мужской дружбой, которая не терпит скучных объяснений, глупых недомолвок, пустячных обид.

Букреев встретил Седого на застекленной террасе, полуобняв, усадил в глубокое плетеное кресло, остро заглянул в глаза.

Террасу заливало жаркое весеннее солнце. С улицы доносилась веселая солдатская переключка:

— Ты глянь... танки-то, танки где остановились! На самом виду. По «юнкерсам» соскучились?

— Нема у Гитлера «юнкерсов», Коля, скидай одежду — загорать будем...

— Все с ума посходили, — проворчал Букреев, тяжело опускаясь в кресло напротив Седого.

Пожилой седоусый полковник походил на усталого, вернувшегося с поля пахаря. Глубокий шрам пересекал его квадратное угрюмоватое лицо. Когда полковник говорил, шрам стягивал кожу на правой щеке, и тогда казалось, что начальник разведки смеется.

— Ты знаешь, что я сейчас вспомнил? — Букреев едва заметно усмехнулся: — Кленовую аллею в Тимирязевском парке... Такой же вот апрель и листочки, еще свернутые в дудочку. Черт знает почему...

— Может, женился ты той весной, Иван Савостьяныч? — насмешливо ответил Седой, вслушиваясь в разговоры на улице.

— Бирюк ты, — примирительно вздохнул полковник. — Я с тобой, как с другом... Думал лирический разговор состряпать.

— Не обижайся, Иван Савостьяныч, — тихо проговорил Седой. — До логова дошли, обложили зверя, а я все нашу границу забыть не могу... Мы сидим в блокадах, патроны на исходе, а они — термитными снарядами. Колюшня загорелась... Лошади сбили ворота... Думашь, пожалели они лошадей? Охоту устроили, сволочи. Из винтовок, как по мишеням. Один гнедой по клетке Кордон только и ушел в тыл...

Букреев смотрел на Седого, и боль сжимала его сердце. Четвертый год они воевали вместе. Полковник помнил тот день, когда у горевшего леса прямо к наспех отрытым окопам вышел человек в лейтенантской гим-

настерке. Он был точно создан для боя. Сухощавый, неулыбчивый, с пронзительным взглядом узких, неуловимых темных глаз. Уголки его сильного рта были словно запечатаны по бокам глубокими морщинками. Серебро густо покрывало черные жесткие волосы. Пограничная форма сидела на нем плотно, будто сшитая по заказу.

Капитан Букреев тогда придирчиво рассматривал и документы лейтенанта-пограничника, и его самого, задымленного, запыленного так, что и лица-то разобрать невозможно.

Лейтенант был ранен в руку и в шею, видимо, сильно контужен. Он заикался и во время разговора прикрывал глаза ладонью, словно заслоняясь от чего-то жгучего, бьющего прямо в зрачки.

— За-заст-та-вы н-нет, я остался од-дин,— только и произнес пограничник, и было непонятно, как же он вырвался из окружения, прошел через горящий лес да еще принес с собой два немецких автомата.

Для бойцов батальона, которые еще не видели ни одного гитлеровца, человек с границы был героем. Букреев помнил, как они поодиночке и группами приходили в блиндаж посмотреть на спящего лейтенанта. Он поставивал во сне, тяжело, с присвистом дышал и крепко сжимал обеими руками трофейный автомат.

— Седой,— ласково сказал кто-то из бойцов, разглядывая не по годам суровое лицо спящего пограничника.

Так и прошел он с этим псевдонимом — Седой — по тылам вермахта. В разведотделе дивизии оценили отвагу и находчивость лейтенанта Долгинцова. Отличное знание немецкого языка помогло ему стать настоящим разведчиком.

— Не вижу карты,— внезапно сказал Седой.

— Я бы предпочел шахматы, Андрей,— угрюмо отозвался Букреев.— Война-то на исходе.

Полковник потянул за шнур портьеры, она сдвинулась и открыла мелкомасштабную карту Северной Германии.

— Городок в одиннадцать букв, без разбега не говоришь, он нам нужен. Монтгомери спешит к Берлину, спешит и 12-я фашистская армия Венка. В Берлине надеются на то, что Венк со своей армией прорвется к столице. Но им важно и другое — не дать нам соединиться с англичанами и американцами. Выше города плотина...

Букреев теперь походил на школьного учителя. С указкой в руке он стоял у карты и негромко рассказывал, словно вел урок:

— В водохранилище собрано около семи миллионов кубометров воды. Если взорвать затворы шлюзов, вода хлынет в долину, затопит город. Погибнут люди. Кроме того, задержится наше наступление... Послать большую группу мы не можем, она будет слишком заметна: территория, по которой придется идти, нафарширована эсэсовскими частями. Службы абвера, СД тоже не спят.

— Что известно о подступах к плотине, ее охране? — спросил Седой, подходя к карте.

— Незвестных в этом уравнении больше, чем хотелось бы.

Букреев тяжело опустился в кресло и негромко добавил:

— Охрана есть, но мы не знаем, сколько ее, местность на подходах к плотине открытая... Знаем, чтобы избежать случайностей, взрывное устройство спрятали в бункере. Они постараются взорвать затворы в последние минуты, когда наши войска войдут в город... В последнюю минуту... В этом все дело... В километре от плотины, в доме у семи сосен, живет старик немец Фридрих Гросс, он тебе должен помочь. Но нельзя исключать вероятность, что дом под наблюдением. Фотографию Гросса тебе покажет Сафонов. Пароль — «Трапезунд открыт для кораблей», ответ — «Со вчерашнего дня»... Как только начнется штурм города, в район плотины будет выброшен десант. Штурм начнется ровно в шесть часов утра — через сутки после твоего ухода...

Полковник встал, тотчас заложил руки за спину. Седой знал этот жест — у Букреева была прострелена грудь. В комнате стало душно, несмотря на распахнутые окна, и полковнику тяжело дышалось.

— Ты ведь мечтал стать врачом? — вдруг спросил Букреев.

— Когда это было! Еще до пограбичного училища, — усмехнулся Седой.

— Учился и ушел с третьего курса, — упрямо мотнул головой полковник. — Знаю, перевязки делать умеешь, латынь разбираешь, шприц от скальпеля отличить сможешь.

— Значит, под врача?..

— Значит, так. Маскируясь под врача, тебе легко

будет передвигаться, путь неблизкий... Документы заготовлены. Пойдешь без оружия. Саквояж с инструментами у Сафонова. Он тебя будет провожать с ребятами. А там смешаешься с беженцами. И... нет у нас с тобой времени, давай простимся здесь, сейчас.

Букреев шагнул вперед, обнял Седого за плечи, как и при встрече, остро заглянул в глаза.

— Об одном прошу тебя... — голос его дрогнул, — останься живым...

— Как выйдет, Савостьяныч, — тихо ответил Седой.

* * *

Небо желтело над дымящимися развалинами. И было трудно различить, где кончается щебень обвалившихся стен и где начинаются улицы. Дома зияли пустыми глазами окон. Из поврежденных труб сочился газ и вместе с каменной пылью щекотал ноздри.

И все же это был настоящий воздух, а не канализационный смрад. И это был вражеский тыл, в который Седого провели саперы по подземным коммуникациям города.

С той минуты, как он протиснулся в узкую горловину подземного колодца, прошло долгих пять часов. Правда, по коллектору шли в полный рост. Несколько раз поднимались наружу. Из-под крышки колодца, словно сквозь смотровую щель в танке, можно было наблюдать за улицей.

Больше всего боялись мин, поэтому двигались медленно, прощупывая каждый метр миноискателем.

Угрюмоватый сапер с забитовой головой в самом начале пути протянул Седому укороченный щуп, надел на спину ящик с батареями, сунул в руки миноискатель. Наушники разведчик надел сам.

— Шукай осторожно. Щуп втыкай в эту грязюку, как палец в мед. Если что, хлопни меня по плечу и замри!

Сапер не знал, что Седой в многочисленных своих переходах через линию фронта научился находить и обезвреживать мины так же быстро и ловко, как это делали саперы-виртуозы из саперного батальона.

Теперь все позади. Сброшены резиновые сапоги. Ладонь правой руки побаливает от крепких прощальных рукопожатий. Он в немецком городе с документами берлинского врача Конрада Шмитца.

«Два часа, как кончился налет», — определил Седой, глядя на дымящиеся развалины.

Он опасался налетов. После них слишком много работы для людей его профессии. Да и возможность попасть под американские бомбы не радовала Седого — всегда есть шанс получить осколок. Нужно выбираться за город и ловить попутную машину. Должно же ему повезти.

Шоссе в этот час не было пустынным. В сторону фронта мчались тяжелые «бюссинги», полные солдат, катала артиллерия, двигались танки.

На запад, держась обочины, шли беженцы, толкая перед собой коляски со скарбом; то и дело в живом людском потоке мелькали навьюченные мешками велосипедисты. Седой шагал в этом потоке беженцев, ничем не выделяясь среди них.

Эсэсовский патруль он заметил издали — три мотоцикла с колясками на обочине. Шестеро в черных мундирах, с молниями в петлицах. Автоматы в руках как топоры.

«Значит, не обошлось», — подумал Седой. Он не сомневался в надежности своих документов, но всякая проверка таила в себе опасность. Опасность быть мобилизованным в армию, на строительные работы, наконец, простое задержание для выяснения личности. Время. Оно шагало слишком быстро. Цена минуты подорожала на десятки, а может быть, на сотни жизней.

Седой протянул документы высокому худощавому офицеру с нашивками оберштурмфюрера. Тот мельком взглянул на Долгинцова и раскрыл паспорт. Голос офицера был рассеянным и еще более молодым, нежели его лицо:

— Берлинский врач... Конрад Шмидтц... Бежите от русских... Давно из Берлина?

Седой опустил глаза — это меняло их выражение.

— Шесть дней, оберштурмфюрер, — ответил Седой, чувствуя, как наливаются тяжестью поги и немеет правая рука, держащая саквояж.

— Поедете с нами, — коротко бросил офицер.

* * *

Седому пришлось ждать, пока не иссякнет поток беженцев. Он внешне спокойно стоял между эсэсовцами и ловил на себе жалостливые, полные сочувствия взгляды.

ды проходящих мимо людей. Эсэсовцы вызывали в них страх и отвращение.

«Если подвели документы, тогда последняя рукопашная», — думал Седой. У него мелькала уже мысль свалить внезапным ударом солдата слева, завладеть автоматом и расстрелять остальных в упор.

Он удивлялся тому, что его не обыскали. Это было не в обычаях войск СС, и Седой решил подождать с рукопашной.

Наконец поток людей иссяк. Офицер повернул к Седому равнодушное лицо усталого человека.

— Сядете в коляску, — коротко распорядился он и тут же окликнул одного из солдат: — Гельмут, возьми у доктора саквояж.

Старый немецкий замок, куда эсэсовцы доставили Седого, лежал на полпути к городу — цели разведчика. Проехали в глубину парка, и Седой увидел огромные воронки от бомб. Снесенные взрывной волной скульптуры валялись на клумбах, всюду виднелись следы пожара.

Седого провели в подвальное помещение. Офицер исчез, словно растворился в полутьме подземелья. Два эсэсовца остались за спиной — Седой чувствовал их дыхание.

«Они даже не открыли саквояж с инструментом. И вернули документы. Им нужен врач. Кто-то ранен, и не нашлось даже фельдшера. А если все не так?..»

Седой чувствовал, что ставит себе вопросы машинально. Его мысли кружились, как в водовороте, цеплялись одна за другую, чтобы пережить самое мучительное — ожидание.

Вернулся офицер и сделал знак, приглашая за собой.

Они прошли коридором, свернули в широкий, похожий на склеп проход. Провожатый толкнул единственную дверь. Яркий, обнажающий свет ослепил Седого. Он прикрыл веки. Было такое ощущение, словно тебя сейчас ударят... Глухая тишина и осколок солнца в коллде.

Глаза наконец-то привыкли к свету. Он увидел человека, лежащего на диване. На нем была форма штурмбанфюрера войск СС. Длинное сухое лицо, пристальный, изучающий взгляд. Неумело забинтованная правая нога покоилась на подушке.

Кроме раненого в комнате находились два эсэсовца и человек в штатском.

— Частная практика? — голос звучал простуженно.

— Так точно, господин оберштурмбанфюрер, — быстро сказал Седой. Ему подумалось, что так будет лучше — сухой язык рапорта и чуточку лести — назвать эсэсовца рангом выше.

— Где жили в Берлине?

— Зейдлицштрассе, семнадцать...

— Русских видели?

— Тапки...

Раненый шевельнул подбородком, легкая гримаса боли пробежала по его лицу.

— Наш полковой врач убит при бомбежке, — произнес он. — Вам придется осмотреть раненых. Начнете с меня... Вы, надеюсь, не спешите?

— Я в вашем распоряжении.

Седой быстро и умело разматывал бинт, страхась увидеть закрытое ранение. Мелкий осколок прошил икровую ткань насквозь и даже не задел кость. «Руки, — вспомнил разведчик, — я не вымыл руки».

Он снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку кресла, засучил рукава рубашки и негромко потребовал:

— Воды.

Осмотр не занял и пяти минут. Седой ополоснул руки в тазике, который принес один из эсэсовцев, и склонился над раненым.

— Осколок прошел навывлет. Задета кость... Нужно вычистить рану и наложить тугую повязку. Лучше это сделать в госпитале, — сказал Седой. Он надеялся на магическое слово «госпиталь».

— Приступайте!..

Теперь голос звучал с хрипотцой. Седой вздрогнул. С тех пор как его остановил патруль, он ни на минуту не почувствовал правдоподобности происходящего. Реальность как бы растворилась в хаосе мыслей, нахлынувших внезапно и властно. Происходящее казалось каким-то искусственным, как и немецкий язык, который он то вспоминал, то забывал.

Седой раскрыл саквояж с инструментами. Скальпель — вот что вернуло его к обычному состоянию: спокойному, ироническому отношению к жизни.

«Я должен прокипятить инструменты. Сейчас важно

не допустить ошибки. Врачебной ошибки. И следить за руками — так, кажется, говорил профессор, читавший курс хирургии».

Он открыл флакон с йодом... И сразу вспомнил свою единственную встречу с океаном. Отец привез его, четырнадцатилетнего мальчишку, во Владивосток к дяде, военному моряку. Вышли в море на рыбачьем баркасе. Йодистый воздух с непривычки сильно щекотал ноздри. Когда это было? И было ли это?..

— Придется потерпеть, — пробормотал Седой, наклоняясь над раной, остро чувствуя присутствие человека в штатском за спиной, его молчаливую отчужденность.

Седой много раз за годы войны видел работу фронтовых хирургов, дважды лежал в госпитале сам и, как человек, некогда мечтавший стать врачом, живо интересовался военной медициной. Он многое умел, но в пределах того любительского умения, когда нужно оказать первую помощь. Сейчас он и окажет ее этому пожилому нацисту.

«Боятся гангрены, — отметил про себя разведчик. — Ему все пятьдесят шесть, а может, и больше. Сколько людей отправил он на смерть одним словом или движением руки?..»

— У доктора, по-моему, дрожат руки?

Неприятный, скрипучий голос. Это штатский. Он стоит за спиной и дышит в затылок. Промолчать?..

— Я бы хотел, чтобы мне не мешали...

Фраза вырвалась сама собой. Раненый махнул рукой. Человек в штатском исчез бесшумно, только скрипнула дверь.

Раненый оказался терпеливым человеком. Он ни разу не застонал, не вскрикнул, пока Седой обрабатывал рану, только по расширенным зрачкам — разведчик однажды глянул в лицо эсэсовца — можно было догадаться, какой крик удерживал в себе пациент.

Тампон на рану. Тугая повязка. Кажется, все. Седой распрямил затекшую спину. И заставил себя улыбнуться.

— Благодарю, — хрипло выдохнул эсэсовец. Разведчик сдержанно кивнул. — Еще трое... Вас проводят...

Седой почувствовал, как стучат часы на руке.

— Слушаюсь...

— Вы все-таки спешите, — насмешливо сказал штурмбанфюрер. — Вас ждут родственники или жена?

— Дети... господин оберштурмбавфюрер...

— Будущее Германии. Я понимаю вас... После осмотра раненых мои люди подбросят вас до шоссе.

В наскоро оборудованном подземном лазарете Седой снова увидел человека в штатском. Неприметное, трудно запоминающееся лицо фашистской ищейки. Абвер или гестапо?

Седой с особенной остротой ощущал присутствие этого человека. Весь мир был теперь отгорожен его широкой спиной.

* * *

Перед концом осмотра раненых человек в штатском покинул комнату-лазарет.

Седой вышел на подземелья в сопровождении двух эсэсовцев. Человек-ищейка ждал его у машины.

— Мы попутчики, доктор. Садитесь вперед... Устали?

— Да.

На дворе сумерки переходили в ночь. Последний солнечный луч подсвечивал облака, чуть тронутые ветром. Вокруг все одевалось в графитовые тона, и полусвет, как пыль, падал на лица.

Машина рванула с места, оставив у ворот эсэсовцев, вытянувших руки в фашистском приветствии.

На смутном фоне полей и весенних деревьев мелькали фигуры одиноких людей, бредущих на запад. Машина обгоняла их и, все увеличивая скорость, неслась в ночь.

Человек-ищейка мелко и беззвучно смеялся. Седой видел его лицо в маленьком зеркальце над ветровым стеклом.

«Горсть табачной пыли — все мое оружие, — думал разведчик. — Я ему подозрителен... Чем? Он даже не смотрел мои документы... Тогда чем же? Презрение к интеллигенту, бегущему от русских?»

— Где вы так поседели, доктор? — лениво, с наигранным равнодушием спросил тот, кто сидел сзади.

— У меня погибла семья.

— И мамочка тоже?

«Он разговаривает со мной, как с обреченным... Но в машине стрелять не будет... Свернет с шоссе... Их двое. Пригоршня табачной пыли на двоих...»

Седой напряженно смотрел перед собой, ловя глаза-

ми столбики с указательными знаками. Он вспомнил карту и сверял ее по памяти с названиями населенных пунктов на указателях. Сейчас важно было сориентироваться.

Внезапно машина резко свернула на проселочную дорогу, и по сторонам вырос еще оголенный по-весеннему лес.

Проехав немного, машина стала.

— Птичке пора улетать... — многозначительно сказал человек-ищейка и, открыв дверцу, вышел из машины.

Шофер, рослый эсэсовец, не выключая мотора, толкнул Седого в плечо, давая понять, чтобы он покинул машину.

Седой разжал кулак, хранящий пригоршню табачной пыли, и резко бросил ее в лицо эсэсовца. Шофер коротко вскрикнул — пыль попала в глаза — и вытянул вперед руки, стараясь вслепую поймать разведчика за лацканы куртки. Ребром ладони Седой ударил эсэсовца по шее, там, где находилась сонная артерия, и включил скорость.

Новенький «опель» рванул с места. Сзади грохнул выстрел, второй. Седой слышал, как пули стегнули по металлу, и, навалившись на баранку грудью, еще сильнее надавил на педаль газа.

Отъехав с полкилометра, разведчик остановил машину и вытащил не приходящего в сознание шофера на обочину. Быстро обыскал его. Оружия не было...

Седой гнал «опель» по проселку, не включая фар, стремясь уйти от шоссе как можно дальше. Он выиграл минут двадцать. В том, что его будут преследовать, разведчик не сомневался. Машина таила в себе опасность. Ее неминуемо остановит военный патруль. И потом машина — это след. Его счастье, что ночь и туман поднимается из низин.

До плотины не больше двадцати километров, она слева от дороги. Значит, сворачивать нужно вправо и в первый же овраг спустить «опель»...

...Седой сделал несколько шагов от оврага и вышел на просеку. Лес роптал. Над беспокойными вершинами бежали облака, окрашенные бледным светом луны. Далеко за лесом возникало и пропадало серебристое зарево.

Росистое поле лежало перед разведчиком. Теплым сырым ветром обмывало ему лицо.

Седой прислонился к стволу. Кора была мокрой. Он посмотрел на соседние деревья. Они тоже поблескивали влагой. Дерево вздрогнуло. Капли с него упали за ворот куртки, и от этого холодно стало спине.

Седой поежился и, перешагивая через горбатые, выпирающие из земли корневища, пошел по просеке к полю. Вспаханный танками суглинок податливо расступился под его ногой. Все казалось нереальным — и это небо, серое и низкое, как во сне, и этот дрожащий мир, готовый в любую минуту рассеяться. Глаза Седого уже привыкли к окружающему, сознание же было еще привязано к схватке на дороге тысячами нитей. Но он никак не мог вспомнить лица человека-ищейки...

Седой шел строго на запад, ориентируясь по звездам, которые то открывались, как в колодце, то снова затягивались космами облаков.

С полуночи сильный туман стал мешать разведчику.

«Плотина близко, — подумал Седой, — это водоем породил туман».

Сосны выплыли из белесого сумрака внезапно, а вскоре разведчик разглядел и дом — приземистое кирпичное строение чуть поодаль от деревьев. В одном оконце сквозь маскировочную штору пробивался слабый свет.

Стучать Седой не решился. В доме могли жить другие люди. Он приник к окну и стал смотреть в щель между шторой и частью стены.

Пока его глаза напряженно всматривались в просвет, ухо ловило малейший шорох за спиной.

Наконец заскрипел стул, до слуха разведчика донесся хриплый, лающий кашель и в просвете показалась сторбленная фигура в пижаме. Седой узнал старика, едва увидел его лицо с неправильными чертами, словно взятыми от разных людей.

Разведчик негромко постучал. Гросс обернулся к окну, резко приблизился. Чуть отодвинул штору, пытаясь рассмотреть ночного гостя. Свет косо упал на лицо Седого, он сдержанно улыбнулся старику, понимая, что тот видит его.

Через минуту проскрипел засов на дверях и хриплый голос спросил:

— Кто там?

— Трапезуид открыт для кораблей, — тихо, но внятно произнес Седой.

За дверью долго молчали. Наконец дверь отворилась, и разведчик шагнул в темноту.

Комната, куда старик привел его, была скудно освещена коптилкой и походила на блиндаж, обжитой и уютный, но без комфорта. Свет коптилки вырывал из сумрака только стол, на котором она стояла, два стула и край тяжелой деревянной кровати, застланной тонким грубошерстным одеялом. Что-то воспаленное было в этом скудном рассеянном свете, словно с догорающим фитилем уходила чья-то жизнь.

В непроветренном помещении держались запахи спиртного, дешевого табака, лука и той тоскливой затхлости, которая подсказывает, что в доме этом долгие годы не ступала нога женщины. На столе стояли початая бутылка вина с французской этикеткой и тяжелый, из литого стекла стакан.

Старик пристально разглядывал разведчика.

— Русский?

— Да.

Глаза, вспыхнувшие отсветом коптилки, померкли, ушли в тень подлбья.

— Я жду вас вторую ночь... А это...— он кивнул на бутылку,— помогает одиночеству.

— Французское перно,— заметил Седой, вслушиваясь в звуки на улице.— Откуда?

— У СС особое снабжение и... весь мир под ногами...

Гросс выпрямился, и на его по-старчески поджатых губах проглянул осколочный луч усмешки.

Но скоро сильный приступ кашля согнул его.

— Вы не сказали ответ на пароль,— напомнил Седой.

— Я его забыл,— пробормотал хозяин дома.— Карцеры Моабита могут заставить забыть, как зовут маму и фюрера... Там что-то было про вчерашний день... Я — старая ржавая миша и думал, что уже не пригожусь...— Он тяжело опустился на стул. Внезапно сказал: — Они убили Тельмана... Я знал его...

Седой пристально взглянул в лицо старика и уловил твердую потаенную мысль в глубине его темных зрачков.

— У нас мало времени,— мягко сказал он.— Меня интересует бункер.

— В бункер проникнуть невозможно,— устало и тихо сказал старик.— Двойные стальные двери, все подходы заминированы...

— В бункере никого нет?

— Никого. Они придут туда по звонку из города... Они всегда были дьявольски хитры, теперь же замуровали смерть. И они знают, когда ее выпустить.

Старик закашлялся. Его болезненный кашель походил на треск разрываемого брезента.

«У него туберкулез. Простуда обострила процесс. Знает ли он об этом?» — подумал Седой, вглядываясь в заострившиеся черты лица Гросса.

— Есть только один проход к бункеру,— наливая себе из бутылки, продолжал старик, когда кашель отпустил его.— Проход обозначен вешками... Чтобы добраться до него от моего дома, нужно пройти минное поле.

— Кабель от бункера?..

У Седого шевельнулась надежда.

— Скрыт под землей.

— Так...

Старик маленькими глотками отпивал перно. Он казался невозмутимым.

«Пройти минное поле» — это просто сказать,— думал разведчик.— Они предусмотрели все. И не в первый же класс ходит их контрразведка. Оружие — вот что мне нужно. Тогда можно попытаться пройти через это проклятое поле и у бункера задержать их. Хотя бы на полчаса... Может быть, успеет десант?..»

— У вас есть оружие? — спросил Седой.

— Нет,— отозвался старик.— Дом два раза обыскивали, да и взять его было негде... У меня есть другое...— Старик пожевал губами, с сожалением выпустил стакан из рук.— Подождите несколько минут и не подходите к окну.

Он встал, набросил на плечи пальто и вышел, шаркая ногами, что-то бормоча себе под нос.

То, что принес старик, было завернуто в непромокаемую тонкую ткань и перевязано просмоленным шпагатом.

— Я хранил инструменты в бочке с водой,— разрезая перочинным ножом шпагат, сказал Гросс.— Думаю, они пригодятся вам.

На полу лежали миноискатель и ранец с батареями питания, рядом поблескивал шуп, похожий на штык.

— Где же вы?..— задохнулся Седой, готовый расцеловать немца за такой подарок.

Старик усмехнулся. Глаза, которые он близоруко щурил во время разговора, теперь широко открылись и поблескивали хитрецей, отражая в зрачках качнувшийся багрово-медный листок пламени в плошке.

— Я купил все это у сапера, работавшего здесь. Отдал, можно сказать, целое состояние — тысячу марок и два перно в придачу. Парень был молодой и любил выпить.

Седой плохо слушал Гросса. Он смотрел на миноискатель и чувствовал себя так, словно ему второй раз подарили жизнь. Теперь нужно действовать. Обстановка подсказала Седому простую и дерзкую мысль — разминировать часть минного поля, добраться до бункера и заминировать единственный проход немецкими же минами.

Гросс понял разведчика о полуслова и быстро нарисовал план, где бункер был помечен крестом.

— У края овражка одинокая яблоня, вы ее увидите и в темноте — она сейчас цветет... От нее начинается минное поле, сразу влево. На вышках два прожектора. Они включаются с интервалом в десять минут... — Старика снова забил кашель. — Мне сказали, что будет десант... Это правда?

— Возможно, — сказал Седой. — Рота отчаянных парней с неба не помешала бы. А пока нужен крепкий мешок для мин.

— Мы найдем это скоро. — Гросс улыбнулся одними губами и ловко достал из ящика стола второй стакан. Он разлил вино поровну, поднял свой стакан и чуть торжественно сказал: — Смерть фашизму!

— За тебя, товарищ Гросс, — просто сказал Седой и чуть отхлебнул из стакана.

Путь от дома до овражка разведчик преодолел быстро, шел в полный рост, надежно охраняемый темнотой. Овражек, поросший густым кустарником, пришлось преодолевать по-пластунски — сюда доставал луч прожектора.

Седой полз, выставив вперед миноискатель, застывая неподвижным взгорком при каждом всплеске света. А вот

и белое пламя яблоньки. Сейчас влево и навскось, через поле, прощупывая каждый метр.

Седой осторожно перемещал рамку миноискателя над прошлогодней стерней, вводил в землю шуп и слушал. Если в наушниках прекращался тонкий, похожий на комариный писк, он приступал к самой опасной части работы — разгребал над миной землю и выворачивал взрыватель. Мины он складывал в мешок. За два часа набрал всего десять штук. Дальше путь оказался свободным.

«Десять противопехоток на всякий случай — не похоже на аккуратистов немцев, — думал Седой. — А может быть, у них больше не было мин?»

Прожектор, как лезвие бритвы, срезал спасительный мрак и охлаждал сердце.

До бункера оставалось метров триста. И вдруг призрачный свет пролился на землю сверху. Разошлись облака, и в просвет скользнул тусклый серебристый диск.

Седой перевернулся на спину, давая отдохнуть затекшим от напряжения рукам и шее, — все равно двигаться сейчас было нельзя.

Луна, пришитая к темному пологу ветхой ниткой Медведицы, казалось, раскачивалась, готовая вот-вот сорваться с небосвода.

Седой догадался: пришла усталость, это она закачала его. Сейчас не хватало только уснуть.

Там, в ночи, — спящие поля и большие цветущие яблони, реки, освобожденные ото льда и еще закованные в лед, горы, робко ждущие солнца. Там, далеко на востоке, — окна домов со следами светомаскировки, сон миллионов людей и вечный сон солдат в братских могилах. Там его Родина, измученная и прекрасная.

Здесь — притаившиеся жилища и холод близкого опустошения. Пронзительно-яркие глаза машин, ползущих в смерть, как загнанные звери.

Седой остро ощутил одиночество. Сердце заколотилось быстро и больно. Чувство обиды, что придется умереть в день, когда кончается война, перехватило горло.

Что же ты, Букреев? Послал меня умирать среди чужих полей. Ведь столько смертей ходило надо мной, а ты послал испытывать судьбу еще раз. А мне ведь, Букреев, еще род свой продолжить надо, землю свою увидеть, памятник ребятам, погибшим на границе, изладить. Что же ты, Букреев?.. Пора выбрасывать десант... Десант в район плотины.

Эта мысль уплывала, растворялась в тумане, постепенно превращаясь в сон, в который трудно поверить. Сознание застлал сумрак дремоты.

«Останься живым...» — услышал вдруг Седой и открыл глаза. Усталость всей войны все-таки укачала его. Он привык к грохоту передовой, бомбежкам, лягу и крику; здесь же, в ухоженных аккуратных полях, было тихо. Спокойствие разбуженной теплом земли поднималось к Седому сотнями запахов, обостренных ночным сыроватым воздухом. В полях кто-то всхлипывал. Тонко кричала птица. Свистели крылья. Птицы не спали. Должно быть, кто-то разорил их гнезда.

Луны не было видно. Ее снова спрятали облака. Над землей повис туманец, словно сверху опустили белесый занавес. Скоро рассвет. Нужно торопиться.

Триста метров, отделявших его от бункера, показались Седому долгими, изматывающими километрами пути. Миноискатель то и дело натывался на мины. Теперь разведчик не обезвреживал их, он искал проход между смертями, упакованными в металлические корпуса.

Посветлело. Но и туман стал гуще, затрудняя видимость.

Тропу — проход к бункеру Седой узнал по редким красным вешкам. Разведчик сбросил ранец, снял наушники, отложил миноискатель и щуп, достал из мешка короткую лопатку. Хотел закопать инструменты, чтобы эсэсовцы не смогли воспользоваться ими, но потом раздумал и просто разбросал их в разные стороны на минном поле. Так было надежнее.

В мешке — одиннадцать мин. Три из них разведчик поставил у самого бункера, остальные на тропе, продвигаясь прямо к сторожевым вышкам, мелькавшим иногда сквозь редяющие клубы тумана.

Это было нехитрое дело — ставить мины, но у Седого от смертельной усталости дрожали руки, когда он закреплял в железный корпус противопехотки вывернутый пакануне взрыватель.

Последнюю мину Седой решил замаскировать у самой кромки плотины, где тропа-проход круто поворачивала в сторону. Он положил мину за пазуху и неспешно двинулся по тропе, осторожно прислушиваясь к звукам проснувшегося мира, ища в них стук шагов или шорох дыхания.

— Руки вверх! Повернись!

Голос словно упал с неба.

Седой остановился, вскинул руки и повернулся лицом к бункеру.

Сбоку зашуршали кусты, и кто-то легко и бесшумно прыгнул на тропу и встал за спиной разведчика.

«Вот и последняя рукопашная», — мелкнула мысль.

И другая мысль, острая, бьющая в самое сердце: «Он видел, как я ставил мины, и срочно вызовет саперов. Тогда все было напрасно».

— Тебе придется проделать работу наоборот... Разминировать проход...

Вкрадчивый, тихий голос. Маленькая отсрочка? Наверное, он боится, что их саперы могут не успеть... Нужно только не двигаться. Тогда он приблизится.

— Шевелись!..

Седой почувствовал дыхание говорившего. Пора! Он резко и быстро присел, захватил руками край плаща фашиста. Этот прием однажды уже спас разведчика от смерти. Тогда ствол парабеллума упирался в лопатку.

Все решили секунды. Обладатель вкрадчивого голоса перелетел через голову разведчика и тяжело ударился о землю. Пистолет отлетел в сторону и исчез в зарослях кустарника.

Седой шагнул к неизвестному, тот проворно вскочил на ноги и выбросил вперед правую руку с ножом.

Путь до бункера и бессонная ночь отобрали у разведчика слишком много сил. Он ударил левой и промахнулся — фашист нырнул под удар. И все же правой Седой перехватил вооруженную руку противника.

Они боролись у самого уреза плотины. Силы оставляли Седого. Он оступился и упал. Фашист счел это за хитрость. Он кружил около разведчика, выбирая момент для нападения.

«Кто он? — зачем-то спрашивал себя Седой, подбирая ноги, готовясь встретить бросок противника.

— Сдавайся! — хриплым голосом проговорил враг. — Тебе не уйти... Капитан школы разведчиков Зигфрид Апфель чего-то стоит в этой войне...

— Вот и познакомились, — негромко обронил Седой, чувствуя на груди холод последней мины. Во время схватки он совсем забыл про нее.

«Встать! Встать!» — приказывал себе разведчик и был не в силах пошевелиться.

В эту минуту Седой не страшился ни боли, ни смер-

ти. Его мучило сознание неисполненного дела, самого главного дела его теперешней жизни.

Он встал, покачиваясь, словно пьяный, слабо взмахнул руками.

Удар кулаком в живот пригнул его вперед. Другой удар — в подбородок. «Теперь нужно упасть. Он должен поверить, что я сломлен. И он не уйдет от соблазна взять советского разведчика. Он дал мне передышку, и это его ошибка».

Седой упал на колени, потом тяжело ткнулся лицом в землю.

Аппель бросился на распластанное перед ним тело и встретил сильный внезапный удар головой. Удар пришелся в челюсть и опрокинул фашиста на спину. Он успел выхватить нож, но было уже поздно. Сначала одна рука, затем другая мертвой хваткой сомкнулись на его горле.

Аппель наугад наносил бешеные удары ножом, но Седой не ослабил хватки, и вскоре фашист затих.

Седой с трудом поднялся, держась за живот, пошатнулся и застонал. Из-под руки, которой он зажимал рану, сочилась кровь.

— Нельзя мне умереть... Слышишь! — яростно зашептал разведчик. И сделал первый неуверенный шаг.

На краю обрыва он остановился, извлек из-под куртки мину. Она поблескивала свежими следами от ударов ножа.

«Такой удар... Капитан Аппель знает, где расположено сердце», — криво усмехнулся разведчик.

Вдруг что-то насторожило его. Какой-то гул. Сквозь редящий туман ничего не было видно. Гул доносился снизу, со стороны города.

«Артиллерия, — догадался Седой, — наша артиллерия обрабатывает передний край гитлеровцев. Через полчаса — штурм... Нужно уходить, пока туман... пока туман».

Он достал из кармана куртки взрыватель, вставил его в последнюю мину, прижал к груди и медленно двинулся через поле, угадывая свой ночной след по примятой стерне. Достиг середины поля, когда туман рассеялся и стали видны и семь сосен, и домик Гросса, и бетонное тело плотины с прорезями водосбросов, и дальняя кирха, испещренная следами осколочных попаданий.

Увидел разведчик и немцев, бегущих по краю уреза воды к бункеру. Он оглянулся вокруг, словно прощаясь.

Солнце вставало, и все, что видел глаз, подернулось золотым отблеском. И Седому показалось, что он бредет пыльной деревенской тропкой прямо в поля, заполненные освещенной колосающейся рожью.

И еще почудилось, что идет ему навстречу межей Букреев, без полковничьей формы, в простом гражданском пиджаке. Идет и как-то странно взмахивает руками, словно собирается взлететь.

— Я живой, Иван... живой... — шептал Седой, нагибаясь от боли все ниже и ниже, но не опуская головы, чтобы видеть и поля, и рыжий отсвет неба, и идущего к нему Букреева.

Фридрих, бегущий к Седому через разминированную часть поля, подхватил его, не давая упасть, в тот самый момент, когда разведчик потерял сознание.

— Мой бог, они убили его, — пробормотал немец, увидев кровь на брюках и рубашке Седого.

Со стороны бункера донеслись глухие взрывы. Дрогнула земля.

Седой открыл глаза и узнал Гросса.

— Перевяжи... живот... Бинт в кармане...

Старик осторожно поднял на Седом рубашку, отшатнулся.

— О-о! — вырвалось у него.

— Это не смертельно... Нож не задел диафрагму... Меня спасла мина.

Он не отрывал взгляда от неба, где солнце уже пробило брешь в пелене облаков. Его свет был неостановим, как сама жизнь.

Старый Гросс кивал головой грустно и восторженно, как будто его голос не мог выразить радости. Наконец он сказал:

— Вот автомат и три диска... Я снял наблюдателя.

— Как ты... нашел... в тумане?

— Я просто знал, где он всегда сидит... Мы должны продержаться.

— Ты молодец, старик... Рыцарь...

Легкая улыбка тронула землисто-серое лицо Седого. Близость новой схватки вернула ему пронию.

Легкий ветерок принес со стороны плотины резкие крики команд и лай собак.

— Ты умеешь стрелять? — Седой в упор, не мигая, посмотрел на старика.

— Из этой штуки... попробую,— ответил неуверенно Гросс.

— Поверни меня на живот... И дай автомат...

Он знал, сколько нужно сил, чтобы сделать что-нибудь стоящее на этой войне. Он знал, что только победа может оправдать все страдания: и его, и еще миллионов других солдат.

Он принимал этот бой смело и хладнокровно, как тот первый свой бой на границе в такой же рассветный час.

ПРИХОДИ ЕЩЕ

Пять суток они не знали сна.

Высоту, которую удерживала рота капитана Тургеничева, с тупой методичностью гитлеровцы атакывали даже ночью.

Шквал артиллерийского огня прокатывался по холму беглыми плотными цепями разрывов, и толовая гарь вперемешку с пылью забивала легкие, вызывая ощущение удушья.

На шестые сутки то, что осталось от роты, вывели из боя.

Их было шестнадцать — продымленных, небритых, смертельно усталых людей, и шли они, не пригибаясь от близких всплесков рвущихся снарядов, равнодушные к свистящим над головами осколкам, пораженные запахами трав и живой целостью многоликих цветов, что сохранились в низине в километре от передовой.

В дубовой, иссеченной железом рощице их ждала кухня.

Веселый пожилой повар пытался пошутить насчет рукомойников, которые забыл захватить в санчасти, по встреченный упорным тяжелым молчанием оробел и торопливо заработал черпаком.

Солдаты ели вяло, нехотя, полузакрыв воспаленные глаза, словно вспоминая что-то важное, но ускользающее в сознании среди потока тяжелых дум, вдруг пахлынувших на них в этот час относительной тишины и покоя.

Захар Степаков, щуплый пожилой солдат, смотрел на лошадь, впряженную в батальонную кухню, мирно жующую овес из подвязанного к морде мешка, и думал о родной деревне на Псковщине, которую сожгли фашисты.

И еще видел он памятью телеги, полные свежескошенной травы, в которой копошились кузнечики, яркую оранжевую радугу над рекой и чистые, промытые дождем пойменные луга.

Воспоминания детства были такими сильными, что Степанков опустил котелок с едой и закрыл глаза. И тотчас его закачал сон. И ни ржание кобылы, увидевшей на опушке стреноженного жеребца, ни рокот пролетевшей высоко в небе «рамы», ни близкий грохот продолжавшегося на высоте боя не могли нарушить состояния, в которое впал Степанков и его товарищи.

Сон-забытье был как расплата за то нечеловеческое напряжение, которое пришлось испытать людям, и они застыли в нелепых, неудобных позах: кто прислонившись к стволу дерева, кто уронив голову на колени, кто просто распластавшись на спине, раскинув руки, словно пытаясь обнять небесную необъятность.

— Спите, ребята,— негромко обронил повар, беря лошадь под уздцы, чтобы не греметь кухней.

Степанков проснулся, когда с предвечернего неба донесся стремительно нарастающий звук мотора.

На рошу пикировал «мессершмитт».

— Воздух! — привычно предупреждающе крикнул солдат, но не изменил позы, в которой сидел, удивленно косясь на котелок с недоеденной кашей, припоминая, где он и почему в правой его руке зажата ложка.

Сон не освежил Захара. В первое мгновение ему показалось, будто он вынырнул со дна темной глубокой реки. Степанков вдруг почувствовал, как жмут сапоги. Чудовищная усталость многих дней ударила в ноги, и они казались ему теперь непомерно большими и тяжелыми.

«Мессершмитт» сыпанул длинной пулеметной очередью по опушке и ушел на запад, покачивая крыльями, словно сожалея, что истратил весь боекомплект в другом месте.

На войне смерть, как тепь, всегда рядом. Но последняя очередь, выпущенная фашистом, только встряхнула людей капитана Тургеничева.

— Все целы? — крикнул капитан, морщась от боли в задетой пулей голове.

— Встать! — скомандовал старшина.

И когда все встали, Степанков увидел с пригорка лежащего в канаве парнишку лет девяти, в рваном, не по росту, немецком мундире со споротыми петлицами.

Мальчуган был желтый и высушенный с лица, как осенний лист. Чрезмерная худоба его вызвала острую жалость, и Степанков почувствовал, как что-то укололо

его в самое сердце. Мальчик напомнил ему младшего сына Васятку.

— Поляк? — спросил Тургеничев.

— Так, — ответил парнишка, не сводя глаз с котелка, который стоял у ног Степанкова.

Старческие морщинки стягивали его узкое конопатое личико, и весь он, нескладный и тщедушный, тянулся к еде, сглатывая слюну и поводя тусклыми, будто сонными, глазами.

Капитан, знавший немного польский, выяснил: ни отца, ни матери у мальчика нет — немцы расстреляли как заложников. Живет на хуторе неподалеку у глухого старика пасечника.

— Накормить, — коротко приказал Тургеничев, и десяток котелков разом протянулись к парнишке.

— Отставить, — нахмурился капитан. — Степанков, займитесь мальцом, остальные — почистить оружие.

Захар протянул парнишке котелок с недоеденной кашей. Тот неловко принял его обеими руками, словно хлеб-соль.

— Ешь, ешь, — подбодрил солдат мальчика, — мало будет, еще достанем.

Чеслав, так звали мальчика, по-крестьянски, не торопясь, ел из котелка Степанкова кашу и на каждый вопрос Захара, заданный по-русски, потупив взор, отвечал:

— То так...

— Затакал, как пулемет, — сердился Степанков. — Славяне мы с тобой и понимать друг друга должны.

— То так... — соглашался Чеслав и взглядывал на солдата большими, согревшимися от еды глазами.

Захар неотрывно смотрел на склоненную шею мальчика, на бесчисленные мелкие мышцы, дрожащие от напряжения и неудобной позы, и думал о времени, беспощадном к таким вот ничьим птенцам.

Мальчишка облизал ложку и аккуратно положил ее в котелок. Церемонно, по-деревенски поклонился и, повернувшись, заковылял с поляны, волоча правую, должно быть, побитую чем-то ногу.

— Эй, слушай! — крикнул Степанков. Догнал парнишку. — Ты приходи еще, — выдохнул он. — Понял? Приходи еще... Мы в деревне стоять будем.

Чеслав вздрогнул и растерянно взглянул на Захара.

Степанков похлопал себя по животу и улыбнулся.

Маленький поляк засмеялся мелким, дробным смешком, обнажая частые источенные зубки.

— То так...

* * *

Их поселили в старом, скособоченном доме на краю некогда большого польского села.

Село немцы отдали без боя, но успели кое-что пожечь, и теперь темные, закопченные с углов редкие дома, словно надгробия, чернели по берегу неширокой говорливой речки.

Чеслав появился на следующее утро. Степанков, раздетый по пояс, умывался у колодца, зачерпывая из ведра котелком и поливая себе на голову и на спину. Вода стекала по спине и груди Захара, обезображенной тремя глубокими рубцами.

Степанков мотал головой, стирая с глаз прилипшие волосы, и блаженно отфыркивался.

— Цо то? — спросил мальчик, указывая на шрамы.

— Война, — коротко ответил Захар.

— Розумем... война, — строго сказал маленький поляк и, поджав губы, заглянул Степанкову в глаза выцветшими синими льдинками, тихо попросил: — Ка-ша добже...

— Пошли на кухню, — усмехнулся Степанков. — Там будет добже, и в обиду не дадут...

— Не розумем, — грустно проговорил Чеслав, вслушиваясь в грубоватую, со смешинкой, речь Захара.

— И я по-вашему не понимаю, брат, — раздумчиво и тоже грустно сказал Степанков. — Все пше да пше, сижу на пше...

— Пшепрашем, — залился смехом мальчик, и было в его смехе что-то дребезжаще-старческое, недетское.

И снова толкнуло горячим у Степанкова в левой стороне груди, и будто занемели кончики пальцев.

После завтрака Чеслав повел Захара на хутор, где жил он с глухим пасечником.

Хутор стоял в лесу. Пасечник встретил Степанкова на пороге дома, что-то приговаривая по-польски. Худой и твердой, как щепка, ладонью погладил он ордена и медали на груди солдата, потом наклонился и поцеловал Степанкова по-крестьянски, в губы.

— Гостинец вот вам от ребят... — пробормотал растроганный и смущенный Степанков, проходя в дом и кладя на лавку завернутую в холстину буханку черного хлеба и крупноколотый сахар.

Старик что-то сказал Чеславу, и тот метнулся к большой, нелепо сложенной печке, загремел заслонками.

На полу лежала трухлявая доска. Старик поднял ее, согнул костлявое колено и переломил доску. Сладко запахло гнилью. Дерево словно вздохнуло.

— Чай, хербата,— торжественно вымолвил старый поляк и достал из кармана полплитки зеленого чая.

Они пили чай из больших эмалированных кружек, а на столе в деревянной миске лежал крупноколотый сахар, и никто не решался дотронуться до него.

— Мед,— сказал Степанков и первый взял кусок сахара.

Старик понял по движению губ Захара, что он сказал.

— О-о, мед! — проговорил поляк и жестом пригласил солдата следовать за собой.

Они вышли на крыльцо, обошли дом, и за огородом Захар увидел задымленные, полусгоревшие ульи. Над ними кружились пчелы.

— Германьцы,— просипел старик.

Бескровные губы его сжались и стали похожи на лезвие.

До войны в колхозе Степанков работал столяром. Ах, какое это дело — из пустой, никчемной деревяшки сделать вещь, нужную людям! И сейчас, глядя на полусгоревшие остовы ульев, Степанков подумал о том, что, если найдется в доме пасечника рубанок, долото и ножовка, можно попытаться восстановить пчелиное жилье. Пустые рамы Захар заметил в сенцах.

Инструмент отыскался в селе, у местного ксендза. Пожилой, со строгим взглядом и костяным лицом, ксенда любезно проводил Степанкова в подвал разбитого костела, где Захар с удивлением обнаружил хорошо оборудованную мастерскую.

Чеслав робко объяснил ксендзу, что из инструмента нужно русскому солдату и на какой срок.

Ксендз молча кивнул. В ушедших в череп суровых глазах священнослужителя прочитал Степанков полуулыбку, нечто подобное добродушной усмешке, и, сам не зная почему, вдруг поклонился хозяину мастерской.

В тот же день принялся Степанков за работу. Ему помогал Чеслав.

Захару доставляло удовольствие показывать мальчугану, как нужно держать в руках рубанок. Чеслав оказался способным учеником. Глядя, как маленький поляк рабо-

тает долотом, протачивая пазы в рейках. Степанков только крутил головой, подбадривая:

— Давай, Славка, крой, конопать, глядишь, на хлеб и заработаешь.

К вечеру второго дня из восьми ульев они собрали четыре.

Пчелиный рой не улетел. Пока шла работа, пчелы вились неподалеку, и Захар, поглядывая на них, удовлетворенно бормотал:

— Как люди... Не хотят со старого жилья съезжать.

Запах стружки закружил Захара. Иногда ему казалось, что из дома вот-вот выйдет на крыльцо его жена Анна Филипповна и негромко окликнет: «Захар, ужин простынет! Ай не слышишь, Захар, второй раз кличу». Стоит и уйдет в дом, потому что знает — привыкла за долгую жизнь, — какая бы ни была работа, пока не закончит ее Захар, за стол не сядет.

Огромна земля, много на ней и прекрасного и безобразного, но вечен только человек-работник.

Так думал Степанков, радуясь делу рук своих, с непреходящим удивлением вспоминая, что двое суток назад никакая сила не смогла бы оторвать его от раскаленного пулемета. Весь мир сузился тогда для Захара до прорези прицела.

Может быть, поэтому, собирая пожженные немцами ульи, Степанков часто останавливался, смахивая с бровей пот, и запрокидывал голову.

Прямо на него со всех сторон падало густое синее небо, а вокруг шелестела высохшая от летнего зноя звонкая листва.

В короткие минуты отдыха Захар вглядывался в Чеслава, лица в нем близкие, родные черты младшего сына, и ему хотелось разглядить пальцами многочисленные морщинки на бледном конопатом личике мальчугана.

Чеслав выучил несколько русских слов и теперь без конца повторял их, растягивая гласные.

— Па-па-ня, — нараспев выговаривал он.

Но больше всего ему нравилось произносить фразу: «Приходи еще». Она запомнилась мальчику с того памятного часа, когда Степанков остановил его на опушке дубовой рощи.

Капитан Тургеничев объяснил мальчику смысл скапанного по-польски.

Чеслав подошел к Захару, тронул его за рукав и, глядя на Степанкова теплыми, как солнце, глазами, сказал по-взрослому серьезно:

— Приходи еще.

Захар вадрогнул. Он пристально взглянул в лицо мальчика и уловил твердую потаенную мысль в глубине его темных зрачков.

— То так,— сказал Степанков, подражая Чеславу,— то так, сыпок...

С предвечернего неба свисали огромные облака, похожие на стяги. Солнце скатывалось за лес. Потом сумерки загустели, и на землю легла темнота.

Это была их последняя ночь. Поутру люди Тургеничева вливались во вновь сформированный батальон и уходили дальше на запад.

Степанков отпросился у капитана в ночное к реке. Ему хотелось провести эту ночь в лугах под звездным пологом.

А может быть, он сделал так для Чеслава, которому жаль было расставаться с Захаром.

— Возьми,— прижмуриваясь на пламя коптилки, сказал Тургеничев и протянул Степанкову туго набитый вещмешок. — Тут ребята кое-что собрали для мальчика... На первое время хватит. И шинель прихвати ему...

Капитан испытующе взглянул на Захара. И было в этом взгляде столько грустной нежности, что Степанков отвернулся и глухо пробормотал:

— Спасибо, товарищ капитан... На первое время хватит.

На дворе стояла июльская теплынь. Лесные запахи мешались с медовыми запахами лугов, и казалось, что далекие огненные всплески на западе — это зарницы, предвещающие обильные веселые ливуны-ливни.

Захар повел Чеслава на речную пойму, где у самого глинистого уреза стоял неловко сметанный бабами стог. Сюда — он заметил давно — старый конюх-поляк выгонял в почное лошадей. Каким чудом сохранили крестьяне лошадей при немцах, где прятали их, Степанков не знал да и не спрашивал, но видел их однажды ранним утром, когда березки выплывали из тумана, счастливые и мокрые от умывшей их росы.

Чеслав шел, держась за руку Захара. Степанков ощущал тепло его маленькой ладони, и память возвращала его в те далекие годы, когда он с сыном Васяткой ходил в лес собирать рябину для больной матери.

Это ощущение вернувшейся на мгновение молодости так поразило Захара, что он остановился и обеспокоенно зашарил свободной рукой вдоль тела, пока рука не натолкнулась на холодную сталь автомата, перекинутого через плечо.

Они вышли к реке. Тихий плеск доносился снизу. Вода играла на дресвяных перекатах. По лугу, мелко переставляя спутанные ноги, бродили лошади.

Закат угасал медленно. Воздух еще не остыл, а от реки уже тянуло белесым паром. Он наползал на луг и окутывал сначала лошадиные ноги, потом грудь и низко опущенные морды, и скоро только спины плавно раскачивались над белесой пеленой.

Забормотали прибрежные ключи. Настоящая жизнь у них — Степанков это знал — начинается ночью, когда смолкает суэта дневного мира и можно негромко сказать о себе.

Захар запалил маленький костерок и тихо позвал: — Славик, иди сюда.

Чеслав тотчас выпрыгнул из тумана с охапкой хвоста.

— Похарчим — и звезды начнем считать, — бормотал Степанков, радуясь всему тому, что окружало его. Боль, которую он нес в себе все три года войны, как бы отошла, затаилась в самой глубине опаленного, закаменевшего сердца.

Еще там, на пепелище родного дома, Степанков решил, что жизнь для него кончена. В боях он удивлял командиров безрассудной смелостью и жесткостью. Через год стал разведчиком, и не было во всем полку более отчаянного и хитрого добытчика «языка», чем рядовой Захар Степанков.

А он чувствовал, как сгорает, каменеет что-то в душе, и жалел в себе прежнего Захара, веселого, разбитного мужика, спорого на работу, отзывчивого на доброту и ласку.

И вот словно вкатился в сердце розовый рассыпчатый свет, повитый запахом скошенной травы и смородины. Открылось в Захаре что-то такое, чего он и сам не мог бы себе объяснить. Может быть, извечная русская отзывчивость на чужую беду всколыхнула в Степанкове все то печное и чуткое, что легло когда-то камнем на дно его души.

Степанков лежал на спине, широко распахнув руки, и смотрел в небо. Рядом, укрытый шинелью, посапывал Чеслав.

И вдруг: «Тинь, тинь... Динь, дилинь...»

Ясные, чистые звоны плыли откуда-то сбоку из темноты. Никаких других звуков Захар не слышал. Только эти, простые и наивные, рождающие детскую сказку о жизни.

«Тинь, тинь... Динь, дилинь...»

Степанков знал, что перезвон колокольцев будет звучать всю ночь. Он живо представил себе, как неуклюже передвигаются по лугу спутанные лошади с боталами — погремушками на шее, и ему вдруг захотелось увидеть отца, погибшего еще в первую мировую войну.

Всю жизнь Захар пытался вспомнить его и не мог. Осталась в памяти только одна ночь. Скачут они в почное, в луга. Отец, огромный, в красной рубаше-косоворотке, сидит на белой лошади по-бабьи боком и зычно покрикивает:

— Ну-тька, ну-тька...

Чеслав вдруг приподнялся на своем ложе и протянул руку вверх. Его изможденное лицо напряглось, глаза расширились. Он было задремал, но в последний момент открыл глаза и теперь весь тянулся ввысь, пораженный зрелищем, которое, может быть, видел впервые в жизни.

Ночь переломилась на рассвет, и небо стало синим, и звезд на нем стало больше. Одна звезда была крупной и яркой, и Степанков догадался, что это Сириус — звезда разведчиков. Но не она привлекла внимание Чеслава. На всем звездном пологие вспыхивали ослепительные хвосты комет. Наступало время звездопада.

Небо засветилось, затрепетало, словно живое. Звезды пригоршнями падали сверху и никак не могли долететь до земли, умирая в синей ледяной бездонности.

Бледный их свет заморозил землю, и, словно схваченная инеем, заблестела роса.

— Довелось, — шептал Степанков, — довелось увидеть-то... Эх-ма, красотища-то какая...

Так стояли они, ошеломленные игрой летнего ночного неба, не в силах оторвать глаз от этой блещущей красоты, от серебряной россыпи звезд, будто натертых свежим хрустящим снегом и оттого трепещущих, словно птицы, запутавшиеся в лунной паутине.

Чеслав провожал Степанкова до поворота старой рокадной дороги, откуда группа Тургеничева начинала движение.

Первые несмелые отблески солнечных штыков медленно скользили в еще сумрачном небе.

Группа была уже на месте, и Степанков остановился, не доходя до поляны, где выстраивались бойцы. Он протянул Чеславу шинель, аккуратно уложенную в скатку, поставил рядом с ним вещмешок с продуктами.

— Подстричь вот тебя не успел, — проговорил Захар, вороша нечесанные белесые космы на голове мальчика.

— Ты приходи еще... — тихо попросил Чеслав, — приходи, Захар...

— Приду, если пуля пожалеет, — со спокойной обжитой грустью ответил Степанков, — а пока прощай...

Он наклонился, поцеловал мальчика в шершавую, зябко пахнущую утренней землей щеку и мягко, по-кошачьи зашагал к поляне, где Тургеничев придирчиво проверял оружие.

Потом вся группа гуськом двинулась по обочине, настороженно косясь на лесные заросли, плотно подступавшие к дороге, будто и не было беззаботных тихих дпей в полусожженной польской деревне, будто уходили в поиск по тылам врага.

Степанков шел последним. Тяжелея от тоски, оборачивался и смотрел на дорогу, неловко смахивая слезу, и все видел сквозь влажную пелену тоненькую сгорбленную фигурку Чеслава с солдатской скаткой через плечо.

Потом она растворилась, исчезла.

Уступая дорогу солнцу, над землей плыла утренняя тишина.

КРАСНАЯ РАКЕТА

Над болотом вставал туман. Чмокала в тишине топь. Два человека шли по черной воде. Перед ними на уровне глаз вставали ветви кустарников. Шедший впереди высокий сильный мужчина в брезентовом плаще осторожно раздвигал по-осеннему хрупкие, костлявые ветки. Иногда он нагибался и рассматривал встретившуюся кочку.

Следом за высоким шел сухощавый угрюмый человек в ватнике. В правой вытянутой руке тускло поблескивал пистолет, левая рука держала длинный шест.

Передний вдруг остановился, прислушался: совсем близко кричала сойка.

— Проклятая птица, — пробормотал высокий.

— Что? — шепотом спросил спутник, не опуская руки с пистолетом.

— Уберите пистолет, Гуго, — спокойно сказал высокий. — Это всего лишь сойка.

— Мы прошли границу? — все так же шепотом спросил Гуго, опуская вооруженную руку.

— Туман и вода — вот что нам надо, — пробормотал высокий. — И слава богу, что они есть... — Он взглянул на карту, вложенную в планшет. На его лице мелькнула улыбка. — А граница... Вы стойте на ней, Гуго...

Черная вода блестела у кочек. Она тускло отсвечивала серебром.

— Теперь будьте внимательны, — предупредил высокий, — держитесь ко мне ближе...

Он поднял шест и шагнул вперед. Ледяная вода заплескалась выше колен. Зашумели сбоку серые кусты.

Двое спешили. Разбрызгивая темную болотную жижу, задыхаясь, они шли в самую топь. Космы тумана плыли низко над водой.

Высокий вонзил шест впереди себя и не достал дна.

Он шагнул вправо, и снова шест утонул по самую рукоятку.

— Оставляйтесь на месте...— хриплым шепотом произнес проводник.— Я пойду вперед... Где-то здесь проход есть... Сколько лет прошло...— И, тяжело прыгая по кочкам, пошел в сторону обугленных стволов, торчащих из воды, словно воздетые к небу руки.

Сгоревшие когда-то деревья встречали человека растопыренными корнями и мертвыми, облизанными огнем ветками. Кочки редели. Человек прыгал, опираясь на шест, как это делают спортсмены. Он промерял дно и прыгал дальше.

В один из прыжков шест ушел в глубину, и человек рухнул в трясину.

Горелый лес был недалеко. Проводник сделал несколько шагов и провалился по пояс.

— Эй! — приглушенно крикнул высокий.

Распластав руки, проводник с трудом держался на поверхности. Он напрягался всем телом, но трясина была сильнее. Тогда, закинув руки за спину, человек попытался отстегнуть лямки рюкзака. Ему это не удалось.

Узколицый Гуго вынырнул из белой мглы и, увидев перекошенное лицо проводника, отпрянул назад.

Проводник опустил правую руку в воду и снял с пояса топорик.

— Ближе...— прохрипел он и, размахнувшись, бросил спутнику топорик, который упал в топь.— Проводник скрипнул зубами.— Шест брось... шест, Гуго!.. — вскрикнул он зло.

Гуго бросил ему длинную суковатую палку. Проводник дотянулся до нее и, перехватив правой рукой, оперся на шест. Замер. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из груди.

Гуго достал из кармана сложенную в жгут капроновую веревку и бросил ее проводнику.

Тот криво усмехнулся, увидев, как конец упал близко от кочки, на которой стоял Гуго.

— Возьмите себя в руки, черт возьми,— прохрипел проводник.— Вам одному отсюда не выбраться...

— Что я должен делать? — спокойно и холодно спросил Гуго.

— Мне бы снять сапоги,— пробормотал проводник.

Он рванулся, пытаясь вытащить ноги из трясины, и провалился по грудь.

Гуго шагнул вперед. Его остановил крик проводника.

— Стой! — прохрипел тот. — Брось мне нож... — И он вскинул над хлюпающей жижей руку.

Гуго отстегнул от пояса финский нож в чехле.

Проводник поймал его на лету, тут же выдернул из чехла, закинул руку за спину и освободил одну лямку рюкзака.

Высокий повел плечами, и рюкзак, глухо булькнув, ушел на дно. Но вода по-прежнему доходила ему до груди.

Запрокинув голову, человек делал отчаянные усилия, словно вел борьбу с кем-то там, вверху. Проводник пытался вытащить ноги из резиновых сапог.

Космы тумана скрывали от него спутника. Слышалось только всхлипывание шагов. Гуго уходил назад к спасательным кочкам.

— Стой! Не уходи... Гуго!

Хриплый крик высокого метался над топью. Его поднятое кверху бледное потное лицо напоминало застывшую на воде медузу.

Внезапно из тумана выплыла фигура Гуго.

Он спрыгнул с кочки и провалился по пояс. Гуго толкал впереди себя полусгнивший ствол и шел прямо в выбун...

* * *

Был на исходе третий час, как ефрейтор Роман Покора и рядовой Смолов затаились в болотистой ложбине.

Стемнело. Кусты в стороне уже трудно было отличить от воды. Низкое серое небо навалилось на землю. Впереди среди кочек лишь тусклыми пятнами виднелись серые «окна».

Заболоченный район границы местные жители метко прозвали «Пойдешь — не вернешься». Случалось, в топях тонули даже лоси.

В первый же день своего прибытия на заставу Роман Покора узнал, что болото на северо-востоке непроходимо. Но за два года службы он узнал и другое: дозор у Черных болот такая же необходимость, как и дозорная служба у контрольно-следовой полосы.

Непроходимое болото разделяло два мира. И пусть, как рассказывают старожилы, со времени окончания войны граница в этом районе не знала ни одного нарушения, именно к невидимой тропе посылал в дозор начальник заставы капитан Стриженой своих лучших солдат.

От долгого лежания в воде затекали ноги и поламывало в коленях. Прорезиненный костюм защищал пограничников от воды, по он же и охлаждал, несмотря на шерстяные свитеры, надетые на теплые фланелевые рубашки.

Над болотом плыли знакомые за долгие часы сидения звуки: шуршало, хлюпало, словно огромное пространство, заполненное черной непроточной водой, дышало тяжело и надсадно.

И вдруг закричала сойка. Покора насторожился. Эта птица кричит, когда видит людей. Он напряг слух и скоро различил тихий плеск, отраженно пришедший по воде. Кто-то шел по болоту.

— Слышишь? — тихо спросил Покора.

Смолов кивнул, повел автоматом в сторону плеска.

— Может, лось? — задыхал над самым ухом ефрейтора Смолов. — Бывает, ходит...

Роман прижал палец ко рту, приказывая молчать.

До боли в ушах вслушивался он в болотную тишину. Плеск сместился правее и вскоре затих.

«Лось или не лось?» — думал ефрейтор. Его смущал крик сойки. Эту птицу не очень любят на границе. Она выдает дозоры, лазутчики знают об этом, и крик ее настораживает их так же, как и пограничников.

Покора решил осмотреть участок, где слышался плеск. Даже здесь, на болоте, если прошли люди, должен остаться след.

Ефрейтор приказал Смолову внимательно следить за местностью и действовать по обстановке. Сигнал тревоги — две красных ракеты. Ответ — одна зеленая.

Чувство настороженности не покидало Романа, пока он медленно, чтобы не выдать своего движения, брел по топкой жиже болота, внимательно всматриваясь в пухлые, похожие на папахи кочки.

Он шел сквозь белесую завесу тумана, вслушиваясь в близкие и далекие звуки, пока наконец снова не услышал тихий всплеск.

Пограничник остановился и долго стоял недвижно, ожидая новых звуков или хотя бы движения воздуха.

Взгляд его упал на ближайшую кочку. Ефрейтор вздрогнул. Кочка шевелилась, словно живая. Это поднималась на ней примятая ногой человека трава. Незвестный ступал на нее недавно, каких-нибудь три-четыре минуты назад. Первой мыслью было — вернуться и предупредить Смолова, чтобы выбрался на сушь, подключился к розетке и вызвал «тревожную» группу. На возвращение ушло бы пятнадцать — двадцать минут и еще двадцать на путь до ближайшей розетки. За сорок минут нарушитель мог добраться до горелого леса и кануть в озерах и болотах.

Роман резко свернул в сторону, делая крюк, отрезая путь нарушителю к лесу, тонувшему в непроглядном тумане. Туда вела единственная подводная тропа. Ее-то они и перекрывали со Смоловым.

Нарушитель идет в самую топь. Значит, он или знает еще одну, никому не известную тропу, либо идет на верную гибель, не подозревая о трясине.

Теперь и Роману приходилось брести наугад, прощупывая ногами зыбкое илистое дно.

Он упал в ложбину между двумя кочками — ему слышался слабый крик.

Роман замер, вдавив тело в темпую жижу. Потом он увидел две согнувшиеся в напряжении фигуры с длинными шестами.

Он встал перед ними, когда нарушители подошли к кочке совсем близко.

— Руки вверх, — глухо, севшим голосом приказал пограничник.

Первый, высокий плотный мужчина, послушно вскинул руки, отбросив шест. Второй, узколицый, гибкий, рухнул в топь, успев выбросить вперед руку с бесшумным пистолетом. Пуля стеганула по прикладу автомата Покоры и рикошетом ушла в горелый лес.

Роман короткой очередью, как ему показалось, достал узколицего, как вдруг высокий в брезентовом плаще, воспользовавшись секундной заминкой, метнулся за ближайшую кочку, и оттуда сухо треснул выстрел. Роман почувствовал, как сорвало фуражку. Пограничник полоснул очередью по кочке, за которой затаился нарушитель, и, пригнувшись, упал в ложбину.

Посвистывая, пули прошивали над головой холодный воздух, с причмокиванием входили в сырые кочки.

«Вот оно все как обернулось,— подумал Покора.— Волки-то матерые. Где же второй?»

По выстрелам Роман понял, что второй нарушитель жив и тоже ведет огонь. Но где он?

Покора чуть приподнялся, чтобы по вспышке определить место нахождения узколицего. И тут же начал оседать, ощущая, как что-то горячее и липкое растекается под рубашкой у левого плеча. Потом пришла боль, острая, ломящая.

Преодолевая нахлынувшую слабость, Роман стал отползать из-за кочки к единственному сухому островку, где рос кустарник и откуда простреливался почти весь участок невидимой тропы.

Позиция в ложбине, за кочкой, была уязвима, ее можно было обойти, островок же надежно укрыл бы его в кустарнике.

Покора слышал глухой стук пуль, входящих в кочку — она все еще прикрывала его,— и полз медленно и тяжело, чувствуя, как немеет левая рука.

Покора досадовал на неудачную очередь по узколицему, на ранение, которое еще не известно чем кончится.

«Граница любит умных»,— вспомнил он слова капитана Стриженого. А он, ефрейтор Покора, не новичок и должен был предусмотреть такой вариант задержания.

Как бы все было просто, если бы не заболела Вега, сильная широкогрудая овчарка. Роман обычно ходил с ней в дозор. Но Вега тяжело заболела, а замены ей не нашлось. Теперь вся надежда на Смолова. Он должен был слышать выстрелы.

Рука мертвела от плеча к локтю. Роман уже не чувствовал и теплоты крови. Опираясь на здоровую руку, он с тупой методичностью отвоевывал сантиметры у пространства, отделяющего его от кустарника.

Нарушители прекратили стрельбу, может быть, думая, что пограничник убит — ведь он не отвечал на выстрелы.

Лежа в своих укрытиях, они не могли его видеть, но стоило одному из них встать, как распластанное в ложбине тело прочиталось бы четко на белом пружинистом мху. Но нарушители медлили. Роман заполз в кустарник

и дал себе отдохнуть. Пограничник изготовился для стрельбы, зорко всматриваясь в ставшие неясными кочки. Он вспомнил о времени и взглянул на часы. Смена прибудет не раньше чем через два часа.

«Будут прорываться или пойдут обратно?» — подумал Покора, вслушиваясь в тишину.

Плеск выдал движение. Неясные сгорбленные тени качнулись над кочками.

Нарушители приближались, вырастая в ясно видимые фигуры, и Роман догадался, что они решили проверить свою версию: не убит ли он?

«Им очень нужно пройти, иначе бы они не решились на такое, — подумал пограничник. — Они рискуют, готовы прорваться даже с боем, — значит, дело у них исключительной важности. И они теперь знают, что я один...»

Нарушители шли с двух сторон к кочке по-звериному быстро и осторожно, готовые стрелять на шорох, на любой подозрительный звук. Тренированным слухом они старались уловить малейшее движение в ложбине, и Покора, наблюдая за нарушителями, понял, что принял единственно правильное решение: укрыться на острове.

Пограничник осторожно нащупал в подсумке ракетницу и две красные ракеты. Выпущенные одна за другой, они скажут наблюдателю на вышке о нарушении границы. Но Роман боялся, что ракеты завязнут в клейком, густом тумане, окутывавшем болото. Нужно попытаться обезоружить обоих нарушителей. Значит, он должен стрелять первым, и без предупреждения и окрика.

Резкое восклицание донеслось с места, где остановились нарушители.

Узколицый в ватнике взмахнул рукой с пистолетом, и в это же мгновение Роман нажал на спусковой крючок своего ППШ. Он почти не целился — мушка расплывалась в сумрачном полусвете.

Ефрейтор увидел, как, выбитый короткой очередью из руки узколицего, отлетел в сторону пистолет, и тут же ощутил, как у самой щеки в землю вопзилось что-то горячее. Он буквально почувствовал щекой эту пулю.

И тогда пограничник послал длинную очередь во второго нарушителя, сошедшего с тропы и снова угодившего в топь.

Высокий упал, но тотчас поднялся и крикнул сдавленным голосом:

... — Мы сдаемся... не стреляй!..

Он стоял с поднятыми руками, покачиваясь, как пьяный, и Роман понял, что нарушитель ранен. И все же ефрейтор медлил подниматься. Поза высокого настоящего пограничника.

— Брось гранату! — внезапно крикнул Роман. — Или стреляю!..

Он крикнул это наугад, подозревая хитрость со стороны нарушителя в плаще. И вдруг увидел, как из рукава высокого вылетел небольшой светлый предмет и глухо шлепнулся в болотную жижу.

— Повернуться спиной! — скомандовал Покора из кустов.

«Мне не связать их с одной рукой даже по очереди», — мелькнула мысль.

Ефрейтор с трудом поднялся, преодолевая сильную слабость. Но голосом твердым и звонким приказал:

— Кругом... дистанция пять метров... вперед!

* * *

Белый мох пружинил под погами, как сухая мочалка, шуршал и крошился. Белесая мгла клубилась над водой. Ноги все глубже уходили в топь.

Покора потерял тропу еще раньше, когда покинул спасительный островок. Туман скрыл от него ориентиры, а нахлынувшая слабость толкнула на ложную дорогу.

Теперь ефрейтор двигался по компасу строго на восток.

Они шли сквозь горелый лес, и мертвые деревья падали перед ними от одного прикосновения.

Перед глазами у Романа плыли радужные круги. Он смутно различал двигавшиеся впереди него фигуры нарушителей. Оба за все время не обернулись ни разу. В их движениях сквозила скрытая угроза.

Узколиций шел мелким шагом, нагнув голову, придерживая здоровой рукой раненую кисть.

Проводник, покачиваясь, медленно и тяжело представлял ноги. Слышно было, как он постанывает. Пограничник так и не смог определить, куда же ранен нарушитель.

Топь расступалась перед ними и смыкалась сзади темной, свинцово поблескивающей массой.

Роман все же надеялся до темноты выбраться из болота на сушу, откуда до заставы было недалеко. И Смолов должен был уже поднять тревогу.

Он выдерживал дистанцию, достаточную для того, чтобы переложить автомат с плеча в здоровую руку.

Густели сумерки. Роман с трудом различал спины задержанных. И тогда он скомандовал:

— Стой!

Нарушители остановились.

Покора разрешил им сесть на кочки поодаль друг от друга и сделать перевязку по очереди.

Сам же он лег прямо в воду, положив автомат на поваленный ствол дерева. Пограничник видел, как рвал зубами индивидуальный пакет узколицый, как ловко и быстро забинтовал он здоровой рукой задетую пулей кисть, как, наглея, достал из внутреннего кармана пачку сигарет, выдернул зубами одну и щелкнул зажигалкой.

«Пусть курит», — подумал Роман, чувствуя, как тело начинает сотрясать озноб.

Он стиснул зубы, чтобы унять дрожь. От усталости и потери крови он не мог непрерывно смотреть на задержанных и, давая себе передышку, закрывал глаза, чутко вслушиваясь в шуршание одежды, в треск разрываемого бинта.

«Высокий... — механически отметило сознание. — Куда же он ранен?»

Роман разлепил веки и увидел, как нарушитель в плаще неумело бинтует шею.

Расслабившись после напряжения, ефрейтор опустил голову на приклад автомата, ощущая лбом его прохладную полированную поверхность, и тотчас услышал плеск, тихий, вкрадчивый, едва различимый. И в следующую секунду Роман увидел узколицего, идущего бесшумными кошачьими шагами к дереву.

Выстрел заставил нарушителя присесть.

— Встать! — хриплым голосом приказал Покора.

Они стояли перед ним с поднятыми вверх руками, ожидая короткой очереди из автомата, уловив в голосе пограничника столько сдержанной ярости и скрытой угрозы, что, может быть, впервые за время, прошедшее с момента первого окрика, поняли: не так прост этот невысокий узкоплечий парень с лицом доверчивого ребенка.

До этой последней команды у них еще теплилась надежда обмануть бдительность пограничника, воспользоваться темнотой и его плохо скрывае­мой усталостью. Они догадались, что он ранен и потерял тропу. Им представлялось, что пройдет еще немного времени и они выскользнут из-под контроля, сомнут его, обессиленного.

Сквозь застилающий сознание туман Покора видел две фигуры с вскинутыми вверх руками, и в надвигающейся темноте они казались ему двумя деревьями из мертвого леса. Пограничник с трудом подавлял в себе желание расстрелять нарушителей. Только мысль о двух красных ракетах удерживала его от соблазна.

Он знал: стоит ему потерять сознание хотя бы на минуту, и эти двое уйдут, растворятся в заболоченных лесах. Возможно, их ждут в приграничной полосе, чтобы перебросить дальше в глубь нашей территории. И это знают только они — узколицый и высокий в брезентовом плаще.

Нужно держаться до последнего. А где она, эта грань последнего? Мрак забвения может прийти в любую секунду.

Покора окунул лицо в болотную жижу, до боли закусил губу, прогоняя вновь охвативший его озноб.

Проклятый туман. В нем, как в вате, гложет все: и звуки, и свет, и сознание. Роман закрепил автомат между сучьями полусгнившего дерева, достал ракетницу, сунул ее за пазуху. Ему хотелось перевязать раненую руку, но в десяти шагах стояли двое с цепкими, внимательными глазами волков. Им нельзя показывать, что ты ранен серьезно, что потерял много крови. Пусть они считают его рану царапиной.

Покора не надеялся, что его выстрелы услышат соседние посты — в этом проклятом морозящем тумане звуки глохли сразу, едва родившись, — но изредка стрелял в воздух, поднимая автомат над головой.

Каждый выстрел стряхивал с него жестокую дремоту забвения и отбирал у нарушителей надежду.

Стало совсем темно, но и туман, освободившись от влаги, поредел, сник, припал к воде. Небо смутно вы­звездилось, и тогда Роман осторожно достал из-за пазухи ракетницу. Он встал и поднял ее над головой во всю длину руки. Глухо хлопнул выстрел, и все вокруг оварилось багровым высоким светом. Ракета прочертила красную дугу и растворилась в темном небе.

Ефрейтор одной рукой зарядил ракетницу, и снова над топью глухо хлопнуло, и розоватый отблеск метнулся по черной воде, выхватив на мгновение застывших с поднятыми руками нарушителей, кочки, похожие в полутьме на большие пни, и дальний, открывшийся теперь лесок — цель его пути.

Роман тяжело лег в болотную жижу, навалившись грудью на полузатонувшее дерево, чувствуя, как бухает от пережитого напряжения сердце и вязкий, слепящий туман заволакивает сознание.

«Сейчас они сделают последнюю попытку уйти», — мелькнула мысль.

Эта мысль уплывала, растворялась, постепенно превращалась в сон. Она больше не мешала ему. Сознание застилал светлый туман дремоты. Сквозь него пробивался чей-то голос — веселый хриловатый баритон. «Граница любит умных, пограничник Покора, а вы по собственному следу нарушителя преследуете».

Этот голос, возникший и пришедший из далекого далека первого месяца службы, высветил сознание, заставил отступить слабость. Роман скорее почувствовал, чем увидел: неясный, расплывчатый свет коснулся воды, легкий блик пробежал по ее черной маслянистой поверхности и погас.

Покора догадался: полусвет этот рожден ответной ракетой. И прежде чем потерять сознание, Роман последним усилием нажал на спусковой крючок, короткой очередью предупреждая нарушителей, что он жив и видит, как, подхлестнутые ответным сигналом, двинулись они к нему, низко согнувшись, почти распластавшись над топью.

Пули стеганули воду перед узколицым Гуго. Он словно споткнулся о невидимую преграду и рухнул лицом вниз, так и не успев сообразить, какая бешеная сила ударила его в переносицу, отбирая последнюю надежду на прорыв.

* * *

Прошумели осенние дожди. Покрылись ином травой и мох на скалах. Ефрейтор Роман Покора возвращался из госпиталя на родную заставу старой грейдерной дорогой, привычно приглядываясь к следам на обочине, вслушиваясь в строгую тишину леса.

Будут на заставе обед в его честь, крепкие объятия товарищей.

Все это еще предстоит ему пережить и перечувствовать, но настоящая встреча — это сейчас, на пограничной тропе, которая ведет его к невысокому столбу с тусклым от дождей и ветров Гербом Советского Союза.

КОЛОДЕЦ САЙФУЛЫ

След обнаружили ночью. Две красные ракеты подняли заставу. Капитан Ермаков с «тревожной» группой прибыл на место нарушения.

Старший наряда сержант Петр Узоров, обнаруживший след, включил фонарик, прикрывая полый плаща яркий бьющий свет луча, и Ермаков увидел на мокром после дождя песке едва заметное углубление.

Это не был след человеческой ноги. Скорее всего, он походил на крохотную лунку, но Ермакову, служившему на границе десятый год, отметина на песке поведала многое.

Пользуясь грозовой ночью, нарушитель пересек пограничную реку, выходя на берег, лежа в кустах, дождался, пока пройдет пограничный наряд, собрал фиброгласовый шест, почти такой же, каким пользуются спортсмены, и перемахнул контрольно-следовую полосу в надежде, что затянувшийся ливень размочит лунку, оставленную шестом.

Нарушитель если шел быстро, то успел добраться до шоссе.

И еще понял Ермаков, что проводник с собакой здесь не помогут. Секущие струи дождя давно уже смыли всякий след: сразу за контрольно-следовой полосой начиналось небольшое каменистое плато с нагромождением скал, переходящее в пустыню.

Дорога, уходящая в глубину республики, — вот первая цель нарушителя. Рядом — порт, через который товары из сопредельного государства направляются по бетонке на железнодорожную станцию. До нее несколько десятков километров. Движение на шоссе не прекращается и ночью. Значит, первое, что предпримет начальник отряда полковник Артюшин, — перекроет бетонку.

Так думал капитан Ермаков, сидя в канцелярии заставы и ожидая приезда Артюшина.

Он сделал все возможное, что следовало сделать в таком случае: заблокировал зону нарушения, выслал конный отряд на шоссе, попытался определить направление, в котором скрылся нарушитель.

Но собака Найда не взяла след.

Ермаков думал о нарушителе. Кто он? Во что обут? Как выглядит? Наверное, это сильный, тренированный человек. Долго же он ждал грозовой ночи. Дожди в краю песков в это время года редки.

За окном прошумел газик, и в канцелярию вошел седой крупный мужчина — полковник Артюшин. Поздоровался и сразу подошел к карте. С минуту разглядывал ее, словно видел впервые. Обернулся. И Ермаков увидел: обычно спокойный, полковник на этот раз выглядел взволнованным.

— Садитесь, капитан, — негромко обронил он, — будем рассуждать.

Ермаков кратко доложил обстановку и только потом сел. Артюшин кивнул.

— Хорошо, что высажали конный наряд и заблокировали зону нарушения, перекрыли бетонку и все проселки. Только я думаю, нарушитель осведомлен обо всем этом. Вернее, предположил такое, будучи еще на той стороне.

Полковник помолчал, хрустнул суставами сцепленных пальцев. Внезапно спросил:

— Вам никогда не приходила мысль, что песок похож на воду?

— Нет. Как-то не думал об этом, — признался Ермаков.

— И я никогда не думал. А сегодня вот пришло в голову. И знаете почему? Бюро погоды предсказывало не сегодня-завтра песчаную бурю. Как вы думаете, мог сей факт учесть нарушитель? Гроза уничтожила след на плато. Буря заметет следы в песках.

— Но... пески тянутся на сотни километров... Они безводны... Это же верная гибель... И потом пески хорошо просматриваются с вертолета. Нарушитель, конечно, знает об этом.

— Да, знает, — согласился полковник, — а мы не знаем, какие маскировочные средства он применит в песках. Мы не знаем, сколько у него воды и насколько вынослив

этот человек. И не такая уж безводная пустыня — колодцы есть, капитан. Мало их — это другое дело. — Полковник нахмурился, забарабанил толстыми пальцами по столу. — Отправьте в пески лучших следопытов с рацией. Собака, я думаю, не понадобится... Выдержали бы люди... Связь по рации через каждые два часа. Квадрат поиска будет прочесываться и с воздуха, вертолет я вышлю в ваше распоряжение... Пока все...

Пустыня казалась Антону Бегичеву огромным целлулоидным колпаком с вклеенным внутрь ярко пылающим диском солнца.

Он за два года службы на границе так и не привык к песчаному однообразию, к чудовищной летней жаре, к теплой безвкусной воде, выдаваемой по норме. Родом с Алтая, он тосковал по чистым горным лесам, быстрым прозрачным рекам, а засыпая, всякий раз видел солнечные лужайки, пестрящие разноцветьем, далекие заснеженные вершины, манящие прохладой и покоем.

Но не было на заставе более выносливого солдата, чем Бегичев. Сухой, жилистый, насквозь пропеченный солнцем, обладал он завидной выдержкой, рассудительным спокойствием. Был ловок и смел.

И сержант Узоров, получив приказ начальника заставы о поиске, выбрал Бегичева в напарники не раздумывая.

Ермаков кивнул, одобряя выбор, и пригласил сержанта в свой кабинет для беседы.

Час спустя оба пограничника уже шагали по барханам, то и дело вскидывая бинокли. Вертолет, присланный начальником отряда, высадил их в квадрате поиска и ушел на восток прочесывать с воздуха необозримое песчаное море.

С гребня перед пограничниками открывалась лощина, поросшая кустами саксаула. До горизонта тянулись, словно застывшие морские волны, гряды барханов.

— Ищи его тут, — присвистнул Бегичев, — легче иголку в стогу...

— Разговорчики отставить, — строго сказал Узоров. — Маршрут по азимуту. Встреча на четвертом бархане, считая наш первым. Пойдешь кольцами, так легче зацепить след. Ясно?

— Ясно, товарищ сержант, — не понимая суровой строгости товарища, откликнулся Бегичев.

Они разошлись в стороны и, не оглядываясь, зашагали с гребня, обходя ложину с саксауловым леском. Было слышно, как тихо звенят на ветру его седые от пыли листья.

Этот звон напоминал Узорову давний поиск. Они преследовали нарушителя на лошадях, как вдруг поднялся ветер и тонко, с надрывом запела пустыня. Ему объяснили: так стонет саксаул перед большой бурей.

Пустыня таила в себе несметное число загадок и опасностей. Чем больше служил Петр на границе, тем привлекательней становилась для него одна из древнейших пустынь Средней Азии. Она скрывала под собой города и историю целых народов. Что-то прекрасное и вечное было в ее глубоком желтом безмолвии.

Много сил потратил Петр Узоров, чтобы, не страшась, ходить в поиск в самое сердце пустыни. Он приучил себя сутками обходиться без воды, почевать, завернувшись в кошму, прямо на песке.

Крепыш, с движениями слегка медлительными, но тяжеловатой точности, Петр Узоров производил впечатление нерасторопного человека. На некрасивом обветренном лице северянина глаза смотрели ворко и уверенно.

За годы службы Петр изучил радиодело и мастерски владел ключом. Мало кто знал о сокровенной мечте сержанта стать археологом. Пожалуй, один начальник вставы догадывался о тайном желании пограничника. Навели Ермакова на такую мысль книги, которые Узоров выписывал из республиканской библиотеки. Но он об этом не обмолвился ни сержанту, ни кому-либо другому.

Солнце встало в зенит, когда Бегичев обнаружил цепочку неглубоких вмятин, полузасыпанных рыхлым песком.

— Старый след,— сказал Узоров,— пятичасовой давности. Обут в кауши...

Сержант достал планшетку с картой, еще раз взглянул на след, потом на компас.

— Направление на северо-восток... Что у нас тут поблизости? Сторожевая башня времен Тамерлана. И там... колодез.

— Откуда же он взялся, след-то? — оглядываясь по сторонам, пробормотал Антон.

Узоров чуть слышно рассмеялся.

— Учись, Антоша, пока я жив... Нарушитель упал

с неба... Пески, как вода, имеют способность течь, то есть передвигаться в пространстве. За пять, а может, и больше часов песок поглотил след... Этот остался, потому что сравнительно свеж. И заметь, остался в ложбине, где течучесть песка меньше.

— Попить бы,— пробурчал Бегичев.

— Пить будем через час,— отрезал сержант.— На вот кусочек соли... Легче станет.

Узоров протянул товарищу белый крупный кристалл.

— Обойдусь...

Сержант пристально взглянул в лицо Бегичева. Увидел обтянутые сухой кожей скулы, потрескавшиеся от солнца губы, глухим голосом мягко сказал:

— Придется потерпеть, Антоша. До ближайшего колодца пять часов пути. А мы не знаем, куда нас приведет след.

Теперь они шли вместе, соблюдая дистанцию в пять метров. Песок засасывал, словно трясина, горячими струйками сползал за голенища брезентовых сапог.

Небо превратилось в сплошное, низко нависшее над головой солнце.

Фляжка на боку — искушение. Слышно, как в ней булькает вода.

Антон отцепил фляжку, снял пробку. Бросил взгляд на идущего впереди сержанта и жадно припал к горлышку.

След уводил в сторону от колодца. Он странно петлял среди барханов, и Узоров злился, что не понимает намерений человека, обутого в кауши, бредущего по пустыне, словно по колхозному рынку.

— Что-то тут не так...— бормотал сержант, всматриваясь в отпечатки сильных и легких ног. Он уже давно радировал, что обнаружил след, и получил приказ преследовать неизвестного.

Нарушитель, если это только он, казался Узорову глупым и неопытным человеком. Похоже было, что он заблудился и теперь метался по пескам в надежде найти воду.

Черепашу первым увидел Бегичев. Она лежала в стороне от следа, сливаясь с желтизной бархана. Антон подошел к ней и дотронулся до панциря. Черепаша не шевельнулась.

«Интересно. Мертвая черепаха»,— подумал Бегичев и окликнул сержанта.

Узоров, увидев черепаху, вдруг устало опустил на песок и не спеша закурил сигарету.

— Отдыхай... — зло бросил он и скрипнул зубами.

Сержант долго молчал, разглядывая огромную черепаху, потом тихо пробормотал:

— Она не мертвая. Она спит, Антон... Так делает только один человек в округе. Его зовут Сайфула. Он уходит в пустыню собирать черепах. А чтобы не тащить за собой тяжелый груз, кормит пойманную черепаху травой, которая пропитана анашой. Черепаха засыпает и остается на месте. На обратном пути он собирает их в мешок.

— Но почему один?.. И зачем ему черепахи? — спросил Бегичев.

— Сайфула одинок, — пояснил сержант. — Черепахи — его ремесло. Он продает их в зоопарки, в институты для опытов, просто как среднеазиатский сувенир. Ловит он и змей. Двадцать лет, как промышляет.

— Значит, ложный след...

— Значит, так, товарищ Бегичев...

Узоров задумался. За пять лет службы на границе Петр привык, размышляя, сопоставлять факты, анализировать их со скрупулезной тщательностью. Сейчас его волновала мысль: случаен ли выход Сайфулы в пустыню, совпадение ли это?.. Нарушитель исчез, а наутро в пустыню пошел Сайфула. Совпадение? Вполне может быть. А если преднамеренность?.. Нужно увидеть Сайфулу. Что-то есть подозрительное в том, как он уходит.

Сержант развернул рацию и достал сложенный вчетверо лоскут выгоревшего брезента.

— Антон, сделай тень...

Бегичев встал над рацией и развернул брезент.

— Ну, что? — спросил Антон, когда Узоров закончил сеанс и упаковал рацию.

— Будем напрашиваться к Сайфуле в гости. Будем угощать старика водой. Если у него ее нет...

Сайфула настороженно и насмешливо смотрел на пограничников из-под лохматой, надвинутой на глаза папахи.

— Салам алейкум, — первым приветствовал старика Узоров.

— Алейкум салам, начальник, — спокойно ответил тот

и жестом пригласил пограничников к костру, над которым висел котелок.

— Шурпу варишь? — спросил сержант.

— Угощайтесь... — сдержанно сказал старик.

— Спасибо. Мы гости нежданные и ненадолго. Чужого не встречал в пустыне?

Старик прищурился, неторопливо помешивая варево в котелке:

— Нет, начальник...

— Как добыча? — спросил сержант.

— Слава аллаху, как всегда...

— Змеи? — кивнул Узоров на пыльные черные курджумы.

— Есть немного...

— Вода нужна?

— Спасибо, начальник... Я много не пью...

Дым костра сузил глаза говорившего.

— Черепах твоих видел. Спят... — Сайфула равнодушно кивнул головой. — Покажи, что поймал...

На лице сержанта появилось почти мальчишеское любопытство.

Старик исподлобья внимательно взглянул на Узорова, в глазах на мгновение промелькнула ярость.

— Сам смотри. Гюрза не любит, когда тревожат ее сон.

Не спуская глаз с Сайфулы, сержант подошел к курджумам. Поднял один из них, сделал движение, словно развязывал мешок.

Старик бесстрастно помешивал варево в котелке. Легкая усмешка застыла на его губах.

— Как же ты их ловишь, Сайфула? — Старик кивнул на длинную бамбуковую палку, расщепленную на конце. — Сделаю себе такую же, — сказал сержант. — Желаю удачи...

Сайфула встал, приложил руки к груди, вежливо поклонился.

— Курджумы тяжелы. Сколько, по-твоему, весит одна змея, Антон?

— Килограмма два...

— Надо точно знать. В каждом курджуме килограммов по пятнадцать. Если принять твой счет, старик поймал пятнадцать змей, что маловероятно. И учти, он пет-

ляет по пустыне с такой тяжестью, а не идет обратно домой. И вспомни — черепахи. Зачем усыплять черепах, их уже не унести. Через двенадцать часов они проспутся. Сайфула знал, что по его следу пойдут...

— И от воды отказался... — сказал Бегичев и дотронулся до пустой фляжки.

— Вода... — задумчиво протянул Узоров. — С вертолета обшарили весь квадрат и, кроме Сайфулы, не обнаружили никого... Для кого же старик несет воду?..

— Что? — вскинулся Бегичев.

— В курджумах вода, Антон, — спокойно пояснил сержант.

— Нужно задержать старика, — твердо сказал Бегичев.

— Это было бы слишком хорошо для нарушителя. И для Сайфулы тоже. Что ты докажешь? Что человек взял с собой в пустыню большой запас воды. Нам с тобой важно знать, где он оставит эту воду. И кто за ней придет...

Шагая по сыпучему склону бархана, Узоров думал о человеке, для которого Сайфула нес воду. Сержант понимал, что старик выполнял роль подвижного промежуточного колодца. Поэтому и обходил сторожевую башню. Он видел вертолет и догадывался, что колодец в башне может быть блокирован пограничниками.

На что же теперь надеялся старик? Он должен понимать: мы не выпустим его из поля видимости. Куда он пойдет?

Узоров сделал небольшой крюк по пескам, выбрал самый высокий бархан и достал бинокль.

Сайфула все так же сидел у костра. Похоже было, что он молился.

Старик даже не погасил огня, и тонкая струйка дыма тянулась вверх, в летящий мрамор раскаленного неба. Это было похоже на сигнал, на предупреждение об опасности.

Прошел час, но ничто не изменилось в позе старика, два раза он подбрасывал ветки саксаула в костер и застыл как изваяние.

Изменения произошли в пустыне. Потускнело солнце. Горизонт задернулся бурой пеленой. Внезапно закурились серой пылью гребни барханов. словно глубокий вздох пронесся над песками, и зашуршали, зазмеились тысячи желтых ручьев.

Вскоре вершины барханов скрылись в тучах песка. Раскаленные песчинки яростно хлестали по лицу, но Узоров не опускал бинокля. Он встал, чтобы лучше видеть. На миг среди пышущей жаром мутной пелены ему удалось разглядеть поднявшегося с земли старика. Ввихренный страшной силой ветра песок заслонил фигуру Сайфулы и все вокруг.

— Он уходит, Антон,— прокричал сержант.

— Радируй в отряд,— скороговоркой выпалил Бегичев,— и пойдем следом.

— Нужно переждать бурю,— склонившись к товарищу, снова прокричал Узоров,— и сберечь рацию. Мы не знаем, сколько будет бушевать «афганец». Доберемся до старой кошары и там переждем бурю. Кошара слева от нас, в двух километрах.

Старая, заброшенная пастухами кошара открылась внезапно среди плотной жгучей мглы. Некогда обшитое кошмой и дранкой помещение являло собой грустное зрелище. Ветер продувал его насквозь, распахнутые ворота бились и скрипели в ржавых петлях. Узоров захлопнул ворота и привязал их бечевкой к толстой жердине.

Бегичев привалился к стене, где меньше дуло, и, едва разлепив спекшиеся губы, пробормотал:

— Пить...

Сержант встряхнул его за плечи, нащупал пустую фляжку на поясе Антона. Молча отцепил свою, протянул товарищу.

Бегичев сделал большой глоток и, отвернувшись, возвратил фляжку.

Сержант только смочил губы. Он вспомнил слова Ермакова, сказанные во время беседы перед поиском: «Синоптики предсказывают песчаную бурю. Держитесь ближе к строениям, их у вас два: развалины сторожевой башни и кошара. Укройтесь там в случае необходимости. И берегите воду...»

Узоров нащупал упрятанную в ранец трехлитровую флягу — НЗ и тихонько вздохнул. Хотелось пить, но больше хотелось смочить иссеченное песком лицо.

«Афганец» бушевал весь остаток дня и только к ночи затих. Кошару занесло песком по самую крышу, и Узоров с Бегичевым потратили целый час, чтобы выбраться на поверхность.

Огромные лохматые звезды висели над пустыней.

Небо, яркое от звездного свечения, соприкасаясь на горизонте с землей, внезапно обрывалось сплошной темнотой. В ней едва просматривались только гребни барханов да утрюмо поскрипывал саксаул.

Но так длилось недолго. Выкатившаяся луна преобразила пустыню. Барханы окрасились голубым цветом, потеряли свои контуры и стали похожи на присевшие легкие облака.

В этой призрачной голубизне все стало близким, невесомым, и Узорову на миг подумалось, что если попробовать сейчас бежать, то, пожалуй, можно оторваться от земли и полететь над песками.

Сержант слушал тишину. Что-то шуршало, но в полувзрения ничто не двигалось, и казалось, что это шуршит луна, плывущая в холодном небе.

— Пошли, — шепотом приказал Узоров, — и тихо...

Они пересекли гряду барханов и остановились пораженные. След темнел полукругом. Он лежал на склоне песчаного холма, как брошенная веревка. Он как бы приглашал идти за ним и был похож на вызов.

Узоров молчал, вглядываясь в дорожку из следов. Человек прошел здесь час назад. И это не Сайфула. Сержант достал складной метр и измерил отпечаток. Стопа шире и длинней, чем у старика. Обут в спортивные ботинки. А может быть, старик сменил обувь? Где же они прятались от урагана? Неужели в старом полуразрушенном колодце, на месте замеченного песками кишлака?

Никто в округе не знает так пустыню, как Сайфула.

След завораживал, неудержимо манил за барханы. Бегичев непонимающе смотрел на сержанта. Узоров же тщательно исследовал песок там, где не было и намека на след. Наконец сержант удовлетворенно хмыкнул и поднялся с колен.

— Он его заметал, Антон... — негромко, словно самому себе, обронил сержант.

«Ему нужно, чтобы мы потеряли время. Мы пойдем по следу, и след этот будет временами исчезать. Щетка с тонким ворсом — вот чем орудует человек в ботинках. Он хочет, чтобы мы тыкались, как слепые котята. Идти по замеченному следу — все равно что ползти по пескам на животе. Хитрый, коварный враг. Где же Сайфула передал ему воду?» — размышлял Петр Узоров, вглядыв-

ваясь в своего напарника, словно видел того впервые. Он дорого бы сейчас дал за то, чтобы знать, кто торочит этот фальшивый след: Сайфула или неизвестный?

— Антон, пойдем кругами,— сказал Узоров.— Должен быть второй след. Будь внимателен и, главное, старайся идти тише. Ночью в пустыне шорох за версту слышно. Встреча — за четвертым барханом.

Бегичев кивнул. Он давно привык подчиняться товарищу: знал и верил, Петр Узоров опрометчивого решения не примет. Но как идти бесшумно, если ноги проваливаются по щиколотку в сыпучий, шуршащий песок. Как быть внимательным, если все ждешь, что вот с близкого гребня грохнет прицельный выстрел.

Впереди что-то заблестело, засверкало, и Бегичев догадался, что выходит к шору-солончаку и что поблескивает в лунном свете соль. Он услышал лай шакалов, насторожился. Поискал глазами фигуру Узорова, не нашел и короткой перебежкой приблизился к солончаку. Шор нужно было обойти по кольцу. След на твердом грунте едва ли обнаружишь, на тонком же слое песка он должен прочитаться довольно четко.

Антон увидел отпечатки знакомых каушей, когда кончал осмотр песчаного кольца вокруг шора. Цепочка следов тянулась на северо-восток.

И опять след свежий, получасовой давности. Бегичев не сомневался, что он проложен стариком.

Антон шел, низко согнувшись, зорко поглядывая вперед, держа автомат на изготовку. Внезапно ему показалось, что он увидел голову человека. Она мелькнула на гребне холма. Бегичев распластался на песке и медленно пополз вверх по гребню, оставляя так и не исчезнувшую голову слева от себя. Он перевалил через гребень и осторожно двинулся к черному предмету — теперь он не был уверен, что это голова человека, — маячащему на вершине бархана.

Когда подполз ближе, в призрачном свете луны разглядел кожаный туркменский курджум.

Он не раздумывал, когда рванул курджум с земли. А почувствовав тяжесть кожаного мешка и уверовав в то, что там вода, развязал сыромятную тесемку, перехватывающую горло курджума.

Вероятно, он поступил правильно: пограничник обязан осмотреть встреченный им предмет, тем более если он идет по следу. Но Бегичеву не хватало осторожности

и опыта, которые имел сержант Петр Узоров. Из мешка послышалось шипение, и показалась голова кобры. Черпой молнией выбросилась она из курджума, злобно раскрыв пасть.

Антон, ошеломленный внезапным появлением змеи, отпрянул от мешка, инстинктивно вскинув перед собой левую руку. И тотчас почувствовал острую, режущую боль в указательном пальце.

«Ударил зубами», — пропеслась мысль. Кобра снова взвилась в воздух. Антопа захлестнула волна ярости. Почти не сознавая, что делает, здоровой, правой рукой он захватил змею ниже пасти и, глядя в мерцающие холодной злобой глаза грозы пустынь, изо всех сил стал давить ее горло.

Кобра крутила пастью, выставив зубы, по которым каплями стекал яд. Потом обмякла, бессильно упал раздвоенный язык, и тогда Бегичев отпустил горло змеи. Черной лептой скользнула она к ногам Антона.

— Глупо, — прошептал пограничник, разглядывая потемневший, распухший палец. Он знал, что укус кобры смертелен. Нужно быстро спустить отравленную кровь, иначе... последний час видит он эти голубые в свете луны барханы, яркие бесчисленные жаринки звезд, пропизавшие темное ночное небо.

Антон рванул из ножен штык-тесак, снял с плеча автомат, воткнул его стволом в песок, положил распухший палец на торец приклада.

— Врешь — не умру... — в отчаянии прошептал Бегичев и, занеся руку с клинком, ударил резко и сильно, отсекая уже не принадлежавший ему указательный палец. — Я не должен умереть... Петя... Ты слышишь, не должен, — пробормотал пограничник, впадая в беспамятство, и повалился на спину.

На бинтах, стягивающих всю ладонь левой руки, проступило алое пятно. Оно ширилось, росло, и скоро вся повязка набухла кровью.

Узоров разорвал зубами второй индивидуальный пакет.

— Антон... Ты меня слышишь? Слышишь, Антон? — склонился он к товарищу.

— Слышу, — тихо отозвался Бегичев и открыл глаза. — Наложу жгут... вот сюда, — показал пограничник чуть выше локтя. — Бинт не поможет.

— Как ты?

— Из смерти выполз... Еще бы полминуты и... крышка. Сайфула нарочно подложил.

— А ты как думаешь? Расчет на пограничную бдительность. Идти-то сможешь?

— Не смогу — пополазу, — сквозь зубы процедил Бегичев. — Мы теперь с ним, гадом, железной цепочкой связаны.

Узоров снял со спины ранец и развернул рацию.

— Я радирую: пусть высылают «тревожную» в наш квадрат. И привезут воду. Мы теперь...

Он педоговорил. Длинная автоматная очередь разорвала тишину пустыни. Пули с железным шорохом взбили песок у самых ног сержанта, жалобно звякнули о металл радиостанции.

— Ложись! — крикнул Узоров и скатился по склону к кустам саксаула.

Бегичев бросился следом. Новая очередь веером взбила песок впереди пограничников. Антон упал.

— Жив? — окликнул товарища Узоров.

— Живой...

— Стреляют слева, с гребня... Не давай пристреляться, открывай огонь. Я поддержу... Им важно расстрелять рацию...

Бегичев ударил из автомата по гребню. Узоров резанул короткой очередью на звук вражеского автомата и быстро пополз вверх по склону, навстречу выстрелам.

— Прикрывай огнем, — успел крикнуть он и замер, ткнувшись головой в песок: пуля ударила в приклад автомата, рикошетом обожгла щеку.

Снова застучал автомат Бегичева. С гребня ответили длинной очередью. Узоров не шевелился.

— Петя, живой? — крикнул Бегичев. — Сержант молчал. — Убили, сволочи...

Бегичев рванул к себе брезентовые ремни ради и вдруг увидел на металлической коробке два пулевых отверстия.

— Все, — прошептал солдат, — отработала родная...

Пограничник посмотрел на то место, где лежал Узоров. Сержант медленно полз вперед.

— Живой... живой же... — пробормотал Бегичев.

Он упер диск в коробку радиостанции и прицельно ударил по самому гребню.

Узоров достиг середины склона, взмахнул правой рукой. За гребнем вырос черный султан взрыва.

На песке лежали автоматные гильзы. От них тянулась цепочка следов, испятнанных чем-то темным.

— Он был один,— сказал Узоров, рассматривая углубление в песке.

— Теперь не уйдет,— не отрываясь от бинокля, отозвался Бегичев.— Жаль, радию попортил. Сейчас в самый раз вертолет нужен.

— Он в радию и метил,— сказал Узоров.— В нас уже потом...

— Он ранен! — вскрикнул Бегичев, склонившись над следом.

— Вперед,— шепотом выдохнул Узоров,— я бегом. Если опять застрекочет — прикроешь огнем...

Они увидели его в лощине. Человек сидел, прислонившись спиной к стволу саксаула, руки его сжимали автомат, голова безвольно свесилась на плечо. Узоров узнал Сайфулу. Большое темное пятно расплылось на знакомом халате. Старик был мертв.

— Теперь назад,— угрюмо приказал сержант,— к следу, что ведет от солончака...

Бегичев покачнулся и тяжело опустился на песок. Больную руку нестерпимо ломило и жгло, словно ее сушили в костре. Кружилась голова, во всем теле ощущалась слабость.

Сержант достал флягу с НЗ, отвинтил пробку, протянул товарищу.

— Пей, пока не напьешься,— сказал он,— и умойся.

— А ты? — пробормотал Антон.

— И я тоже. Сейчас глупо беречь воду... Мы должны его достать... Понимаешь... достать. Он недалеко... три тысячи метров... не больше. Пей, Антон, и вставай... Скоро день...

Они шли на восток, навстречу солнцу. У них не было воды. Связь с отрядом прекратилась — сержант оставил ненужную радию и теперь шел налегке.

На двоих — три автоматных диска и одна граната. А след то исчезал, то появлялся в стороне от заданного направления. Нарушитель двигался зигзагами, делал скользящие рывки там, где попадался такыр, и снова петлял, выигрывая время. Казалось, ему зачем-то нужен яркий солнечный свет.

Узорова раздражала такая перазумность неизвестного. Именно ночью он должен был идти по прямой, сокращая путь к цели. Днем же обзор местности в бинокль увеличивался втрое, и они должны увидеть его. Здесь крылась какая-то загадка.

Небо смутно розовело. И вдруг яркий, жгучий свет залил горизонт от края до края. Ночь была отброшена стремительным, резким ударом солнечных лучей.

Пустыня преобразилась. Из серо-голубой она стала жгуче-желтой, и далеко на востоке проступили на ставшем шафрановым горизонте плоские и резко очерченные, точно приклеенные к небу, холмы.

— Мираж, что ли? — пробормотал Бегичев.

— Там, за холмами, — горы, — тихо произнес Узоров. — Он идет туда, Антон. И хорошо знает дорогу.

Сержант вскинул к глазам бинокль. В окулярах поплыл знакомый пейзаж — гряды бесчисленных холмов.

Узоров вздрогнул и опустил бинокль. Потом снова поднес его к глазам. По дальнему бархану передвигалась длинная, угловатая тень.

— Посмотри, Антон, — протянул сержант бинокль товарищу. — Что-то у меня с глазами. Вижу тень, а от чего она — не вижу.

Бегичев взял бинокль.

— Тень... Я тоже вижу тень... Она передвигается, — вскрикнул пограничник.

— Может, облака... — неуверенно произнес Узоров.

Оба посмотрели на небо. Оно было чистым до самого горизонта.

— Теперь бегом, — приказал сержант. — На месте разберемся и с этим фокусом. Я — по следу, ты — в обход. Маскируйся и действуй по обстановке. Сигнал — взрыв гранаты.

Узоров согнулся и быстро скользнул вперед. Ноги его сразу обрели легкость. Таким он был всегда в минуту напряженной погони или опасности.

Остановила его длинная автоматная очередь. Пули пропели высоко над головой, и Узоров догадался, что стреляют издалека.

«Хорошо, что он заметил меня. Это заставит его сконцентрировать внимание только на мне. Только бы Антон успел», — думал сержант, продолжая бежать по самой кромке бархана.

Короткая очередь полыхнула откуда-то слева. Нару-

шитель сменил позицию. Еще одна очередь. Пули вжикнули над головой.

Узоров упал, быстро добрался до гребня, снял фуражку, положил козырьком к противнику и отполз в сторону. Старый прием, но верный. Сержант отполз еще дальше и укрылся за наметенным ветром взгорком.

Он взглянул на часы. Прошло пятнадцать минут.

Снова короткая очередь — и фуражку словно ветром сдуло.

Сержант осторожно выглянул из укрытия. Каждый мускул у него был напряжен до предела. И тут он услышал звук. Левее того места, откуда нарушитель вел огонь, вырос султан взрыва.

Узоров резко вскочил на ноги и ринулся по склону на тусклые вспышки выстрелов. Сержант на бегу бил короткими очередями по гребню и, как ему казалось, быстро карабкался наверх. Справа стрекотал автомат Бегичева.

Внезапно выстрелы прекратились. В жгучем мареве, струившемся над раскаленными песками, вырос силуэт человека с поднятыми руками.

Вот уже можно разглядеть искрящийся на солнце длинный халат лазутчика и такого же цвета диковинный капюшон, закрывающий верхнюю часть лица неизвестного.

Они шли к нему с двух сторон: слева — Узоров, справа — Бегичев.

И вдруг быстрым движением нарушитель выбросил правую руку в направлении сержанта. Сухо треснул выстрел. Пуля вырвала автомат из рук Узорова.

Неизвестный упал на склон и покатился вниз.

— Стреляй в ноги! — закричал сержант, бросаясь по склону вслед за нарушителем.

Бегичеву было неудобно стрелять с вытянутой руки. И все-таки он зацепил неизвестного первой же очередью, когда тот вскочил и вскинул руку с пистолетом.

Неизвестный обмяк и рухнул на песок. Подбежавший сержант ногой выбил пистолет. Он извлек из воротника рубашки задержанного ампулу с ядом, когда подошел Бегичев.

— Ты контузил его пулей в голову, — сказал Узоров, вытирая кровь с лица нарушителя. — Нам просто повезло...

Он показал товарищу ампулу с ядом.

Узоров истратил на задержанного последний пакет с битами. Он низко наклонился над ним и вдруг похлопал его по щекам.

— Хватит притворяться, вы уже пришли в себя, — негромко сказал сержант. — У вас дрожит правое веко. Вот это...

— Уберите руку, — хрипло выдавил тот и открыл глаза. Резким движением склонил голову и впился зубами в ворот рубашки.

— Скорпион... — брезгливо пробормотал Узоров и отступил на шаг.

Сержант внимательно разглядывал неизвестного. Тот был, пожалуй, по-восточному даже красив. Сросшиеся брови, волевой, хорошего рисунка подбородок, тонкий, с горбинкой, нос. И холодные, жестокие, с неуловимыми зрачками, глаза.

Он кого-то напоминал Узорову, что-то знакомое было в хищном изгибе надбровных дуг, в правильности черт, во взгляде из-под полуприкрытых век. Стоило сержанту взглянуть на руки нарушителя с длинными фалангами пальцев, как он вспомнил изящные, несмотря на старость, пальцы убитого Сайфулы.

— Сайфула — ваш отец? — быстро спросил Узоров. — Он убит...

Лицо задержанного исказилось, напряглись мышцы щек. Он обжег пограничников ненавидящим взглядом, замахнул скованными руками, пытаясь встать. Напряжение обессилило его. Он затих.

— Понимаешь теперь, почему не обнаружили его с вертолета?..

Узоров потрогал халат на задержанном. Он зашуршал шорохом песков.

— Чисто сработано, — отозвался Бегичев, — даже капюшон оклеили...

Он распахнул халат — на поясе задержанного плотно, одна к другой висели шесть фляжек.

— Вода, — прошептал пограничник и отцепил одну фляжку.

— Мы не выпьем ни капли, рядовой Бегичев, — сухо сказал Узоров и облизнул пересохшие, спекшиеся губы.

— Вода же...

Сержант обнял товарища за плечо:

— Нельзя, Антон... Понимать должен... Это его вода... Какая она — мы не знаем.

Бегичев не видел, как блеснули глаза задержанного, когда пограничник отцеплял фляжку.

Нарушитель не мог сдержатъ волнения, мышцы лица его вновь напряглись, вадрогнули руки.

«А еще говорят, восточные люди умеют скрывать свои чувства,— подумал Узоров.— Впрочем, все объяснимо. Он слишком много поставил на жажду. Последний шанс. В пустыне всегда хотят пить».

Сержант отослал Антона за саксаулом. Нужно было разжечь костер. Летчикам легче их будет искать. Они не вышли на связь, и это встревожит Артюшина.

Сержант думал о Бегичеве. Такие нужны граице. Опыт приходит с годами, мужество же впитывают с молоком матери. Узоров вспомнил Антона неуклюжим первогодком, не умеющим читать след, бороться с жаждой, быть собранным перед лицом опасности. Но было в этом паренъке спокойное, медлительное упорство, глубоко спрятанная внутренняя сила. И вот первая схватка с врагом, с матерым, специально подготовленным агентом. И в этой схватке родился пограничник Бегичев.

Строгий судья Узоров. Но о каждом он думает с затаенной нежностью.

Есть в Антоне частица самого сержанта. Долгие месяцы ходили они вместе в дозоры и секреты. Узоров отдавал товарищу все, что знал и накопил за пять лет службы. Однажды Бегичев спросил: почему он не демобилизуется, не уходит с заставы?

И строгий судья Узоров спросил самого себя: «Почему?» Тогда он сказал Антону о чувстве долга. И сейчас мог бы повторить то же самое.

На границе служат люди долга. От неширокой контрольно-следовой полосы начинается огромная, великая страна, первое в мире государство свободных, счастливых людей. И нет большей чести, чем та, что выпала ему, сержанту Петру Узорову,— охранять мирный труд миллионов близких и дорогих его сердцу соотечественников.

— Пить...— услышал сержант. Неизвестный смотрел на пограничника широко раскрытыми ненавидящими глазами.— Пить,— потребовал еще раз задержанный и шевельнул головой.

— Вам придется потерпеть! — отрезал Узоров.

Снятые с пояса фляжки рядом лежали на песке у костра.

— Вы не имеете права,— процедил неизвестный.— Это негуманно — не дать напиться раненому, изнывающему от жажды.

— Не торопитесь умереть,— все так же жестко произнес сержант.— Вы нужны живым...

Он сказал это в надежде получить подтверждение своей уверенности в том, что вода отравлена.

Неизвестный молчал, прикрыв веками красные от напряжения белки глаз. Казалось, он снова потерял сознание. Внезапно он открыл глаза, внимательно и даже с любопытством посмотрел на сержанта. Тихо, с горечью сказал:

— На той стороне о таких, как вы, думают иначе. Теперь я знаю, они ошибаются...

Их обнаружили с воздуха на исходе дня. Бегичев и неизвестный лежали без сознания.

— Тепловой удар,— констатировал врач,— не смертельный. Организмы тренированные, молодые, наверняка выдержат.

Узоров сидел у костра, по-восточному скрестив ноги, не в силах пошевелинуться. Перед ним лежали шесть фляжек с водой и под каждой лежал листок бумаги с надписью: «Отравлено».

Уже в штабе отряда анализы подтвердили предположение сержанта.

ОРЛИНЫЙ ТАМ УСЛЫШИШЬ КРИК

Их было четверо, и шли они не торопясь, тем размеренным твердым шагом, каким ходят только альпинисты. Гребень, по которому они двигались, должен был привести их к вершине. Путь к трехтысячнику начинался от голубого озера и, петляя, уводил к обнажениям, кое-где покрытым альпийскими маками, крокусами и рододендронами.

Порфирий Громов шел впереди. Его широчайшая спина то и дело закрывала вершину, остальные шли затылок в затылок: гибкий подвижный Зураб, молчаливый низкорослый крепыш Олег.

Сан Саныч замыкал группу — так решил он сам, но все догадывались: старику не хотелось, чтобы ребята видели, как ему тяжело идти.

В тридцатые годы фамилию заслуженного мастера спорта Александра Буранцева знали все, кто мечтал о восхождениях. Памир, Тянь-Шань, Алтай, кавказские пятитысячники — куда только не забрасывало его альпинистское бестропье! Он первым штурмовал стены.

Война оторвала его от гор. Буранцев стал первоклассным разведчиком —годились сноровка и выдержка альпиниста.

И все же дороги войны снова привели его в горы. Сюда, откуда он безусым парнишкой начинал свой долгий путь к вершинам.

Ребята знают о Саныче все или почти все, но старик кажется им чудачком. «Каждому делу — свой возраст», — сказал Порфирий. Сказал, не обращая ни к кому, глядя в бинокль на сияющие алмазным блеском снежники, но ребята поняли и промолчали, соглашаясь с Порфирием.

Когда, сверяя маршрут, Зураб расстелил на столе карту, Саныч едва заметно усмехнулся — он и без карты

знал каждую расщелину. Ничего, что прошло более четверти века,— те дни, что он прожил здесь, стоили целой жизни.

Как объяснить им, что это последнее восхождение. И что совсем не вершина волнует его. Память. Вот что не дает ему покоя. Она будит его по ночам, выводит на старые тропы и всякий раз замыкается на голой гранитной стенке, обретая колючую ясность ощущений тех страшных двух часов, проведенных наедине со смертью.

Чем выше, тем снега больше. Снег раскисший, согретый солнцем. Порфирий проваливался в него по колено, остальные брели след в след.

С провзвительным криком с бесснежных стенок поднимались улары. Их крики-жалобы долго плавали в прозрачном холодном воздухе.

Саньч старался не отстать, прислушиваясь к стуку сердца. Он часто и шумно дышал, как во время бега, и Зураб, обернувшись, едва заметно покачал головой, жалея старика.

Саньч знал, что ему, возможно, и не дойти до вершины, чей подкрашенный рассветом пик горел ярко и приманчиво под еще робкими лучами солнца. Ему и не очень нужен этот пик. Он был там уже не раз.

Саньчу хотелось добраться до его подножия, туда, где начинается ровная, словно стесанная гигантским топором, стометровая скальная стенка.

Желание увидеть эту стенку и все, что скрывали склоны правее ее, родилось в Саньче давно, может быть сразу после войны.

Тяжелое ранение, полученное в боях под Бреслау, почти не оставляло надежды на свидание с горами, а потом понадобились годы, чтобы просто ходить по земле, работать, думать, жить...

О маршруте в долину Зубров он узнал из записки, висевшей на доске объявлений в институте, где Буранцев работал преподавателем. Троице альпинистам-перворазрядникам требовался четвертый. Он даже вздрогнул, когда прочитал название пика, куда собирались подняться трое студентов.

Буранцев нашел их на следующий день в спортзале, представился, сказал, что готов быть четвертым.

Они рассматривали его бесцеремонно и придиричиво. — Мы вас знаем из книг,— сказал Порфирий Громов,— но мышцы имеют способность стареть.

И все же он убедил их, что сможет быть четвертым, ни словом не обмолвился о своих ранениях. Сам постарался забыть о них хотя бы на время восхождения.

...На гребне снег заледел мелкими бледными зернами. Синеватые тени, отбрасываемые шпилеобразными скалами, чередовались с ослепительно оранжевыми полосами солнечного света. Вершина же отчетливо вырисовывалась на фоне ясного голубого неба.

С востока, юга и севера к вершине не подобраться — отвесная пятисотметровая стенка. И только с запада подходит к вершине гребень — путь подъема.

Снежник становится все круче, снег рыхлее и глубже. Видимо, опасаясь вызвать лавину, Порфирий вел группу по прямой.

Он с силой втыкал перед собой ледоруб — раз, правая нога вколачивалась в склон — два, левая — три... Машина, не человек. С таким и на Аннапурну можно. А в разведку? Саныч остановился, глубоко вздохнул, тяжело оперся на ледоруб, глядя, как Порфирий торит тропу.

На Громовете была прозрачная нейлоновая куртка, брюки эластик и австрийские ботинки с золотым тиснением. Порфирий умел красиво одеться даже для восхождения. Угрюмоватое загорелое лицо его с длинным, хищно изогнутым тонким носом почти никогда не распечатывалось улыбкой, словно дал он обет не смеяться.

К вечеру, взяв в лоб два «жандарма», группа вышла к желтым скалам, откуда начинался самый опасный участок пути к вершине.

На площадке, когда-то выбитой лавиной, решили сделать привал.

Буранцев лежал на спальном мешке, запрокинув голову, и, сняв очки, смотрел на горы, окрашенные теперь в странный фиолетовый цвет; лишь вершина пика слабо поблескивала, словно обернутая оловянной фольгой.

«Нужно встать и пройти к валуну, — думал Саныч, — там все начиналось». Он медленно встал, ковырнул ледорубом снег. На скрип встрепнулся Олег.

— Куда вы, Сан Саныч?

— Место одно хочу посмотреть...

— Место, где был прикован Прометей? — донесся из-за груды рюкзаков голос Порфирия. — Так ведь он припилен был на Ушбе, как гласит легенда...

— Почти угадал,— тихо сказал Буранцев,— один на Ушбе, другой здесь неподалеку.

Ребята переглянулись — они давно уже встали со своих мест и теперь с недоумением смотрели на старика.

Сая Саныч всматривался в каждого из них чуть исподлобья добрыми выпцветшими глазами, зная наперед, кто первый начнет «выводить иронию».

— Саныч, у тебя голова не болит? — осторожно спросил Порфирий. — А то у меня таблетки...

— Нет, там он и был распят, и его в любой момент «здельвейсы» могли расстрелять из карабинов.

Сказал резко, удивляясь металлическим ноткам, прозвучавшим в голосе.

Ребята промолчали.

— Тогда пошли,— сказал Зураб. — Мы не знали про это, Саныч...

Порфирий усмехнулся — не поверил.

Они поднялись по крутому склону, края которого резко обрывались вниз, в пустоту. Справа открылся узкий, как щель, «камин», и сразу за ним — гладкая, как щека, стенка, отвесно уходящая вверх.

— А егеря?.. — спросил Олег.

— Там, за гребнем, только левее. Должно что-нибудь остаться... Гильзы, может быть...

Саныч, прищурившись, не отрываясь смотрел на стенку, словно читал на ней историю своей жизни...

— Гитлеровцы! — Страшный шепот идущего впереди разведчика бросил их на снег.

Буранцев отполз за оставшийся от камнепада валун и осторожно выглянул. Белым конусообразным озером раскинулось перед ним небольшое плато. Со всех сторон было оно окаймлено холодными, тускло поблескивающими изморозью скалами.

И по самой середине этого застывшего «озера» двигалась длинная цепь людей с ледорубами — автоматы висели на груди. Буранцев и без бинокля разглядел выпуклые защитные очки на лицах бредущих по колено в снегу немцев. «Задача у них простая, — думал лейтенант. — Немцы хотят достичь перевального гребня раньше, чем мы. Захватив гребень, они перережут единственную дорогу, по которой должен пройти измотанный боями полк, ведущий арьергардный бой в долине».

Никто не ждал, что фашистские егеря появятся здесь. Они взяли штурмом южный склон хребта — значит, альпинисты отменные. Сколько же их? Полурота! Горные егеря из дивизии «Эдельвейс». Могут быть среди них и знакомые. Буранцев вспомнил двух баварцев, с которыми поднимался в одной связке на пик Шуровского четыре года назад.

Через полчаса егеря ступят на плотный смерзшийся фирн ледника. Еще полчаса, и немцы пройдут последний кулуар, выводящий их к перевалу.

Буранцев на мгновение вспомнил костистое, тяжелое лицо командира полка и его слова: «Не удержите перевал — нам конец. Сам видишь, раненых много».

Буранцев оглянулся. Восемь разведчиков вдавились в снег и походили на россыпь внезапно обнажившихся камней. Ближе всех лежал Федор Мотыль, с которым Буранцева связывала старая дружба еще по довоенным восхождениям.

— Федя, — негромко позвал командир. Мотыль повернул к нему красное, обожженное солнцем лицо. — Разговор есть...

— «Эдельвейсы» расцвели, — пробормотал Федор, подползая. — Бой нужен, командир...

— Нет, Федя. Мы здесь, как куропатки на снегу. Бой нужен там...

Буранцев показал глазами на ущелье, отвесные стены которого поднимались справа и слева, образуя каменный мешок.

— Опередить фашистов можно, — тихо сказал Буранцев. — Нужно только подняться по стенке... Видишь...

— Товарищ командир... Саныч... Это же... — Федор вапнулся.

Прислонившись к нагретому солнцем камню, долгим взглядом ощупывали они вздымавшуюся правее склопа гигантскую скалу, похожую на башню древней крепости. Стена ее казалась подброшенной над землей да так и застывшей в воздухе.

— Ты поведешь группу и пойдешь первым, — внезапно севшим голосом приказал Буранцев. — Скальных крючьев должно хватить. Поднимешься, свяжешь страховочные веревки,крепишь намертво и спустишь вниз. Потом двинешься на перевал. Полк пойдет вечером, до вечера держать перевал. Все...

— А ты?

— Сделаю вам паузу минут на шестьдесят. Оставив «дегтярева» с четырьмя дисками и пару гранат. Документы мои забори... на всякий случай. И не забудь про веревку.

Буранцев верил и не верил в то, что группа поднимется по скальной стенке, но он понимал, что другого выхода нет. Принимать бой на голом склоне безрассудно — часть немцев все равно уйдет на перевал. В случае же удачи разведчики первыми выходили к ущелью, запирающему дорогу из долины.

Себе он оставил роль отвлекающего заслона на тот случай, если враг заметит движение группы.

С плато стенку огнем не доставешь. Командир егерей бросит часть людей к камню, за которым он сейчас лежит, а значит, потеряет время.

Лейтенант слушал, как быстро и упруго стучал молоток Федора, вколачивая крючья в гранитные трещинки, и мысленно видел, как набухают вены на лбу Мотыля, как трудно ему держаться на крошечных уступчиках.

Буранцев привык на войне делать то, что в мирное время казалось невозможным, невероятным. И еще он знал, на войне нельзя ошибаться. Ошибка почти всегда стоит жизни. Как на восхождении. Кто-то небрежно забил страховочный крюк, и горы тут же мстят жестоко и неумолимо.

Сейчас от него, лейтенанта Буранцева, зависит жизнь сотен измученных непрерывными атаками людей. Нужно так построить бой, чтобы задержать немцев как можно дольше, а потом и самому успеть преодолеть стенку и присоединиться к группе.

Выбирая лучший сектор для обстрела, Буранцев приладил пулемет и выглянул из-за валуна. Он увидел, как на мгновение в цепочке немцев что-то ослепительно блеснуло, и догадался: солнечный луч отразился от оптического прицела. Лейтенант обернулся. Федор не прошел и половины пути.

Хлопнул далекий выстрел, и белый шарик ракеты, разбрызгивая искры, взлетел над плато, останавливая егерей. Буранцев видел, как третья часть колонны, отсеченная приказом офицера, развернулась в цепь и двинулась навстречу через плато.

У него еще оставалось три-четыре минуты. Он снял темные очки-консервы, прикрыл глаза и вприщур по-

смотрел на горы. На леднике синел фирновый снег, отражая небо. Вершина горела последними красками уходящего дня — золотом, киноварью, пурпуром.

Буранцев упер приклад пулемета в плечо. Теперь пусть идут. Они дошли до его гор, но, пока он здесь, они не пройдут.

Егеря передвигались к валуну длинной редкой цепью, догадываясь о присутствии за камнем разведчика.

Когда фигуры солдат стали видны отчетливо, лейтенант нажал на спуск. Стрелял он спокойно и внимательно. Каждая короткая очередь укладывала кого-нибудь из наступавших на снег. Они оставались темными пятнами на склоне. Вскоре немцы залегли.

«Если они снова пойдут прямо по склону, я расстреляю их всех до одного», — подумал Буранцев.

Егеря были опытными солдатами, они теперь и не думали атаковать в лоб, разделились на две группы и стали медленно и методично продвигаться к валуну слева и справа, охватывая позицию разведчика полукольцом.

Застрекотал крупнокалиберный пулемет, прикрывая атакующих. Эхо от его очередей ударялось о нагромождения скал, нависавших над плато, множилось, и Буранцеву казалось, что огонь ведут сразу несколько пулеметов.

Пули с визгом щелкали по валуну, высекая искры. Обожгло лоб и руку. Буранцев посмотрел на ладонь, испачканную темной влагой, подумал, что руку надо бы перевязать, и тут же забыл об этом.

Не сразу обнаружил он позицию фашистского пулеметчика, а когда увидел яркий сноп огня, вылетевший в пространстве между двумя рядом лежащими трупами убитых им немцев, резко повернул ствол «дегтярева» влево, поймал в прорезь прицела вспышку огня и почти опустошил весь диск. Экономить патроны, пока живет этот проклятый пулемет, было бы непростительной ошибкой. Пулемет замолк. Лейтенант снова заставил егерей залечь. Они постреливали из автоматов, но расстояние было слишком велико, и пули, шипя, уходили в снег.

Он позволил себе оглянуться. Стенка холодно поблескивала изморозью. Она была пуста. Веселое, глубокое чувство удачной, ладной работы охватило лейтенанта — Мотыль прошел, главное сделано. Ему показалось, что камень, за которым он лежал, нагрелся от секущих его

пулевых струй. Снова заработал крупнокалиберный. Но Буранцев не обращал уже на него внимания. Упрямое стрекотание пулемета только подхлестывало его своим бешеным ритмом. Буранцев полз от валуна к «каминну», волоча за собой пулемет с последним диском. Валун все еще прикрывал его. Но десять метров до каменной щели пришлось ползти под огнем. Немецкий пулеметчик слишком поздно увидел его. Лейтенант вскочил на ноги и в четыре прыжка достиг каменного козырька.

— А ну возьмите меня, попробуйте, — бормотал он в азарте, короткими очередями срезал бегущих к валуну егерей.

Теперь он видел их близко, крепких, здоровых парней в серо-зеленых мундирах и лыжных кепи с серебряными эдельвейсами.

Бульканье воды Буранцев услышал в короткий промежуток тишины — немецкий пулеметчик менял ленту. Ручеек бежал поверх зернистого снега рядом с позицией лейтенанта.

Разведчик оторвался от пулемета и припал воспаленными губами к ледяной влаге, потом опустил в нее на мгновение ладонь левой руки, задетую пулей, плеснул на лицо и тихонько рассмеялся.

Спокойствие гор приходило к человеку через рождившую солнцем и снегом отчаянную струю воды. Буранцев смеялся еще и оттого, что вновь обрел надежду уйти от наседавших егерей. Все пространство перед валуном было полно гитлеровцами. Их остановили две удачно брошенные лейтенантом гранаты и последняя очередь из «дегтярева». Буранцев отбросил ненужный теперь пулемет и, напрягаясь всем телом, быстро скользнул к подножию степки, откуда группа Мотыля начинала подъем. Лейтенант торопился. Он находил крючья, оставленные Мотылем, щелкал карабином и лез дальше. Ему мучительно хотелось оглянуться, но он боялся потерять даже секунды.

Разведчик был задавлен усталостью и болью, кровь застилала ему глаза, он задыхался. Вся его воля подчинялась одному — еще шаг, еще метр вперед, вверх.

Он прошел самый опасный участок стенки, когда услышал приглушенные расстоянием крики немцев. В тишине раскатисто громко ухнул выстрел. Топко вжикнула пуля над головой.

«Они добрались до камня, но прицельно стрелять еще

не могут — запыхались егеря», — мелькнула тревожная мысль. С плато донесся голос, усиленный рупором:

— Русс, спасай своего Прометея!..

Потом раздался смех. И выстрел. Буранцев щекоча ощутил эту пулю. Осколки, брызнувшие на месте попадания, больно ужалили лицо.

«А офицер неплохо знает мифологию», — с внезапно вспыхнувшей яростью подумал разведчик. Грохнул третий выстрел. Мимо лейтенанта змеей скользнул страховочный конец. Снайпер. Теперь все. Словно разжалась чья-то крепкая рука, и он повис над бездной. Такое высокое небо стало плотным голубым потолком. Разведчик прижался к стенке, обнял ее руками, остро чувствуя пустоту за спиной. Он поднял голову, посмотрел вверх. До края оставалось метров двадцать. Крючья торчали из стенки, как чьи-то пальцы. Буранцев стоял на крохотном выступе, держась обеими руками за другой выступ-лазун.

Рядом с виском ударила пуля. Устроили «тир», хотят, чтобы я сам... сам бросился в пропасть. Как же он раньше не догадался. Этим упитанным баварским парням важно раздавить в нем человека, личность. Измочалить его страхом, заставить метаться, потерять голову, может быть, кричать, биться об эту проклятую стенку. Они хотят насладиться его слабостью. Вон как гогочут.

Но вдруг стало необыкновенно тихо, и в этой тишине раздался глухой металлический голос, усиленный рупором:

— Русс альпинист, мы даем тебе жизнь десять минут... Проходи стенку... Мы будем смотреть... Мы будем учиться...

Тишина стояла над склоном. Немцы ждали.

— Пересчитайте убитых... — пробормотал лейтенант. — Я вам не за так достанусь...

Он подтянул оборванный пулей конец страховочной веревки, ее хватит на пять-шесть метров. Ну что ж, покажем «эдельвейсам», как штурмуют стенки.

Буранцев быстро шел по крючьям, оставленным Мотылем, щелкал карабином, в который уже раз продевал в него веревку, и, едва найдя зацепку на поверхности скалы, хватался за нее и лез дальше.

Кончилась веревка. Разведчик прижался к стенке. Он гладил ее руками, надеясь найти хоть какой-нибудь выступ. Буранцев решил идти вверх без страховки и от-

стегнул карабин с продетым в него концом веревки. Пальцы нащупали трещинку.

Ему оставалось совсем немного до края, когда тишину разорвал тот же голос:

— Русс, слезай... Мы даем тебе плен. Ты есть перво-классный альпинист...

Буранцев замер, распятый на стенке этим голосом, ощущая затылком холодный глаз снайпера, прильнувшего к оптическому прицелу.

Теперь конец. Вот и перешагнет он порог всей своей жизни. И может быть, хорошо, что смерть настигла его в горах, где прошли лучшие дни...

— Саныч!

Голос упал с неба. Буранцев вздрогнул, прижался лбом к шершавой, покрытой мхом поверхности. Стараясь не дышать, он чуть приподнял голову и покачнулся, отброшенный сумасшедшими ударами собственного сердца.

— Дождись цируса... Я сброшу веревку,— почти весело сыпал Федор,— тогда быстро вверх... Я прикрою...

Буранцев и сам видел легкое стремительное облако, летящее с восточной стороны хребта. Видят ли его немцы или, увлеченные спектаклем, который устроили себе, не обратили на него внимания?

Через три-четыре минуты цирус, словно туман, закроет склон и стенку... Тогда... Федор наверху. Вернулся. Из-за меня. Он слышал, как немцы кричали в рупор. В горах далеко слышно. Слышал и догадался, в чем дело.

От наплывающего облака тянуло промозглой сыростью и свежавыпавшим снегом. Что-то зашуршало над головой, и по плечу Буранцева скользнул конец толстого шнура. И сразу же оглушительно забубнил автомат Мотыля.

Белая липкая мгла ударилась в стенку и закружилась в бешеном водовороте. Разведчик рванулся вверх. Пули фыркали в плотной мгле, высекая из камней искры, но Буранцев чувствовал, что немцы стригут из автоматов то место, где он был всего каких-нибудь двадцать секунд назад. За это время он ушел вверх на целых пять метров, вложив в этот рывок весь остаток сил, всю ярость и ненависть.

Воздух ныл от пуль, не смолкая, клочкотал автомат Мотыля. Федор бил короткими очередями, заставляя баварских «орлов» залечь, искать укрытия.

Перевалившись через край, Буранцев молча вырвал автомат из рук Мотыля. И, когда рассеялась белая мгла, поймал в прорезь прицела гребень, за которым лежали егеря, нажал на спуск и медленно повел стволом вдоль скал.

— Что, взяли, гады,— сухим, обожженным голосом кричал лейтенант,— взяли?.. По его лицу, иссеченному осколками камня, текли слезы.

...Саныч умолк и обернулся. И не встретил взглядов. Ребята стояли потупившись.

Буранцев грустно улыбнулся:

— Я обманул вас, скалолазы... Мне нужно было прийти сюда еще раз... Извините.

— Чего уж,— буркнул Порфирий.

— Это вы нас извините, Саныч,— тихо сказал Зураб.

— А что стало с Федором Мотылем? — спросил Олег.— Где он?

— Там... на перевале... Погиб в бою... До прихода полка мы продержались, осталось нас трое...

— А там есть?..— Олег смущенно умолк.

— Есть. И обелиск, и все, что полагается. Ведь это наши горы...

Олег подошел к Буранцеву и протянул ему фляжку с жидким шоколадом:

— Саныч, ты дождись нас. Мы возьмем пик и вернемся. Все, что нужно, оставим. У нас ведь есть вторая палатка...

Саныч сдержанно вздохнул. На лицо его набежала легкая тень, резко обозначились морщинки. Он долгим взглядом посмотрел на Олега, тихонько толкнул его в плечо:

— Иди, Олежек. Я дождусь...— Что-то в голосе его дрогнуло: — Орлиный там услышишь клич...

ПОМНИ О ЖИЗНИ

Федор Каменцев не видел Ленинграда с июля сорок первого и теперь, шагая по заснеженным декабрьским улицам, вглядывался в заиндевевшие дома.

Посреди улицы, занесенные снегом, стояли трамваи. Было тихо и безлюдно.

Из репродуктора, прикрепленного на столбе, раздавались хриплые отрывистые звуки: «Так-так... так-так...»

Каменцев догадался, что это метроном. И пока лейтенант удалялся по улице, вслед ему все стучал и стучал метроном, словно усиленное на радиостудии биение сердца.

Федор не был коренным ленинградцем. Он учился в пограничном училище, когда началась война. Курсанты училища держали оборону на подступах к Ленинграду со стороны Нарвы. Они стали разведчиками.

Тяжелые дни переживал осажденный город. Люди умирали от голода на улицах. Не было электричества, не хватало топлива.

Солдаты, побывавшие в Ленинграде, рассказывая об этом, сжимали кулаки.

Федор выходил из землянки, подолгу смотрел на силуэт прекрасного города, смутно рисовавшийся в морозной дымке, и пытался мысленно увидеть его улицы, по которым они, курсанты, проходили маршем под звуки оркестра.

Тогда трудно было представить себе город вымершим, но сейчас, шагая по одной из улиц, Каменцев с болью оглядывался по сторонам. Улица была пустынна, и только метроном за спиной хрипло утверждал, что город жив.

В райкоме партии Федору дали адрес и объяснили, как найти улицу. Секретарь, рослый большерукий человек с землистым от недосыпания лицом, проводил его до двери, тихо и грустно сказал:

— Найдите ее. Ольга Боганова ее фамилия. Лучшего

помощника в вашем деле не знаю... Времени-то у вас в обрез...

В том, что жизнь лейтенанта Каменцева усложнилась до невероятности, был виновен он сам. Наблюдатели засекли скопление вражеских танков в дальнем ельнике. В стереотрубу были отчетливо видны прямоствольные красавицы елки, и среди них камуфлированные под снег застывшие бронированные машины.

Командир батареи капитан Очеретный, сменивший Каменцева у стереотрубы, насмешливо сказал:

— Наломаем дров, лейтенант...

— Такие елки мы ребятишкам в подшефную школу привозили,— ответил тогда Каменцев.

Очеретный молчал, поглядывая в стереотрубу, потом задумчиво произнес:

— Вот и повезешь в свою школу елку... Новый год скоро.

После первых же залпов ельник заволокло черным дымом и донеслись глухие короткие удары — на горящих машинах взрывались бензобаки.

Через полчаса от густого ельника осталось несколько десятков побитых осколками деревьев.

И только одна елка, чудом уцелевшая под ураганным огнем, четко рисовалась в сетке бинокля. Она стояла на краю ельника и, может, поэтому осталась нетронутой.

Очеретный долго разглядывал ее, потом тихо сказал:

— Ночью сходите за ней... Разведчики вы или нет...

К ночи усилился мороз. Командир полка, узнав о елке, дал «добро». И теперь, в белых халатах и широких белых штанах, в белых капюшонах, завязанных на лбу, разведчики сосредоточились в окопе боевого охранения.

До ельника было далеко, мороз обжигал лицо, но все обошлось. Елка, аккуратно и тихо спиленная ножовкой, предательски шуршала на декабрьском стылом снегу, и разведчики замерзли, но очереди цепляя ствол.

Старшина Мажуга вскопал пол и водрузил елку посередине землянки. Хвоя в тепле запахла остро и сильно.

В землянку набились батареицы — всем хотелось ощутить этот праздничный томящий запах. И тогда кто-то вспомнил:

— А подарки...

Стало тихо. Батарея второй месяц сидела на строгом рационе: сухари, гороховая похлебка и сахар — кусочек на неделю.

И в этой звенящей тишине вдруг глухо прозвучал голос Мажуги:

— А я его с детства терпеть не мог...

Он пошуршал своим вещмешком и выложил на столик телефониста три кусочка сахара. И никто больше не сказал ни слова. На полу возле елки расстелили чистый, почти белоснежный маскхалат, и на нем скоро выросли горка колотого сахара и пирамидка черных сухарей.

А в землянку все входили и входили солдаты, разворачивали тряпицы, газетные свертки, доставали то, что называлось на фронте НЗ — неприкосновенный запас.

Весть о том, что в землянке капитана Очеретного идет сбор продуктов на подарки ленинградским детям, быстро облетела весь полк.

И уже морские пехотинцы, в камуфлированных касках, с почерневшими от мороза лицами, выстроились в своеобразную очередь у входа в землянку. Врытая в мерзлую землю, она не могла впустить их всех сразу, и они без смешков и обычных прибауток неловко переминались в темноте у входа, ожидая своей очереди, а входя, застыли от изумления, вдыхая ставший уже терпким и горьким запах совсем разомлевшей в тепле елки.

Огонек коптилки метался по стенам землянки, тревожимый бескопечным хлопаньем двери, телефонист всякий раз прикрывал его ладонями, в глазах у него пощипывало, и никто не знал, что этот пожилой седоусый солдат мысленно обнимал каждого, кто входил в землянку. Он ласково думал о том, что эти молодые ребята с обожженными на морозе лицами не знают еще по-настоящему, что такое дети.

...Пробираясь среди сугробов, Камешцев думал о детях, поглядывая по сторонам, ища, может быть, их следы на занесенных снегом тротуарах. Но вокруг него расстилалось сплошное белое поле улицы, перечеркнутое кое-где тусклым следочком санок. Иногда ему встречались узенькие тропинки-змейки, протоптанные людьми. Одна из них и привела его к пужному дому.

Дом номер четырнадцать ничем примечательным не отличался от десятка других домов. Пятиэтажное строение с вынесенными далеко балконами, построенное, вероятно, еще в двадцатые годы. В нижних этажах стекла были выбиты, и опущенные ныне оконные рамы зияли глубокой черпотой.

Камешцев прошел под арку во двор, отыскал подъезд,

поднялся на четвертый этаж, зажег фонарик, чтобы не ошибиться номером. Легонько постучал в дверь. Подождал и постучал еще раз погромче. За дверью было тихо, и тогда он толкнул ее плечом. Она оказалась незапертой.

Квартира была двухкомнатной. Каменцев сразу прошел к дальней комнате и осторожно приоткрыл дверь.

— Есть здесь кто-нибудь? — громко спросил он и, не получив ответа, шагнул в комнату.

Плотно задрапированные окна не пропускали света с улицы, но в тусклом луче фонарика Каменцев разглядел кровать в углу и на ней бледное пятно — лицо человека, лежащего под ворохом шуб. Заиндевелившие стены сверкнули льдистым отблеском.

— Здравствуйте, — сказал Каменцев, — извините за вторжение.

— Кто вы? — тихо спросили из угла.

— Я военный, — ответил Федор. — Я к вам с поручением из райкома от товарища Поликарпова...

В углу долго молчали, потом раздался глухой кашель, и тот же слабый голос произнес:

— Извините, но я не могу встать...

— Вы одна?

Каменцев вдруг почувствовал, как полутьма закачала его, словно он ступил на палубу внезапно тронувшегося корабля. Он шагнул к окнам и рванул драпировку. Робкий свет зимнего дня скользнул в комнату, и Федор, повернувшись, увидел огромные, глубоко запавшие глаза, смотревшие на него в упор.

— Вы Ольга? — несколько смущенный этим взглядом, спросил Каменцев. Она кивнула и устало прикрыла глаза. — Тогда все в порядке, — весело произнес Федор, — нужно собрать ребят на новогоднюю елку.

Она не нашла слов и вяло взмахнула рукой, вместе с движением руки улыбнулось ее лицо. Она сказала:

— Если бы я могла... — По голосу он угадывал, что тревога, которой она жила эти дни, заставляет ее выражать свою радость сдержанно и строго. — Подойдите... пожалуйста, — снова прошелестел голос.

Каменцев наклонился над кроватью. Девушка взяла его руку и прижала ее ладонью к своему виску.

Федор почувствовал, как слабо и неровно, словно запынаясь, бьется пульс. И вдруг понял, что эта едва теплящаяся нить может оборваться в любую секунду.

Он рванулся к вещмешку, который, войдя, оставил у двери, и, лихорадочно роаясь в нем, забормотал:

— Сейчас... сейчас... Вы ведь голодны... У меня сахар и сухари.

Он снова пересек комнату, неся в охапке почти все содержимое мешка.

— Так нельзя,— сказала Ольга.— В углу есть печка...— Она пошевелилась, длинно и тягостно вздохнула, с трудом выговаривая слова: — Под подушкой книги... растопите ими печь... Вода должна быть в ведре... если осталась.

Федор осторожно вытащил из-под подушки книги. Их было четыре — «Овод», томик Пушкина, «Дикая собака Динго» Фраермана и повести Тургенева.

— Сожгите их... Теперь уж все равно...

Он поднял книги, и ему показалось, что он держит в руках чью-то жизнь.

— Я поищу что-нибудь другое,— пробормотал Федор,— что-нибудь деревянное. Вы лежите... Я сейчас...

Он спустился этажом ниже и постучал. Никто не отозвался. Каменцев плечом осторожно надавил на дверь. Она бесшумно открылась.

Федор зажег фонарик. Квартира была пуста. Голые стены мерцали изморозью, словно их посыпали бертолетовой солью. На одной из них висели два противогаза — большой и маленький. Посередине комнаты стояло старинное кресло без спинки. На нем лежала записка. Тетрадный лист пересекли крупные буквы: «Коля! Мы ушли через Ваганово на Ладогу. Оттуда на машинах до Тихвина. Пиши нам по адресу: «Пермь, до востребования». Папа, мама и Таня. Мы целуем тебя...»

— Извините,— сказал Каменцев, снял со стены противогазы и приколол на гвоздь записку.

В темноте лестницы, неся тяжелое кресло, Федор подумал, что в другое время и при других обстоятельствах никогда бы не решился на такое — войти в чужую квартиру и вот так просто забрать единственную вещь, которую оставили, наверное, для того, чтобы приехавший на побывку Коля мог присесть в пустом доме, прочитать записку и подумать о родных и близких людях. Но этажом выше умирал человек.

Ольга ждала его. Она слабо улыбнулась, увидев кресло.

— Это Дементьевых...— сказала девушка.— Они выехали с институтом.

Федор промолчал. Он с трудом разломал кресло и немело разжег печурку.

В ледяной комнате постепенно становилось тепло.

Каменцев ножом вскрыл единственную банку трофейного какао, подаренного ему разведчиками, и в небольшой кастрюльке сварил его.

Он бросил в коричневую густую влагу пару сухарей и кусочек сахара.

Полубоясь девушку за плечи, помог ей подняться и сесть на постели. Он поддерживал Ольгу, пока она пила какао.

Девушка вздрагивала в его руках, как раненая большая птица, легкая, невесомая.

Потом Ольга уснула, и Каменцев, боясь пошевелиться, сидел на краю кровати.

Ее нежное, почти детское лицо казалось прозрачным в тусклом свете, который проникал сквозь оттаявшие окна.

Федор слышал ее дыхание, то ровное и тихое, то прерывистое и громкое. Ольгу можно было бы назвать красивой, если бы не платок, туго повязанный по-бабьи и закрывавший лоб. Только одна прядка волос выбивалась из-под платка — она казалась седой.

Постоянное недоедание высушило лицо, заострило нос правильной формы, глубоко западали глаза, и две тягостные морщинки залегли в углах ее маленького припухлого рта.

Наконец Ольга проснулась: ее тяжелый, блуждающий взгляд остановился на Федоре, и легкая улыбка тронула уголки губ:

— Это вы...— Она наморщила лоб, вспоминая что-то, и вдруг спокойно, словно и не было глубокого и страшного, как омут, сна, сказала:— Вам нужно записать фамилии и адреса. Если найдете хотя бы троих, они соберут всех, кто остался в нашем районе. Шестеро, которых я назову,— мой актив. Понимаете? И пусть все соберутся к семи часам. А я наряжусь Снегурочкой... Я всегда у них была Снегурочкой. У меня и костюм есть... Я сейчас еще поем — и встану... встану назло фашистам...— упрямо повторила она.

В ней что-то изменилось за эти два часа, что она спала, что-то созрело, смелое и решительное.

Она сняла платок, и Каменцев увидел ее пепельные, отливающие металлом волосы.

Острая, жгучая мысль пронзила Федора: «Она еще не смотрелась в зеркало, она еще не знает, что стала седой».

— Я пришло за вами машину,— сказал Федор.

— Машину? — удивилась Ольга.

— С фронта придет наша полуторка, она привезет елку. Я подожду ее.

— Хорошо,— согласилась девушка. — Спасибо... А я ведь не знаю, как вас зовут.

— Федор... Каменцев...

* * *

Остаток дня Федор провел в розысках. Из шести человек Ольгиного актива в городе осталось только двое. Бледные утрюмые мальчишки той поры.

Они молча кивнули, уже на улице серьезно, по-взрослому тряхнули Федору руку и растворились в ранних зимних сумерках.

Каменцев отправился в райком, надеясь застать там Поликарпова, но секретаря не было — ушел добывать дрова для школы. Зато приехал Мажуга и привез елку и два мешка шишек.

Старшина был чисто выбрит, благоухал одеколоном, на форменке светились два ордена и три медали.

— Как на парад,— усмехнулся Каменцев, разглядывая старшину.

— Так праздник же,— смущенно оправдывался Мажуга,— детишки опять же... А я вроде Деда Мороза, и главное — музыка...

Тут только заметил Каменцев в углу коридора громоздкий футляр, укутанный в стеганку.

Зал был достаточно вместительный, и елка, поставленная посередине, казалась небольшой.

Жарко топились три металлические печки-временки по углам, а зажженные и подвешенные к потолку фонари освещали собравшихся ребят.

Их было немного, человек сорок — пятьдесят, они стояли и сидели на расставленных вдоль стен стульях, не раздеваясь, еще не привыкнув к теплу. Многие были с родителями, и те тоже не решались раздеться и сидели, пегромко переговариваясь, ожидая начала праздника.

И все смотрели на елку. И хотя казалась она невеличковой, по это была настоящая северная елка, с широкими разлапистыми ветвями и темно-зеленой блестящей хвоей.

Игрушек на ней было немного, зато на самом верху горела большая красная звезда, сделанная из стекла. Она излучала розовый теплый свет, потому что внутрь был вставлен карманный фонарик.

Каменцев поглядывал на свой хронометр. Шел уже восьмой час, а Ольга с Мажугой не появлялись. Огромный, в темно-синем костюме и белых бурках, Поликарпов несколько раз выходил на улицу посмотреть, не вернулась ли машина, и возвращался взволнованный и сосредоточенный.

Наконец за окнами послышался знакомый чихающий шум мотора, хлопнула входная дверь, и в зал вошли Ольга и Мажуга.

Старшина легким грациозным движением — где только научился — снял с девушки тяжелый солдатский тулуп, и все, кто сидел в зале, изумленно ахнули.

Каменцеву показалось, что он присутствует при рождении сказки.

Костюм Снегурочки был ослепителен, он сверкал и переливался тысячами блесков-спежинок. Даже на выпущенных из-под кокетливой меховой шапочки волосах посверкивала алмазная россыпь.

Глаза Ольги, светящиеся радостью, казались огромными на бледном, чуть припудренном лице.

— Здравствуйте, ребята! — громко и звонко сказала она. — Поздравляю вас всех с Новым годом! Начинаем наш праздник, как всегда, с хоровода.

Девушка кивнула Мажуге, и тот быстро прошел к елке, где стоял баян.

— «Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои...» — пела Ольга, протягивая руки к сидящим ребятам, вызывая их в круг, и они шли к ней, как замороженные, поверив в реальность сказочного и, как им казалось, неосуществимого праздника.

Мальчишки сбрасывали с себя пальто, брали девочек за руки и выходили в центр зала, образуя хоровод.

Мажуга, перебирая кнопки баяна, притопывал в такт, озорно подмигивая каждому, кто взглядывал на него.

Ольга взмахнула рукой, приглашая в круг родителей, и те послушно поднялись со стульев и ринулись в хоровод, словцо только и ждали приглашающего жеста.

Поликарпов подошел к Федору и, улыбаясь одними глазами, пригласил:

— Прошу вас, лейтенант... Невозможно удержаться.

В зале запахло разогретой смолой — это по команде Мажуги старая школьная нянечка бросила в каждую лоточку по несколько шишек.

Мажуга вообще походил на доброго волшебника — вот он вамакнул руками, оставив на мгновение баян, и на танцующих ребят из каждого рукава его форменки вырвалось по облачку настоящего цветного конфетти.

Потом он достал из футляра огромную хлопушку, и она оглушительно взорвалась, вызывая смех и аплодисменты окружающих.

— «Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои...» — бормотал Каменцев, держа за руку худенькую маленькую девочку и не сводя глаз с Ольги-Снегурочки, замечая, как темнеет от усталости ее лицо, слыша прерывистое, скрипом, дыхание девушки.

Федор кивнул Мажуге и показал глазами на Ольгу. Старшина оборвал музыку и тяжело сел на табуретку.

— А теперь споем песню, — глуховатым баском сказал он. — Садитесь на пол, он теплый...

Уставшие ребята сгруппировались у ног старшины.

Тихо, словно выбирая мелодию, зазвучал баян. Мажуга сидел, склонив голову на мехи, с закрытыми глазами, и только вздрагивающие в полуулыбке кончики губ говорили, что думает он о чем-то далеком и хорошем.

Но вот родилась мелодия, старая и знакомая каждому мальчишке и девочке:

Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы, пионеры, — дети рабочих...

Сколько прекрасного и великого скрыто в человеке. Мажуга — воин, легендарный разведчик — таким его знал Каменцев. Сейчас же под елкой сидел добрый и нежный отец, рассказывающий детям о самом главном и высоком, о верности революции, о нестигаемости ее борцов.

За окнами стыла морозная декабрьская ночь кончающегося тысяча девятьсот сорок первого года.

Каменцев думал об Ольге, он искал ее взгляда, и она словно почувствовала это, приблизилась к нему, усталая и довольная, с потным заострившимся лицом. Прикоснулась пальцами к его ладони:

— Хорошо, правда?

— Правда, — улыбнулся он.

— Такое не забудется. — Ольга, как могла, крепко сжала руку Федора: — Знаешь, я совсем не устала... Только чуть-чуть. Я даже вальс смогу станцевать... с тобой.

Они танцевали вальс, и все смотрели, как они танцуют. Потом взорвалась хлопушка, и Мажуга объявил:

— А сейчас будем вручать подарки.

Он извлек из-под елки три туго набитых солдатских вещмешка.

Два сухаря и два кусочка сахара — такой это был подарок.

Мажуга каждому, кто подходил к нему, вручал сахар и сухари, глухо приговаривая:

— Получи, сынок... получи, дочка.

Дети понимали старшину. Они были ленинградцами. Получив свою порцию, ребята отходили к родителям, не смея прикоснуться к еде.

Мажуга сидел с каменным лицом и плотно стиснутыми губами, большой пожилой человек, знающий цену выдержке. И только с глазами ничего не мог поделать старшина. Они предательски поблескивали влагой.

Еще и еще водила Снегурочка хоровод. Мажуга показывал фокусы и играл, играл без усталости яблочко, лезгинку, барыню и просто русскую.

Когда на Петропавловке ударила пушка и кто-то сказал, что уже десять и пора по домам, было объявлено, что тех, кто живет далеко, отвезут на полуторке.

— Ты проводишь меня?

— Да будет так, — обрадовался Федор.

Поликарпов проводил их до дверей, а Мажуга помаhal рукой и крикнул:

— В девять утра отбываем...

Они шли, держась за руки, по тихой, пустынной улице, еще не остывшие от праздничного возбуждения.

Морозное сипее небо струилось едва видимыми вступенной дымке звездами. И только грапёный ковш Большой Медведицы сиял ярко и ровно.

Что-то потрескивало в этом полуночном мире, и Федор догадался — деревья жалуются на холод. Они стояли сахарные от инея, неподвижные и голые.

Дома в серебристой ласковой оснежи проходили мимо, как застывшие корабли.

— Ты понимаешь, — говорила Ольга, — необходимо,

чтобы что-нибудь жило в человеке. Когда умерла мама, мне показалось, что это умерла я.

Он искоса взглянул на ее лицо, на седую прядь, выбившуюся из-под шапочки, и различил в полумраке ее большие печальные глаза.

— Ты не должна умереть, — сказал он. — Нужно всегда помнить о жизни.

Они вышли к Фонтанке. Война давно загасила старые уличные фонарики с разбитыми стеклами: ажурные мостики, одетые снегом, казались нарисованными — так неподвижен был воздух и все вокруг.

— А вот этот дом строил Кваренги.

Ольга показала на двухэтажный особняк с широким балконом и литой, из чугуна, оградой.

— А я не знал, — усмехнувшись, отозвался Федор. — Думал, купец какой-нибудь постарался.

— Что ты! Это девятнадцатый век... Джакомо Кваренги называли творцом высшей гармонии... Я готовилась поступать в архитектурный. А наш Ленинград — это же музей. Если его серьезно изучать, жизни не хватит. — И вдруг внезапно спросила: — Ты зайдешь ко мне?

Он почувствовал беспокойство в ее голосе и грубовато сказал:

— Куда же я денусь?..

Она с такой грустью взглянула на него, так беспомощно и вместе с тем так заботливо, что Каменцев ужаснулся, до чего все-таки груб мужчина.

Чтобы сгладить неловкость, Ольга быстро сказала:

— Мы будем читать вслух тургеневскую «Асю» назло фашистам. Будем, правда?

Она взглянула на Федора по-детски требовательно и нетерпеливо, и Каменцев добродушно пробасил:

— Будем, конечно. Назло фашистам.

Поднявшись в комнату, Федор зажег светильничек и растопил печурку. Чтобы было светлее, приоткрыл дверцу.

Запотевшие стекла разбухали от пламени, бьющего из печурки. По ним, мерцая, поползли сверху вниз головастые капли.

Каменцев снял шинель, словно у себя дома.

Весело трещали, подпрыгивали в печке шишки, привезенные Мажугой, — старшина пабил ими карманы Федора, когда тот уходил из школы. Духовито пахло смолой.

Чистым и тихим голосом Ольга читала из тургеневской «Аси».

Каменцев слушал этот голос, казалось, приглушенный легким туманом, очищенный пламенем печурки, и думал: «Что же будет с ней без меня? Что она будет делать одна здесь, в ледяном и голодном городе?»

Эта мысль уплывала, растворялась, постепенно превращалась в сон. Сознание застлал светлый туман дремоты.

Федор очнулся оттого, что почувствовал на себе долгий внимательный взгляд. Открыл глаза — и увидел Ольгу, сидящую напротив со сложенными под подбородком кулачками. Глаза ее, опущенные тяжелыми черными ресницами, влажно светились.

— С Новым годом! — негромко сказала она.

— С Новым годом! — таким же негромким эхом откликнулся Каменцев.

— Тебе пора... Мажуга будет ждать...

Федор быстро собрался. Надел шинель. Тепло уходило из комнаты, и окна снова покрылись изморозью изнутри.

Они вышли на улицу.

Рассвет только пачинался. На левом склоне неба зыбились звезды.

Стояла хрупкая предутренняя тишина, и продрогшие липы чуть вздрагивали, наполняя воздух тихим звоном.

— Оля, ты не провожай меня... далеко идти... — мягко попросил Федор.

— Нет. Ты едешь на фронт, и я должна...

Они долго шли молча. Каменцев все хотел спросить девушку о том, как она собирается жить дальше, но его смущал ее строгий, замкнутый вид, какая-то отрешенность в коротких взглядах, которые она бросала на него.

Уже на подходе к райкому она, словно угадывая его мысли, сказала:

— Ты не думай... Я не пропаду, я теперь знаю, что мне делать...

Еще издали Федор увидел знакомую полуторку, выкрашенную грязными белилами, и Мажугу, взмахивающего рукой.

— Простимся здесь, — сказала Ольга и, неловко обняв Каменцева обеими руками, поцеловала его в губы. И он тоже поцеловал ее по-юношески неловко и неумело, и она поняла, что делает он это впервые.

Ольга сложила перед ним голову, и Федор услышал ее шепот, возвращающий его же слова:

— Помни. Помни о жизни...

Каменцев уходил не оглядываясь. Ему казалось, если он оглянется, то не сможет уйти от нее, такой маленькой и одинокой, закутанной в огромную материнскую шаль.

И только в кузове полуторки, когда она тронулась, он обернулся.

Там, где стояла Ольга, прямо за ее спиной всходило солнце, тусклое и холодное. Казалось, что оно светит через промасленную бумагу.

Каменцев даже издали разглядел лицо Ольги. Оно было строгим и печальным. И вот уже не стало видно лица. И только рука... рука билась где-то далеко-далеко, как белая птица над пожарищем.

— Помни о жизни,— прошептал Федор, словно Ольга была еще рядом и могла услышать его.

В ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ

Карауш смеялся, когда маленький Николка, направив на него игрушечный пистолет, нажимал на курок и выпускал тонкую струйку воды.

— Ты убит, папка,— кричал Николка,— ты нарушил границу...

Карауш смеялся еще и оттого, что ему в это утро исполнилось ровно двадцать семь лет, он не знал, что такое болезни, и мог на руках пройти вдоль всей набережной. Он не делал этого по единственной причине — в городе хорошо знали его, старшего лейтенанта, пограничника Андрея Карауша.

Город любил пограничников. В трудном сорок первом они насмерть стояли у его стен и все, как один, пали на подступах к бухте, откуда шла эвакуация.

Андрей застегнул янтарные запонки — подарок жены — и надел светлый легкий пиджак. Алена сама появляла мужу галстук.

— Не можешь? — ласково усмехнулась она.

— Не могу... — вздохнул Андрей и полюбил жену. — Я через два часа вернусь...

— Папка,— не отпускал его Николка,— ты обещал, когда тебе исполнится двадцать семь лет, мы взберемся на самую большую гору и устроим там салют... Ты помнишь?

— Помню. Сегодня мы с тобой совершим восхождение, и салют, конечно, устроим... Я вот только в порт схожу... встречу теплоход. Идет?

— Идет! — вскричал Николка.

Андрей неторопливо шагал туда, где у нагретой солнцем бетонной стенки кипел белопенный прибой. Скоро должен был прийти зафрахтованный иностранной туристской фирмой теплоход. Сегодня это не его забота — осматривать корабль, проверять документы гостей из-за ру-

бежа. Просто старший лейтенант Карауш по старой привычке не мог пропустить этот строгий и торжественный час. Андрей ничего не мог поделать с собой — его влекло на пирс: а вдруг?.. Здесь, у трапа, — граница. И он «фронтисервис» — пограничная служба. Сколько раз за годы, проведенные на контрольно-пропускном пункте, вежливо просил он капитанов иностранных судов представить ему «кру-лист» — список команды и паспорта моряков.

Набережная задыхалась от жары. На старой пристани в ожидании катера собралось множество людей. Мальчишки сидели на каменных плитах, свесив ноги к воде.

По набережной ходил фотограф в широкой, как подсолнух, шляпе. Звали его Гриша-грек. Он и вправду походил на грека — маленький, худощавый, с всегда печальными черными, как маслины, глазами.

С «поплавка» доносилась слабая музыка, там стучали ножами и вилками. За «поплавком» была вышка, с которой самые храбрые прыгали в воду. До нее можно было добраться, пройдя с набережной через мосток.

А дальше, там, где раскинулся городской пляж, берег кишел бронзовыми людьми. Солнце заливало пляж, и песок, изрытый следами ног, походил на огромные ассирийские письмена, а у воды лоснился, как спина дельфина.

Карауш поздоровался с Гришей-греком кивком головы, но тот остановил его:

— Отсюда не видно, — сказал Гриша, поворачиваясь к морю, — а с дальнего волнореза просматривается. Жаль, у вас нет с собой бинокля...

— А в чем дело? — насторожился Карауш, хотя знал слабость старого фотографа поиграть в таинственность.

— Бук где-то ветром сорвало, — усмехнулся Гриша, — а может, что еще... Я на том волнорезе парочку щелкнул, просили поромантичней — там, сами знаете, пять каменных пальчиков торчат из воды. Гляжу в объективчик, а оно там болтается... кабельтова не будет... Вы ж — граница, должны знать... И еще просьбочка, товарищ Карауш... Я вас семь лет знаю, и за все эти годы вы ни разу у меня не сфотографировались... Позвольте... Все будет в лучшем виде.

Карауш улыбнулся и пригладил ладонью волосы. Гриша-грек вскинул старенький «Зенит».

«Умеет старик поймать клиента, — думал Андрей, ша-

гая по набережной в сторону волнореза.— Вот и буюк выдумал. Но в одном он прав: мы — граница и должны знать».

Андрей миновал «поплавок», обошел поверху пляж и спустился на берег у последнего волнореза.

Где-то гулявший шторм принес на край бухты мертвую зыбь. Кромка берега была сплошь усеяна гребешками водорослей. Еще зеленые, еще живые, так и будут они лежать, пока не высохнут и не станут бурыми. Один гребешок к одному, как годовые кольца на пне.

По морю равномерно, словно глубокие вздохи, ходили пологие валы зыби. Чайки опускались на воду и, словно обжегшись, тотчас взмывали кверху.

Выложенный крупной круглой галькой волнорез уходил в море на добрую полсотню метров. Он был пуст. Карауш снял ботинки и, держа их в руке, осторожно ступил на скользкую от выброшенных водорослей поверхность волнореза.

Разглядеть что-нибудь в море мешало солнце. Оно било в глаза, ослепительно вспыхивало на волнах, рассыпаясь на миллионы блестящих зайчиков, скачущих содного гребня на другой.

И все же Андрей увидел черный округлый предмет, то исчезающий, то появляющийся на воде примерно в кабельтове от берега. Похоже, что это был буюк. Бриз и волна подталкивали его к берегу — туда, где кончался пляж и торчали из воды острые, тонкие камни, похожие на черные косые паруса.

«Через тридцать минут буюк бросит на камни,— подумал старший лейтенант,— через тридцать минут в гавань войдет теплоход. Я должен найти бинокль. На пляже у кого-нибудь из отдыхающих».

Смутное подозрение не оставляло Карауша, когда он шагал среди обнаженных купальщиков, ища глазами того, кто любовался бы морем сквозь оптические стекла.

И вот на балюстраде набережной Андрей увидел парня в голубых, выгоревших добела джинсах. Через плечо у него был переброшен бинокль.

Парень танцевал, держа в руке транзистор. Босые ноги выделяли немыслимые па, а вокруг, притопывая в такт, веселилась группа молодежи, видимо студентов.

Карауш пожалел, что на нем нет формы. Он подошел к группе и резко шагнул вперед:

— Разрешите ваш бинокль. На одну минуту...

Парень неприязненно взглянул на Карауша, недовольный тем, что прервали танец.

— Я за одну минуту деньги беру,— сострил он.

— Сколько? — быстро спросил Андрей.

— Червонец,— усмехнулся парень.

— Держи...

Карауш рванул из бокового кармана деньги.

— С чего это? — смущенно бормотнул парень.— Вот бешеный. Да в нем линзы неисправны. Это я так его прихватил... для вида.

От нетерпения Карауш скрипнул зубами.

— Разрешите,— твердо сказал он,— человек в море уплыл — посмотреть пужно.

Парень снял с груди бинокль.

Море метнулось к глазам и заплескалось, усыпанное веркальными бликами. Андрей повел биноклем вправо от последнего волнореза и отшатнулся, словно его внезапно ударили в грудь, где сердце,— на волнах качался круглый, опутанный водорослями металлический шар с рогульками. Мина!

Пятьсот килограммов тротила. Такая выметет пляж и набережную силой своей варывной волны. И теплоход с туристами. Осколки ударят по нему, просвистят над городом. И кто знает, что встретят на пути.

«В порт. Бежать в порт и вызвать катер. Это нужно сделать быстро, как никогда... Нет, поздно... не успеть».

Парень в джинсах напомнил о себе, тронув Карауша за плечо.

«Это сделает он,— подумал Андрей.— Он побежит в порт и поднимет тревогу. А я не дам ей прыгнуть на скалы...»

Карауш внимательно посмотрел на владельца бинокля и тихо, но внятно приказал:

— Смотри в створ волнореза... быстро.

Парень вскинул бинокль. Карауш увидел, как кровь отхлынула от его загорелого лица.

— Теперь только бегом, и без паники,— спокойно произнес старший лейтенант.— Сначала на пляж, найдешь милиционера, скажешь все как есть. Пусть очистят от людей пляж и набережную. И пусть звонят в порт — нужен катер, самый быстрый...

— А вы? — задохнулся парень.

— Беги... Я придержу ее.

— А как вас?..

— Старший лейтенант Карауш.

Андрей сбежал вниз, раздеваясь на ходу. Прежде чем прыгнуть с волпореза, он взглянул в сторону мины и понял, что ошибся во времени. В незащищенной молом части бухты ветер оказался сильнее, чем он предполагал. Мина достигнет отмели с торчащими из воды камнями через какие-нибудь считанные минуты.

Карауш резко оттолкнулся от края волпореза и ушел под воду. А когда вынырнул, увидел мину совсем близко. Пенные гребешки жестко хлестнули по глазам. Андрей пошел широким брассом, распластываясь на воде сильным гибким телом. Было невыносимое желание оглянуться на берег: сработал ли парень в джинсах? «Потом, потом, когда закреплю ремень на кольце минрепа», — приказывал себе пограничник. Ремнем от брюк он перепоясился еще там, на волнорезе, надеясь с его помощью буксировать мину.

Она покачивалась в трех замахах руки от него. Среди тонких нитей водорослей торчали покрытые белым палетом рога гальваноударных колпачков. Свинцовые колпачки, побуревшие от долгого пребывания в воде и изъеденные солью, казались необычайно хрупкими.

Карауш вытянул руки вперед и коснулся железного тела мины. Ржавый обрывок минрепа хлестнул по воде, пограничник схватил его правой рукой и тут же отдернул — обрывок троса ужалил ладонь острыми стальными заусенцами.

Волна вскинула мину на гребень. Карауш нырнул, чувствуя, как холодеет сердце, и вынырнул где-то позади металлического шара, потом снял ремень и осторожно подплыл к мине.

Обдирая ладони о ржавый кусок троса, Андрей мертвой хваткой вцепился в рым. Теперь он вместе с миной то взлетал на гребень, то падал вниз, выбирая момент, чтобы захлестнуть ремennую петлю за неподвижное кольцо минрепа. Наконец ему это удалось, он отпустил рым и бешено заработал ногами.

Зыбь мешала движению. Она раскачивала мину и вместе с новой волной приближала к берегу.

Плыл Карауш почти автоматически, загребая правой рукой, понимая, что стоит на месте. Он чувствовал, как с каждым гребком силы оставляют его, но видел краем глаза огромный белый теплоход, медленно входивший в тесное полукружие бухты, и напрягал свое усталое тело,

чтобы сдержать железный шар, готовый в последнем прыжке достигнуть отмели.

Карауш не думал о катере, который, по его подсчетам, должен был уже выйти из порта. Его помыслы сосредоточились на одном — не выпустить ременной петли.

Андрей захлебнулся и рванулся в смертельной тоске, выталкивая из горла соленую горечь воды. Мина словно ждала этого момента — она ударила его по голове. Карауш выпустил ремень, и в ту же секунду ноги его коснулись подводной скалы. «Отмели!» — пронеслось в сознании.

Прибойная волна подхватила мину, задержала на гребне, но, прежде чем тяжелый шар рванулся вниз, Андрей с обретенной вдруг легкостью стремительно пронырнул гребень и встал спиной к скале — одному из пяти каменных пальцев. Пограничник уперся руками в скользкий, крутящийся корпус мины, отжимая ее в сторону моря.

Упрямый груз пригибал руки к подбородку; перед глазами, словно винтовочный ствол, вздрагивал тупой, покрытый белым налетом колпачок ударника.

«До девятой волны я выдержу, — мелькнула мысль, — только до девятой, которая перебросит мину через меня...»

Ему казалось, что он видит ее, эту самую мощную волну, рожденную в открытом море странной закономерностью или прихотью природы.

— Эй!.. Старшо-ой!.. — внезапно донеслось из-за камней.

Андрей скосил глаза вправо и увидел спасательную шлюпку. Она ходко двигалась от берега к камням отмели. В гребце Карауш узнал парня в джинсах. Он ловко подогнал шлюпку к скале и выпалил скороговоркой:

— Спасатели шлюпку бросили... И я к тебе... Вот канатик захватил па всякий случай!

От этого веселого, напористого баритона Караушу сделалось спокойно и легко. И он подумал: «Увижу Николку».

— Бросай сюда конец, вытрави метров десять и не вертись возле железяки, — строго сказал Андрей.

— Э-э, да тебя совсем укачало, — вглядываясь в угрюмое, заострившееся лицо старшего лейтенанта, пробормотал парень.

Он бросил конец и затабапил веслами, удерживая шлюпку на месте.

Карауш продел левой рукой конец в кольцо минрепа,

ощущая всем телом тяжесть мины, и, когда обратная волна с берега чуть качнула рогающую смерть от скалы, быстро обеими руками завязал его морским, мертвым, узлом.

— Гребя! — жгучим, как плоть, голосом крикнул пограничник и, вытянув руки, что есть силы толкнул мину от себя.

Теперь он только смотрел, как медленно, неспешно уползает от него она.

Сильным был этот парень в джинсах. Греб широко, захватисто.

— А что же катер? — запоздало крикнул Карауш, чувствуя, как немеют израненные об острые края подводных камней ступни ног. И тут же увидел пенистый бурун со стороны порта.

БАЛЛАДА О ДЕМУШКИНЕ

Алексей Демушкин не вернулся с войны. В списках погибших

Алексей не значился. Он пропал без вести в апреле 1942 года.

Спустя много лет в места, где он служил на заставе, приехала его мать — Прасковья Александровна Демушкина, маленькая, сухонькая женщина.

Ее встретили на станции, усадили в быстходный газик.

Дорога шла в обход Мертвой долины, но пожилой майор-пограничник приказал шоферу ехать напрямиком.

Шофер удивленно взглянул на майора, хотел что-то сказать, но только пожал плечами.

Стояло короткое северное лето. Тундра, поросшая карликовой березой и хилым кустарником, покрылась зеленою ягодников, седыми проплешинами ягеля. На десятки километров раскинулась суровая, безжизненная земля, увенчанная кое-где гладкими, оставшимися от древнего ледника валунами.

Почва под колесами пружинила, раскачивала машину. Майор напряженно смотрел вперед, словно ожидая появления чего-то примечательного, чрезвычайно важного.

Они проехали мимо крошечного домика с прогнувшейся крышей и заколоченными окнами, и майор, не останавливая машины, коротко сказал:

— Отсюда он вышел...

Прасковья Александровна долго оглядывалась па этот неприглядный, забытый домик. Майор все так же напряженно смотрел вперед, и шофер, догадавшийся о причине такого внимания, негромко сказал:

— Сейчас, товарищ майор... Вон за тем увалом...

Пять невысоких молодых кедров открылись сразу, как только газик вскарабкался на скалистый взгорок.

Прасковья Александровна коротко вскрикнула, схватилась за грудь, будто кто ударил ее внезапно и сильно: седенькая голова ее беспомощно мотнулась набок.

— Воды...— приказал майор.

Шофер торопливо протянул флягу и остановил машину.

Никто не знал, как проросли кедры на этой студеной безлюдной земле. С годами деревца окрепли, набрали силу.

Поддерживаемая майором, Прасковья Александровна прошла к деревцам.

— Он здесь... мой Ленья,— тихо и уверенно сказала она, трогая сухими старческими руками юную светло-коричневую кору кедра.

Майор молчал. Он и сам догадывался, что именно здесь припал свой последний бой его солдат. Но прошла война и столько лет потом.

Прасковья Александровна стояла между деревцами.

Майор снял фуражку. Тундра не хранит следов. Вот только кедры... Они о чем-то говорят его матери.

Шаг. Еще шаг. Теперь можно и оглянуться. Алексей уперся палками в снег и быстро повернул голову.

На белом плато все так же чернели шесть точек.

Идут по следу. Тренированные в специальных школах, они стреляли бы, но было очень далеко.

Алексей один. И свинцовой тяжестью колосников налиты его ноги. Скоро двенадцать часов, как фашисты идут за ним.

Алексей увидел их на рассвете. Пурга, гулявшая трое суток, поутихла, и в белесом небе на фоне невысокого апрельского солнца ясно читался силуэт немецкого самолета. Он уходил на запад, а совсем рядом висели семь парашютных куполов. Они медленно плыли к земле, и пограничник сорвал со спины винтовку.

Может быть, он и не поступил бы так опрометчиво, если бы не догадался, что обнаружен десантом. Демушкин услышал стрекот автоматов и лег в снег.

Алексей, тщательно прицеливаясь, стрелял в парашютистов, но расстояние было слишком велико, и он не знал, удалось ли ему достать хотя бы одного из диверсантов.

Узнал он об этом немного позже, когда легко заскользил на лыжах в сторону океана, где на побережье несли службу морские патрули.

Вокруг расстилалось заснеженное плато, тропутое скудным весенним солнцем.

Сержант Алексей Демушкин уходил на север. Он догадывался о цели десанта. Метеостанция, спрятавшая в долине, — вот что интересовало немецкое командование. Английские и американские конвои аккуратно получали сводку погоды на подходах к Кольскому полуострову. «Ловцы погоды» в Мертвой долине были важным звеном в цепи арктических метеостанций.

В крохотном домике жили и работали трое: пожилой неразговорчивый метеоролог Федор Федорович, младший техник Горюпов — бледный, тонкий, как тростник, юноша и радистка Маша, крупная, ширококостная девушка из Костромы. У них были две винтовки и полсотни патронов, но умел ли кто из троих стрелять, Демушкин не знал.

Один раз в неделю прилетал в Мертвую долину «кукурузник» с почтой. Самолет привозил письма для защитников пограничной сопки.

Демушкин понимал, что он — единственный свидетель десанта и фашисты не успокоятся, пока не уничтожат его.

В одну из коротких остановок сержант пересчитал патроны — их было тринадцать. Иногда он слышал шорох пуль, взбивавших снежную пыль далеко позади, и тогда жалел, что не взял с собой бинокль.

Хотелось есть и спать. От постоянного движения, белого снежного мелькания болела голова. Но уснуть он себе не давал. В полузабытьи, которое все чаще охватывало его, перебирая в голове мысли, он отбрасывал их одну за другой, оставляя только одну — о матери. И тогда вспоминалось детство и далекое сибирское село, затерянное в бескрайней тайге.

Он вспоминал мать еще и потому, что в вещмешке, что покачивался за спиной в такт его движениям, лежала посылочка из родного дома — берестяной туесок с кедровыми орехами.

Получая на метеостанции посылку и письма для бойцов, Демушкин добрым словом помянул своего командира старшего лейтенанта Гальцева, отпустившего его в столь необычное путешествие.

Участок фронта, на котором воевал Демушкин, был единственным местом, где фашистам не удалось перейти границу. И пограничный столб, вытесанный из гранита, иссеченный осколками, возвышался так же незыблемо, как до начала войны. Пограничники, усиленные стрелко-

вой ротой, зарылись на вершине и скатах скалистой сопки и успешно отражали бесчисленные атаки врага.

Огневой вал фашистской артиллерии не раз прокатывался по сопке. Казалось, ничто живое не может уцелеть на этом огнедышащем вулкане. Но стоило густым вражеским цепям приблизиться к пограничному столбу, как оживали сложенные из обломков грапита окопчики и вырубленные в сопках дзоты.

Грохот боя докатывался и сюда, на безлюдное плато, и Демушкин тревожно прислушивался к приглушенному расстоянием рокоту орудий.

Алексей не мог избавиться от ощущения, что без него там, на сопке, может случиться страшное и непоправимое — фашисты перейдут границу.

Он оглянулся. На сугробах лыжня заметнее, чем на твердом насте. Алексей свернул на голый лед, пытаясь сбить след. Огибая полупетлей грудь валунов, свернул в сторону.

С океана ползли темные лохматые тучи. Порывы ветра сдували снег, и тундра словно дымилась. Поземка замечала след.

Впервые за все время погопы Демушкин подумал, что может уйти от преследователей.

Он уже свыкся с этой мыслью, как вдруг услышал выстрел. Пуля обожгла шею. Демушкин пригнул голову и оглянулся. Не далее чем в двухстах метрах маячила фигура в белом маскхалате. Остальных преследователей скрывала снежная пыль, поднятая ветром.

«Попяли, что могу уйти, и сделали рывок», — догадался Алексей и достал из-за спины винтовку.

Густые капли крови падали на воротник шинели и шариками скатывались по спине на снег, пятная его красными точками.

Сержант положил винтовку на скрещенные лыжные палки, воткнутые в наст, — от постоянного напряжения у него дрожали руки — и тщательно прицелился.

В ледяном безмолвии выстрел прозвучал раскатисто, гулко. Фигура в маскхалате, взмахнув руками, рухнула в снег.

И тотчас застрекотали вражеские автоматы. Пули зацвенькали рядом с пограничником.

Велик был соблазн захватить автомат убитого десантника. Демушкин уже хотел рвануться к месту, где распластался фашист, как вдруг его пронзила простреля и яс-

пая мысль: «Метеостанция. Если он погибнет, фашисты доберутся до нее».

На какое-то мгновение перед ним возникло лицо радистки Маши, светлое, с широко раскрытыми, словно испуганными, глазами.

Алексей рванул палки, развернул лыжи и широким переменным шагом заскользил между камней. Обглоданный туманами и робким теплом весны снег громко шуршал под лыжами.

Ветер, как это бывает на севере, внезапно стих. Посветлело. Мелкая пороша, точно пыльца цветущей ржи, повисла над долиной.

Алексей взобрался на гребень и с высоты увидел преследователей. Они шли полукругом — пятеро в длинных маскахалатах.

С гребня же призрачно просматривалась полоска горизонта, светлая, как перья зари. Там был берег. Демушкин несколько мгновений зачарованно смотрел туда. Где-то стороной плыли звуки, похожие на стрекот швейной машины. Алексей не воспринимал их, им владело странное, ранее не знакомое чувство безразличия.

Усталость все же подкараулила его. Не было сил сделать еще хотя бы шаг. Мышцы словно одеревенели.

Кончился короткий северный день. Солнце исчезло, расплавляя свои края по линии пепельного горизонта. Сгустились сумерки.

Демушкин подумал, что лучшей позиции у него не будет. Даже если он соберет остаток сил и, преодолевая себя, уйдет отсюда, до берега ему все равно не добраться. Это он знал точно.

Алексей лег за камни, сбросил с правой руки варежку, коснулся снега. словно погладил ледяной бархат. В третий раз за день осторожно достал из-за спины винтовку. А заодно и вещмешок с письмами и посылкой.

Сложил письма горкой и чиркнул спичкой. Бумага запылала быстро и горела недолго. Костерок выжег в снегу небольшую лунку и достал землю. Демушкин развязал туесок с орехами и высыпал содержимое в лунку.

В посеревшем небе нарождались звезды.

Туесок пах кедром, молодой смолой. Так когда-то пахли руки матери. Демушкин не знал, пойдут ли в рост оставленные им семена, но ему хотелось не исчезнуть бесследно на такой большой и такой маленькой планете.

Все в Демушкине кипело от предчувствия чего-то

страшного и неотвратимого. Огромное возбуждение сжигало его. Голос, который Алексей слышал в себе, смешивался с шорохом ползущих парашютистов, треском автоматов, который был таким сильным, как биение его сердца.

Косые человеческие тени, словно огромные римские цифры, переплелись и надвинулись на гребень.

Алексей лег на живот, не снимая лыж, разбросав поги в стороны, и осторожно выглянул из укрытия. Немцев теперь было четверо. И шли они медленно.

Как ни всматривался Демушкин в сутень долины, пятого парашютиста он не обнаружил.

Он выстрелил, когда немцы подошли совсем близко. Фашисты залегли и открыли огонь из автоматов, осыпая скалу, за которой укрылся пограничник, градом пуль.

Алексей покинул укрытие и пополз вдоль каменного козырька влево, туда, где копчалась гряда.

Он долго выцеливал ближнего от себя немца и радостно вскрикнул, когда, прошив пулей, тот вскинулся на снегу и остался лежать расплывчатым пятном.

Теперь, уже не таясь, Демушкин встал на колени и посылал пулю за пулей в ненавидимые распластанные фигуры. Он стрелял на всплеск автоматных вспышек: сгустившаяся темнота не давала прицелиться. Но по тому, как треск автоматов стал реже и одна из пульсирующих огнем точек погасла, Демушкин догадался, что сразил еще одного фашиста.

Внезапно он ощутил боль. Она навалилась на него сразу, острая, нестерпимая, разламывающая голову. Алексей понял, что ранен. Сорвал шапку, торопливо зачерпнул горсть снега, приложил к лицу. Теперь он видел автоматные вспышки сквозь розовую пелену, снег под ним быстро темнел, но Демушкин все еще стоял на колене, выставив левую ногу вперед.

Горячим и острым обожгло спину. «Пятый здесь», — скользнула мысль. Демушкин, преодолевая боль и слабость, тяжело обернулся и вскинул винтовку.

Фашист стоял в десяти шагах и готовился метнуть гранату. Немец успел бросить гранату, но тут же рухнул, сраженный последним прицельным выстрелом пограничника.

Варыв оглушил Алексея, он упал на спину, неловко подвернув ногу. В забытьи ему помешалось, что кто-то прямо из-за гребня швырнул в студенистый мрак пригоршню звезд. Теплые и сырые, они завязли в клейком небосводе, но одна горела ярче всех.

КРЕСТИНЫ

Они встретились ему на обочине дороги. Пятеро, в каких-то страшных лохмотьях, с деревянными колодками на ногах вместо ботинок. Ребята стояли цепочкой и равнодушно смотрели на проходящие войска.

Капитан Гаин окликнул их по-польски:

— Гей, хлопцы! У кого хата вольна?

Ребята молчали.

— Ну что ж... Не разумеете, о цом пытам?

— Нет,— вдруг сказал старший из них.

— Вы немцы? — уже по-немецки спросил капитан.

— Нет,— снова сказал паренек.— Мы поляки. Но господин комендант не хотел, чтобы говорили по-польски.

— Чертовщина какая-то,— пробормотал Гаин.— А где ваши родители — отец, мать?

— Нет,— грустно сказал мальчуган.— Нет матери.

— Так. Понятно,— сказал капитан,— из лагеря мальчонки.— И остановил проходящего мимо старшину: — Слушай, Зуйков, прихвати с собой этих ребят. Хорошо бы им вымыться и поесть.

— Есть. Сделаю, товарищ капитан.

Старшина беспричинно улыбался, и Гаин махнул рукой — иди.

Он слышал, как старшина выстраивал ребят в колонну, как скомандовал: «Шагом марш», но воспринимал все это сквозь захлестнувшую его волну радости, не проходящую вот уже несколько дней. Он знал это настроение, он уже испытывал его не раз. Это была радость наступления. Армия в Польше. А три года назад он, лейтенант Гаин, с боями выходил из окружения под Минском, и все тогда казалось нелепым, жутким и непонятным.

Гаин подумал о старшине, о его улыбке и решил, что старшина улыбался по той же причине, по которой он, капитан Гаин, начистил сегодня сапоги до блеска, несмотря на весеннюю распутицу и грязь.

Наступление.

Городок, по которому проходили войска, лежал в развалинах. На пожарищах чернели задымленные трубы, и только костел со срезанной колокольной казался уцелевшим, хотя и его основательно поклевало снарядами.

В городе объявились жители, такие же неожиданные среди пепелищ, как неожиданны были отдающие холодным, но ярким и нарядным блеском отраженного неба лужи на влажном разбитом шоссе.

Лес припадал к шоссе вплотную. Гаин углубился в чащу, где, по его предположению, находилась санчасть, и остановился пораженный. Над головой стояли обглоданные войной деревья, высокие и прямые столбы обезглавленных сосен.

«Сильный артналет», — определил капитан, рассматривая иссеченную осколками кору. Ему пришла в голову странная мысль: «Где же врач, что залечит такое?»

Раньше Гаин никогда не думал об этом. Мало ли видел он сгоревшего, сраженного, обезглавленного за годы войны. Но сейчас иссеченные стволы деревьев, открытые рваные раны их, заплывающие мутловатым весенним соком, рождали в Гаине глухую боль. Вернулась утраченная острота ощущений. Весна и в нем, Гаине, нашла добрые, теплые струны и, прикоснувшись к ним, заставила немного по-другому взглянуть на мир. Он уже не мог не думать о ребятах, встретившихся ему на обочине дороги. Гаин вспомнил о них вечером, когда, намотавшись за день, зашел к разведчикам и увидел у них среди разного трофейного хлама коробку с печеньем.

Капитан прямо и грубовато спросил:

— Не ограблю, если заберу у вас эту коробку?

Молодой смешливый лейтенант с фасонистыми стрельчатыми усиками беззлобно ухмыльнулся:

— Сестричке в медсанбат... презент, так сказать?

— Угадал. Презент... — подмигнул лейтенанту Гаин и положил коробку с печеньем в полевую сумку.

Ему хотелось увидеть ребят еще раз. И теперь он радовался, что придет к ним не с пустыми руками.

Старшина Зуйков рассказал, что детей приютил батальонный повар. Кухню Гаин отыскал без труда. Под навесом на разостланном брезенте спали все пятеро, заботливо укрытые шинелями. Повар Кузьма Филиппович, пожилой вислоусый солдат, вышел на шорох шагов из палатки.

— Будете кушать, товарищ капитан? — спросил он, радуясь всякому случаю покормить командира.

— Сыт, Кузьмич. Как они?

Гаин кивнул на спящих.

— Дети... — грустно сказал повар.

Капитан сел на печь напротив, долго и пристально разглядывал ребят. Они постанывали во сне, коротко вскрикивали, ибо сон был продолжением той жизни, которой они жили совсем недавно. Гаин подумал, что еще долго та, другая, странная жизнь будет приходить к ним по ночам и будоражить мозг, заставляя вздрагивать и поднимать руки, болезненно морщить лицо, задыхаясь от чего-то едкого и липкого.

Гаин сдержанно кашлянул в кулак, чтобы не разбудить спящих, но двое проснулись. Увидев капитана, они вскочили. Вытянулись — руки по швам, лицо прямо, взгляд в пространство. «Так учили», — подумал капитан и сказал по-немецки:

— Можно стоять вольно. — Потом спросил белесого колопатоного мальчугана: — Кто ты? Как тебя зовут?

— Не знаю, — вытянувшись, как на допросе, пробормотал тот.

— А все же? Как тебя называли в лагере?

— Номер 1448...

— А тебя? — спросил Гаин второго.

— Номер 1357...

Проснулись остальные. Тоже вскочили и встали вытянувшись.

Гаин растерялся. У людей не было имен. Он не знал, как называть каждого. Он пришел сюда, чтобы поговорить с ними, может быть, посмеяться вместе и съесть трофейное печенье в коробке.

— Дети, — как можно мягче сказал Гаин, — вы теперь свободные люди, и не нужно перед каждым военным человеком стоять «смирно».

Ему предстояло объяснить ребятам, зачем он поведет их сейчас в штаб полка, но он не знал, как это сделать. Дети смотрели мимо него, Гаина. Они не сводили глаз с Кузьмы Филипповича, грустно сидящего на раскладном стульчике возле палатки.

Тогда Гаин позвал их:

— Идите за мной...

Он увидел слезы у самого маленького и понял, что тому не хочется уходить от кухни и повара Кузьмы Филипп-

повича, тоже подозрительно поблескивающего влажными глазами.

— Мы придем опять сюда,— сказал капитан и отвернулся.

Штаб полка размещался в полусожженном особняке с крыльцом и балконом. Командир полка, седоватый грузный человек, сидел за обеденным столом и разговаривал по телефону. Провода от телефонного аппарата тонкими змейками уползали в открытое окно.

— Бездомные? — кивнул подполковник на ребят.

— Безымянные, товарищ командир... Сидели в специальных лагерях. Говорят только по-немецки, хотя сами поляки.

— Вот как?..

— Местной власти в городе нет,— продолжал Гаин,— значит, вы, товарищ подполковник, должны дать им имена.

— Так уж и я. Может, ксендза позвать?.. Деликатное дело-то. Он их и паречет. Самим все-таки неудобно. Пироженко! — позвал подполковник. Из соседней комнаты выскочил дежурный по штабу, совсем еще юный лейтенант. — Ксендза ко мне, и побыстрей. — Лейтенант козырнул и исчез. — Я скоро роды принимать буду,— усмехнулся подполковник. — Поп, а не командир полка. Крестины затеял, капитан.

Казалось, что подполковник сердится. Но глаза его из-под пасупленных кустистых бровей смотрели ласково.

Лейтенант вернулся с высоким худым человеком в черной сутапе. Ксендз сдержанно поклонился и сел на предложенный стул.

— Капитан, объясните, что требуется от него,— сказал подполковник.

Гаин на ломаном польском языке, как мог, пояснил ксендзу, зачем его позвали.

Ксендз стал торжествен, поднялся со стула и простер вперед правую руку.

— На колени,— сказал он по-польски.

Дети не понимали. Они стояли у стены, переминаясь с ноги на ногу, и смотрели на капитана.

Гаин сломал в руке папиросу, приблизился вплотную к ксендзу:

— Может быть, обойдетесь без этого...

Ксендз кивнул, стал менее торжествен, но все же параспев произнес, подходя к старшему мальчику и дотрагиваясь рукой до его головы:

— Анджей...

Мальчуган молчал потупившись.

Подполковник поднялся из-за стола.

— Может быть, опи сами... Объясните им, капитан.

Гаин сказал старшему по-немецки, что он сам может выбрать себе имя. Тот кивнул в знак того, что понял сказанное, и в свою очередь спросил капитана, как зовут человека при кухне.

Подполковник, понимавший по-немецки, удивленно спросил:

— Батальонного повара, что ли?

— Его, товарищ подполковник, Кузьму Филипповича. — Гаин посмотрел прямо в глаза мальчугану и четко, раздельно произнес: — Кузьма.

— Я — Кузьма, — тихо сказал мальчик.

— И я...

— И я...

— И я...

— Все хотят быть Кузьмой, — грустно усмехнулся Гаин, — но так, наверное, нельзя...

— Почему же? — задумчиво произнес подполковник. — Он согрел и накормил их, как это сделал бы только отец. Все правильно, капитан. А как считает пап ксендз?

— Так можно, — сказал ксендз.

— Пироженко, приготовьте соответствующие бумаги, — весело распорядился подполковник. — Кстати, как фамилия повара?

— Бородин, товарищ подполковник, — отозвался Гаин.

— Тоже звучит...

Подполковник вышел из-за стола, подошел к неподвижно застывшим ребятам, поцеловал каждого в лоб.

— Живите... Кузьмичи.

— Кузьмичами будут их дети, — улыбнулся Гаин.

— Будут, — согласился подполковник. — Для этого воюем...

В ОЖИДАНИИ ДНЯ

Капитан Николай Стрешний направлялся в штаб полка, когда

из мирного весеннего облака вывалилось звено «юнкерсов». Бежать в укрытие было далеко, и капитан лег прямо посередине улицы.

Вадыбилась земля. Бомбы ложились веером, их прощительный свист оглушал, вжимал в землю. Где-то совсем неподалеку коротко и зло лаяли наши зенитки.

Отбомбившись, самолеты ушли на запад. Капитан поднялся с мокрой, расквашенной дороги и невесело оглядел себя. Грязь разукрасила его. Он поискал глазами колодезный журавлик.

В стороне от дороги, в глубине улочки, рядом с деревянным домиком, белел колодезный круг, выложенный камнями. Стрешний направился к колодцу, как вдруг услышал музыку. Играли на скрипке. Капитан прошел через дворик, постучал в закрытый ставень. Никто не отзывался. Тогда он толкнул двери в дом и очутился в довольно просторной комнате, которую освещал тусклый свет догорающей в канделябре свечи. Стрешний увидел девушку. Она сидела на табурете, держа у плеча скрипку, а перед ней стоял мальчик лет шести.

Стрешний до войны изучал языки и сносно говорил польски.

— Извините за вторжение, — сказал он вежливо. — Если я помешал, я уйду... Меня зовут Николай Стрешний.

— Прошу проходить в дом, — тихо произнесла девушка. Выражение ее лица было угрюмым и отчаянным одновременно. — Я нужна пану? — спросила она после паузы.

Капитан смутился и быстро спросил о мальчике:

— Это ваш брат?

— Это Кастусик. Он ничей...

— Понятно, — пробормотал Стрешний. — Разрешито взглянуть на скрипку.

— Пан музицирует?

— Нет. Просто хочется взглянуть...

Девушка протянула ему скрипку:

— На ней играл мой отец. Он был учителем музыки.

Стрешний погладил скрипку. Глаза девушки потеплели. Она оглядела капитана и тихо спросила:

— Вы прятались в земле?

— Да. Пришлось искупаться,— усмехнулся Стрешний и продолжал: — Почему вы играли сейчас?

Девушка кивнула на Кастусика.

— Я играю ему, когда начинают стрелять...

Стрешнего осенила простая, ясная мысль: концерт для солдат. Была весна большого наступления. В этом городке батальон задержался на несколько дней из-за переформирования. Ждали пополнение. Пусть и «старички» и новенькие послушают скрипку.

И Стрешний спросил без обиняков, по-хозяйски, почти уверенный в том, что отказа не будет:

— Вы сыграете моим солдатам?

Девушка опустила голову, взглянула исподлобья так же отчужденно, как и в начале разговора:

— Пусть пап офицер простит меня. Я плохо играю на скрипке.

Она положила скрипку в черный футляр и замерла у окна.

— Как вас зовут?

— Агнешка...

— Вы позволите поведать вас? — спросил Стрешний. — Я бы хотел помочь мальчику с одеждой.

Девушка взглянула на босые ноги Кастусика, сдержанно кивнула.

Весь день капитан провел в хлопотах. То занимался с повивками, бросая их в «атаку», то организовывал баню. Пришлось ему съездить и в медсанбат к раненому другу лейтенанту Савушкину, и за новыми картами в штаб дивизии.

Но за всеми делами не забывались грустная Агнешка и испуганный Кастусик.

Так, задумавшись, он приехал к разведчикам, которые пригласили его на ужин.

Был тот час весеннего вечера, когда земля тихонько потрескивает под ногами, а деревья вздрагивают от чего-то сильного и сладкого, текущего в их жилах. Мокрые ветки ветел провисли до самой земли и казались неподвижными.

Разведчики обосновались в глубине леса. В золе погасшего костра доходила картошка. Срубленный на скорую руку стол возвышался между палаток. «Культурно живут», — подумал капитан. Он принадлежал к числу тех людей, которые, считая войну тяжелой, опасной работой, ценили аккуратность и умение приспособиться к обстоятельствам.

Командир разведгруппы старший лейтенант Горделадзе был само гостеприимство. Он щелкнул пальцами, и старшина извлек из вещмешка и поставил на стол бутылку коньяка. Старший лейтенант еще раз щелкнул пальцами, и, словно подчиняясь этому жесту, вдруг ахнула за лесом земля. Послышался характерный для авиационных моторов гул.

— Могли бы на часик и опоздать, — проворчал Горделадзе.

Стрешний быстро подошел к полевому телефону.

— «Заря», усилить наблюдение, — приказал он, пригнулся и побежал навскосок поляпы по тропе, ведущей в городок.

Вскоре Стрешний уже перемахнул изгородь у знакомого дома и принял к окну. В щель между шторами он увидел Агнешку и Кастусика. Девушка стояла в нижней рубашке посреди комнаты со смычком в правой руке, прижимая подбородком скрипку. Кастусик, сгорбившись, замер у стены и широко раскрытыми глазами смотрел на Агнешку.

Через короткие мгновения один за другим грохнули два сильных взрыва. Дом вздрогнул, качнулся. Капитан рванул дверь — она была на запоре. Тогда он разбежался и ударил в нее плечом. Дверь распахнулась.

Агнешка сжалась, стыдясь, что не одета, и холодно, исподлобья взглянула на капитана:

— Что угодно пану?

— В укрытие... живо.. — крикнул Стрешний и подхватил Кастусика на руки.

— Вы не смеете трогать нас, — дрожащим голосом произнесла Агнешка, — вы насилуете нашу волю...

— Не понимаю, о чем говорит пани, — так же холодно ответил Стрешний и выхватил из рук девушки скрипку. — Следуйте за мной, — добавил он тоном приказа, направляясь к дверям.

Через минуту Агнешка, уже одетая, шла за ним с футляром в руках.

— Мы арестованы? — спросила она.

— Да, — сухо сказал капитан и, пригнувшись, заспешил через огороды к земляному валу, где были отрыты щели.

Агнешка шла прямо, словно не ведая того, что творилось вокруг. А Стрешний вставал и падал, не выпуская из рук Кастусика, не оглядываясь на Агнешку, которая так и не пригнулась.

Они спускались в щель в призрачном свете осветительных ракет, и Агнешка успела заметить улыбку капитана. Он смотрел на Кастусика.

— Не плачет... Мужчина... — Потом он протянул девушке скрипку: — Возьмите, кажется, цела... Все, кажется, целы... Будет холодно, но это ничего.

Налет длился долго. Видимо, гитлеровцы пропюхали, что недалеко от городка, в лесу, размещен склад с горючим для танков. Им хотелось уничтожить его, но бомбили они наугад и пока только зажгли несколько автоцистерн, случайно оказавшихся на дороге.

Когда капитан с Кастусиком и Агнешкой вышли на улицу, было тихо. Только где-то в лесу жалобно поскрипывало дерево, расщепленное осколком. Стрешний освещивал фонариком. И в его свете впереди мелькали какие-то тепы, слышался приглушенный говор.

Они пошли к тому месту, где стоял дом. Дома не было. Черная развороченная земля поблескивала в луче фонарика.

— Прямое попадание, — пробормотал Стрешний и обернулся. — Счастливая вы... долго жить будете. Идемте искать приют... Ночь на дворе...

...Агнешка проснулась оттого, что больно сжалось сердце. Глухо застонала, открыла глаза и тотчас прижала ладонь ко рту. Рядом зашевелился Кастусик.

— Что это?.. — пробормотала девушка. — Зачем такой сон?

Она лежала на спине и смотрела в потолок. Странные тени бродили там. Их передвигал легкий ветерок на улице.

Стрешний привел Агнешку и Кастусика в здание школы, где размещался штаб полка, и устроил их в свободной комнате-классе. Он раздобыл им по соломенному матрацу, оставил на столе галеты, сахар и ушел. Перед уходом капитан кусочком мела что-то написал на классной доске. Было темно, и Агнешка не разобрала, что он написал.

Теперь она тихонько встала, оделась и на цыпочках подошла к доске. Девушка различила в полутьме буквы, но никак не могла сложить их в слова. Тогда она отошла от доски и стала ждать, пока глаза привыкнут к мягкому полусвету, который просачивался в продолговатые окна класса.

Слова на доске словно выплыли из темной глубины, и девушка сумела прочесть: «Доброе утро, Агнешка».

Она выбежала из комнаты. Городок спал. Чистые, будто протертые снегом, сияли над ним звезды. Ничто не нарушало тишины.

Черная асфальтированная, смоченная росой дорога, по которой она шла, походила на застывшую реку. И все вокруг было нереальным, призрачным.

Агнешка вдыхала пьянящий воздух весны, и что-то беспокойно-радостное просыпалось в ней самой.

Потом она вышла на просеку. Кто-то лопотал в лесу, хлопал. Листья просились из почек наружу. Росистое поле слегка пружинило под ногами прошлогодней травой.

Внезапно дрогнул молодой осипник, чавкнул черпозем под чьим-то сапогом.

— Стой! Кто идет? Пароль?

Девушка качнулась назад, прижала руки к груди, растерянно спросила:

— Что есть пароль?

— Кто ты? — все так же резко спросил глухой голос. — Зачем?

— Я шла... в лес... Там есть пан офицер... Николай...

Из-за деревьев вышла темная фигура в плащ-палатке:

— Капитана, что ли, искала?

— Капитана... то так...

— Спит, наверное, капитан. А у тебя к нему дело?

— Дело... так.

— Чубенко! Смотри тут, — крикнул солдат в туманную мглу. И толкнул легонько Агнешку.

Стрешний спал рядом с палаткой в трофейном спальном мешке.

Заслышав шаги, он проснулся, отбросил клапан над головой и увидел солдата и Агнешку.

— К вам, товарищ капитан, — шепотом доложил солдат. — Говорит, дело.

— Иди, — коротко распорядился Стрешний.

— Я так ходила... не могла спать,— заговорила Агнешка,— такой сон... Солдат спрашивал пароль. Я сказала, что ищу вас... Извините...

Она стояла над ним в сумрачном свете просыпающегося утра с не стряхнувшими дремоту глазами, зябко кутаясь в старенький жакет.

Капитан смущался еще и оттого, что не мог предложить ей сесть. Трава вокруг сыро поблескивала.

— Вы отвернитесь, я встану,— решил Стрешний.

Она слышала, как он шуршал одеждой. Слышала, как кто-то завозился в палатке и встревоженно спросил:

— Это вы, товарищ капитан?

— Спи, спи. Курить захотелось...

Агнешка почувствовала, как ей на плечи легло что-то тяжелое и теплое. Она вздрогнула и пригнула голову. Шпатель хранила чужое тепло.

Они прошли немного в глубь леса.

— Холодно еще по утрам...— сказал Стрешний.

— Так...

— Вы испугались?

— Чего?

— Часового, может быть...

— Мне приснилось, что вас убили...

Впoreди за деревьями тускло блеснула вода. Странно выглядело это болото. Оно было голым, без камыша, и вода в нем стояла черным зеркалом.

На болоте кто-то всхлипнул. Тонко закричала птица.

— Не спят птицы...— сказал Стрешний и обвел взглядом обглоданные войной деревья, непомерно высокие и прямые стволы обезглавленных сосен.

— Они все равно соведут свои гнезда...— тихо произнесла Агнешка.

Стрешний усмехнулся:

— А люди вернутся к своим, и все будет, как было. Это жизнь.

— Все будет, как было,— сказала Агнешка.— Только такой почи ни у кого в другой раз не случится. И такого утра... Я хочу сыграть вашим солдатам... сегодня...

Стрешний внимательно взглянул на девушку. Она подняла на него грустные глаза, особенно светлые от больших черных ресниц. И протянула ему руку — тонкую холодную кисть. Он взял эту руку, наклонился и прижал ее ладонью к своему виску. И ощутил силу мгновения, емкого, как вечность...

Они шли по просеке и смотрели, как загорался туман. Стрешнему было знакомо это ожидание нарождающегося дня. Сколько времени за войну провел он в ночных бдениях, наблюдая восход! И всякий раз казалось, что солнце вдруг появится из-за горизонта каким-то другим, совсем обновленным.

Но и сегодня оно поднималось таким же, как всегда.

ПОСЛЕДНИЙ

Берлин горел. Черные от копоти, разбитые дома вставали на пути, оскаливаясь вспышками выстрелов. Предутренний туман над Шпрее прорезала сигнальная ракета. Расталкивая тяжелую воду, устремились вперед плоты-понтонны с десантом.

Прижимаясь к мокрым бревнам, бойцы всматривались в белесую мглу. Смотрел туда и Ваня Лопушков, низкорослый угрюмый солдат, обвешанный автоматными дисками.

Плоты ткнулись в берег, и рота молча ринулась к задымленным развалинам.

На перекрестке солдат догнал связной штаба, пожилой сержант.

— Капитана не видели? — спрашивал он у бойцов, переползая из подвала в подвал и угощая каждого папирсой.

— Во дворе капитан. А ты с чем к нему? Может, фрицы уже капитулировали?

— Вышел приказ: немцев спасать будете, — охотно пояснил сержант.

— Тю! Да мы их с утра спасаем. Горчичники с минометов ставим.

— То не тех, то мирных. В метро они попрятались, а эсэсовцы туда воду пустили. Гитлер приказал.

— Это своих-то?

— Кто ему теперь свой? Черт разве!

Сержанта проводили к командиру роты.

Капитан выслушал связного, бросил на землю плащ-палатку, расстелил на ней карту города, и все увидели, как огромен Берлин.

На деревьях и домах горели пунцовые шелковые стяги.

Немцы сбрасывали в последние дни боеприпасы гарпизону на красных парашютах, и они повисали на де-

ревьях и карнизах домов. Во дворах и подворотнях валялись маскхалаты ядовитого зеленого цвета. Испытанные мазутом, они походили на сброшенные змеиные шкуры.

Командир коротко разъяснил задачу, улыбнулся и сказал:

— Заканчиваем войну, товарищи...

Лопушков был крайним в цепи. Перебегая от дома к дому, он добрался до маленькой площади, образованной от пересечения трех улиц. Напротив темнела глазница метрополитена. Солдат, не раздумывая, пополз к этому черному провалу прямо через площадь. Он чувствовал, как не успевший остыть за ночь асфальт дышал на него теплом, и ему, не спавшему уже третьи сутки, неодолимо захотелось забыться, уткнуться в асфальт лицом. Тело, до сих пор не напоминавшее о себе, внезапно изнемогло, охваченное слабостью, и солдат лег на пыльной площади. Но в тот же миг он заставил себя приподняться, сделать стремительный рывок и пырнуть в приземистую раковину метро.

Спустившись в туннель с низкими сводчатыми стенами, Лопушков услышал приглушенный говор и тревожное дыхание сотен людей. Тонкий лучик карманного фонарика выхватил несколько испуганных лиц и уперся в чей-то раскрытый зонт.

— Шнелы! Шпелы! — крикнул Лопушков и указал автоматом на выход.

На фоне чистого кусочка неба солдат был хорошо виден всем. И жест его был понятен людям. Но наверху гремел бой, и земля чуть подрагивала от частых взрывов. Никто не шевельнулся, не встал с места.

Лопушков растерялся. Немцы молчали. И вдруг в этой напряженной тишине солдат услышал далекий всплеск.

Лопушков поднял автомат и дал очередь. С потолка брызнула штукатурка. И люди, дрожа, потекли мимо него. Скрипучий, тягостный кашель, вздохи, неясное бормотание, похожее на молитву, слышались в темноте. Люди шли, прижимая к груди шкатулки, узлы и распятия. Громкий шорох шагов заглушил далекую капоту. Когда последний человек серым пятном скользнул мимо, Лопушков направил луч фонарика в глубину туннеля и увидел женщину с ребенком на руках.

Широко открытыми глазами смотрела она на солдата, прикрывая свободной рукой лицо ребенка.

Лопушков поправил сползшую на глаза каску, и в этот

момент женщина вдруг прыгнула в темноту, и он услышал шум ее шагов.

— Стой! Цурюк! — срывающимся голосом выкрикнул солдат и бросился следом.

У самого поворота Лопушков споткнулся о черные кабели, веером рассыпанные возле стены. Солдат переступил через них и, держа наготове автомат, устремился вперед. Догнав беглянку, Лопушков грубо схватил ее за руку и дернул к себе:

— Куда, дурья башка?.. Вода идет!

Он осветил лицо женщины и вздрогнул. Большие ненавидящие глаза смотрели на него в упор.

— А ну, давай сюда девку, — миролюбиво предложил Лопушков и взял на руки ребенка.

— Найн! Найн! — закричала женщина, упала на колени и зарыдала громко и горестно.

— Вот дура! Ну вот дура! — в отчаянии проговорил Лопушков, пытаясь высвободить ноги. — Живо надо! Понятно тебе? Вставай!

Лопушков пытался поднять женщину одной рукой, но она забилась в ногах, а девочка больно укусила солдата за плечо.

— А, черт! — крикнул Лопушков. — Что мне с вами делать? Зальет нас... Потонем... Последние мы остались! Понимаешь? Последние!.. — повторил он, глядя в безумные глаза женщины.

Немка беззвучно плакала.

И вдруг он вспомнил забытое школьное слово:

— Вассер!.. Вассер!.. Понимаешь? Вассер!..

Женщина вздрогнула, провела рукой по лбу, медленно поводя круглыми, точно пьяными, глазами. Она шумно дышала, но даже сквозь это хриплое дыхание все трое слышали вкрадчивый плеск воды. Потом они увидели ее. Пыльное живое зеркало ленивыми толчками катилось по туннелю.

— Шнель! Шнель! — повторял Лопушков, увлекаемая собой немку.

Они бежали рядом, часто оглядываясь назад. Девочка перестала плакать. Лопушков бережно держал ее на руках. Солдат чувствовал, как головка девочки опустилась к нему на плечо — должно быть, ей неудобно стало лежать.

Освещаемые светом из проломов, они добрались до развилки туннелей.

Правый туннель был темен. Левый слабо осветился. Они свернули влево, но, когда подошли ближе, увидели, что свет идет из небольшого овального пролома в потолке. Дорога уперлась в завал — рухнула часть туннеля.

Лопушков рванулся обратно, но глубокий рокот воды остановил его. Под ногами захлюпало, шорох и плеск заполнили тупик. В призрачном полусвете на воде выступили радужные пятна солярки.

Солдат опустилсЯ на развалины.

— Ну, фрау, попали мы с тобой! Вправо бы надо идти... Поздно теперь...

Женщина повернула к нему растерянное лицо.

Только теперь они как следует разглядели друг друга.

Рядом с рослой красивой женщиной Лопушков вдруг почувствовал себя бесконечно маленьким, щуплым человеком и неожиданно зло произнес:

— Капут скоро...

Женщина вздрогнула и, выхватив из рук солдата девочку, прижала ее к груди.

Черная вода плескалась у ног. Она прибывала быстро и неумолимо, вздрагивая от близких разрывов.

Девочка заплакала, и плач ее гулко отдавался под низким сводчатым потолком.

Лопушков вскарабкался к самому потолку, просунул ствол автомата в щель, пытаясь сдвинуть огромную глыбу цемента, которой был завален пролом.

Немка посадила плачущую девочку на камни и тоже вскарабкалась наверх. Но глыбу не удалось сдвинуть с места. Немка оглянулась, отыскивая среди обломков какой-нибудь рычаг, и вдруг увидела торчащий из-под кирпичей странный округлый предмет. Она протянула к нему руки, но резкий окрик солдата заставил ее отпрянуть.

— Хальт! — Тяжело дыша, Лопушков пробрался к немке. — Фу ты... Так и есть! — пробормотал он, выскобывая из-под камней нескладный предмет с длинным стволом, на конце которого торчал пузатый снаряд.

Солдат внимательно разглядывал фаустпатрон, потом посмотрел на женщину, задумчиво спросил:

— А может, попытаться, а?

Немка молча отвернулась. Внизу с глухим ревом хлопотала вода. Незатопленным оставался только один выступ.

Лопушков из брюк выдернул ремень, привязал к нему

лямки от мешка. Немка сняла с платья поясok и протянула солдату. Он просунул снаряд в щель пролома, сделал петлю и надел ее на спусковой крючок.

Потом Лопушков снял каску, протянул ее женщине:
— Надень, чтоб обломки не клюнули...

— Найн, найн, — торопливо сказала она, отталкивая его руку.

Виноватое удивление отразилось на ее бледном, осунувшемся лице. Тогда он приподнялся на цыпочки и сам надел на нее каску.

— Шнель! Шнель! — сурово приказал солдат и подтолкнул женщину вниз.

Она быстро опустилась к воде и спряталась с ребенком в развалинах за выступом.

Лопушков лег грудью на обломки, лицом и губами ощущая прохладную свежесть сырой земли, и устало закрыл глаза.

Известковая пыль щекотала ноздри. Из щели тянуло знакомым сладковатым запахом артиллерийского пороха.

Усталость всей войны разом навалилась на плечи, и мягкие волны забытья стали завлакивать сознание. Но вот сквозь них пробилась мысль о матери. Лопушкову стало так жаль мать, что хотелось заплакать — впервые за всю войну. Но он не успел, потому что потянул за поясok...

Белая пыль медленно ложилась на черную воду. Выбеленная этой пылью, поднялась из пролома немка с девочкой на руках.

В городе стояла удивительная тишина. Издалека доносились высокие торжественные звуки оркестра. Немка поняла, что это. Она склонилась над черным провалом. Там глухо шумела вода. Женщина сняла каску и побрела, пошатываясь, по широкой пустой улице..

РУССКОЕ ПОЛЕ

Лейтенант Максим Проталин стоял у обелиска и смотрел

вниз, на дорогу. Отсюда, с Кутузовского холма, было видно, как с западной стороны тянулись к Можайску телеги, груженные скарбом, брели люди с рогожными мешками на головах. Сплошная пелена дождя висела над землей прямыми, тяжелыми, как ртуть, нитями.

Впереди виднелось поле с белыми пятнами взметнувшихся на холмах обелисков. Возле одного из них стояла большая группа солдат.

«Читают надпись», — догадался Проталин. Лейтенант сразу представил себе ефрейтора Вязникова из своей роты, маленького, неказистого на вид мужичка с обыкновенным русским широкоскулым лицом. И хотя с холма невозможно было различить лица, Проталин знал: Вязников там и рассказывает сейчас бойцам о Бородинской битве. Ефрейтор мастерски проводил политбеседы.

Всю длинную дорогу из сибирских краев до Москвы лейтенант думал, как сложится первый настоящий бой в его жизни, как поведут себя бойцы под огнем и как он сам, вчерашний студент Максим Проталин, встретит пошвист пуль и грохот близко рвущихся снарядов.

Пасмурный, дождливый день, придавленная низкими тучами осенняя земля создавали ощущение тревожного, знобкого беспокойства.

Проталин спустился с холма и почти бегом направился прямо через вязкую черную пахоту к видневшейся на краю поля часовенке, где роте было предписано окопаться и укрепиться.

Вечером к ним приехал командир дивизии, угрюмоватый, плотного сложения человек, с тяжелыми, налитыми силой плечами. С ним были комбат и адъютант.

Полковник спустился в траншею и долго смотрел из-за бруствера туда, где скрывалась в пелене дождя неясная бугристая земля.

«Что он там увидел?» — напряженно думал Проталин, вглядываясь в сырой полусумрак.

— Знаете, где стоите? — спросил командир дивизии.

— Знаю, товарищ полковник... На флешах Багратиона.

— Как же догадались? — с любопытством посмотрел на Проталина полковник.

— Учился на историческом... Два курса окончил...

Полковник вскинул к глазам бинокль:

— Багратион Петр Иванович, пораженный черенком снаряда, был снят с коня на склоне вон того холмика. Подойдите туда, лейтенант.

Шагая по колючему скользкому жнивью, Проталин думал о том, что командир дивизии знает о Бородинской битве что-то более важное, чем он, несостоявшийся пока учитель истории.

Тучи расползлись, проглянул шар предзакатного солнца, но и его света хватило, чтобы все вокруг преобразилось. Деревья вспыхнули багряным и желтым. Над полем установилась тишина. Она казалась такой чуткой, что под ногами был слышен шелест опавших листьев.

Полковник остановился:

— Примерно здесь...

Лейтенант Проталин смотрел на склон и видел поблекшую, прибитую дождем траву, жидкий кустарник, мокрые ветки которого провисали до самой земли. Видел поблескивавшую издаലെка холодным ликом речку и дымок над ней — должно быть, солдаты развели костер. И щемящее чувство близости ко всему, что его окружало, всколыхнуло в Максиме необъяснимо огромное, сильное и радостное чувство.

Может быть, так происходило оттого, что строгую красоту земли ему, лейтенанту Проталину, предстояло защищать так же, как некогда делали это другие русские люди в другое тревожное для России время.

— Стоять нам на Бородино, — глухо вымолвил полковник, — большая честь, лейтенант... — И, чуть прихрамывая, командир дивизии зашагал к позиции артиллеристов.

Глядя вслед полковнику, Проталин не мог избавиться от острой мысли: история повторилась. Снова нашествие. Враг подходит к Москве. Перед ним это поле, священное место великого народа. И нужно так стоять здесь, чтобы потомкам не пришлось стыдиться, Пробираясь в

траншеях, Максим чувствовал, как крепнет в нем уверенность, что в трудном деле войны он не растеряется, не даст страху приковать себя к земле.

И все-таки все в нем было да крайности напряжено, и он, пряча тревогу, глубже надвигал на глаза каску, часто курил, говорил отрывисто, резко, излишне строго с бойцами.

Они же смотрели на него как-то ласково, заботливо, любясь его красивой, складной фигурой. Им нравилась его строгость. В их представлении командиру и следовало быть таким — подтянутым и неразговорчивым.

Солдаты ждали предстоящего боя с первого дня войны, печалились, слушая сводки, из которых ясно проступали намерения врага захватить Москву. И вот теперь им доверили защиту столицы. И то, что драться придется на Бородинском поле, особенно радовало людей роты Проталина.

— Не торопится фриц-то, — услышал Максим, подходя к своей землянке. По голосу он узнал Вязникова. — Железо на колеса поставил и думает по всей России прокатиться... А танка бояться, ребята, не надо. Он же слепой, если к нему поближе подобраться. Грохоту много, а от бутылки со смесью горит, что солома.

Проталин стал певольно вслушиваться в разговор.

— Я вот думаю, товарищи вы мои дорогие... — продолжал Вязников хрипловатым тенорком, — за что бой идет на нашей земле? За наше социалистическое государство. Но, думаю я, не только за землю бьемся мы, за все, что мы на ней построили, но и за душу народную. Нельзя, чтобы растоптали ее, изничтожили. Ведь какая у наших людей душа!..

Голос Вязникова дрогнул, замолк. С минуты было тихо. Потом чей-то глуховатый басок произнес:

— Колышкин, сверни-ка ефрейтору самокрутку, ты у нас мастер.

«Как же он правильно говорил, — уже в землянке подумал Проталин, — за душу народную. И еще за ум, пылкий и мечтательный».

Ночь прошла спокойно. Утро вставало яркое, солнечное. Иными выглядели теперь в холодном прозрачном воздухе и холмы, и лощины, и все Бородинское поле с редкими, как вскрики, одиночными светло-желтыми листьями на деревьях, с отрешенной глубокой задумчивостью черной пашни и поблескивающей в бороздах вла-

гой, с узенькой полоской реки, укрытой зарослями ольхи.

Максим видел теперь подступающий к речушке лес, еще играющий пестротой осенних красок, хотя лиственная гущина его заметно поредела и он просматривался далеко вглубь.

Сбоку, справа и слева, проходил неглубокий ров, пересеченный буграми и холмиками, и Проталин догадался, что это вовсе не ров, а остатки Багратионовых флешей. А высокий холм, что справа, — позиции батареи Раевского. Как же он раньше не подумал об этом. Именно там, на этом холме, был центр великого сражения.

Проталин взглянул вперед и увидел среди просветов в деревьях горизонт. Линия его, словно отчеркнутая циркулем, была дымчато-черной. Горели деревни, захваченные врагом.

Над траншеями кружились пушинки. Осень спешила засеять землю семенами диких цветов.

Едва солнце пригрело влажное после дождя поле, как со стороны Шевардино, стреляя осколочными снарядами и переваливаясь на рытвинах, показались вражеские танки. За ними группами двигалась мотопехота.

Танки охватывали пространство от Шевардино до деревни Семеновской. Они напозлази по всему фронту к переднему краю обороны дивизии.

Казалось, земля внезапно ожила, зашевелилась, и это шевеление подбиралось все ближе к позициям роты Проталина. Дрожащий низкий гул катился над холмами и полем, перерастая в скрежет и лягз.

— Бутылки и гранаты — к бою! — крикнул Максим и вдруг понял, что его не слышат. Тогда он бросился вдоль траншеи, отрывисто повторяя слова команды.

Проталин видел, что танки, наткнувшись на плотный огонь наших батарей, остановились и стали медленно отползать, что мотопехота залегла под фланкирующим огнем наших пулеметов. И только с десятка бронированных крестатых машин продолжали атаку — они надвигались на холм, где некогда были Багратионовы флешы.

Над всем гигантским полем, скрещиваясь, метались, искрились трассы противотанковых орудий.

Проталин вспомнил о пулеметном расчете, выдвинутом перед позициями, прополз по ложбине и спрыгнул в узкий окопчик,

Вязников оторвался от пулемета и, глядя на лейтенанта отсутствующими возбужденными глазами, доложил:

— Пулеметный расчет отражает атаку вражеской пехоты... ефрейтор Вязников...

Внезапно что-то изменилось в лице ефрейтора, он взглянул из окопчика и, уже не замечая лейтенанта, бросился к нише с гранатами.

— Танк! — выдохнул второй номер, высокий худой солдат в ватнике, и пригнулся ко дну окопа.

Проталин и сам видел надвигавшуюся на холм тяжелую стальную машину. Лейтенант схватил бутылку с зажигательной смесью и сделал движение вперед, собираясь выскочить из окопа. Цепкие руки рванули его за полы шинели.

— Я сам... товарищ лейтенант, — страшным сиплым шепотом обжег Вязников Максима и легко выбросил свое маленькое жилистое тело на бруствер.

Проталин видел, как, падая и вставая, ефрейтор бежал навстречу танку, неся на вытянутых руках две бутылки. Он не бросал их — боялся промахнуться. Его прикрывал дым, стелющийся перед траншеями. Вязников так и исчез в этом дыму. Что-то грохнуло впереди, а когда дым немного рассеялся, танк по-прежнему стоял, словно слепое чудовище, беспомощно поводя башней. Неяркое в свете дня пламя змеилось по броне.

Над полем взлетели и повисли две зеленые ракеты — сигнал к контратаке.

— За Родину! Вперед! — крикнул во всю силу легких Максим, выскочив из окопа и взмахивая автоматом.

Они шли в эту свою первую атаку, охваченные желанием догнать врага, добить его. Им было и страшно, и трудно, жаркий ветер хлестал в лицо, сраженные пулями, падали рядом товарищи. Но за ними была Россия.

Рота Проталина в коротком штыковом бою уничтожила две группы гитлеровской мотопехоты и продолжала атаку, как вдруг из-за дальнего леса докатился гром мощного артиллерийского залпа. Вздрыбнулась земля, свист осколков взвился над головой.

Максим бежал, охваченный азартом схватки, мельком взглядывая по сторонам. И вдруг увидел Вязникова. Тот лежал на спине в черном обожженном ватнике, неловко подломив правую руку. Лицо его, не тронутое осколками, было спокойно, без печали и радости. Лицо человека, исполнившего свой долг.

— Прощай, друг, — прошептал Проталин.

Он еще не привык видеть смерть так близко. До сегодняшнего утра она была для него чем-то далеким и отвлеченным, не имеющим к нему, Проталину, никакого отношения. Но сейчас, скользя и падая на вязкой, напитанной влагой пашне, он видел, как все чаще и чаще вспыхивают фонтаны земли по всему фронту атаки. И тошнотворная толовая гарь растекалась в мутном, сразу ставшем горячим воздухе.

Он уже добежал до склона, где они стояли прошлым вечером с комдивом, когда что-то глухое и тяжелое ударило его в грудь. В горле стало сухо, сердце прыгнуло куда-то вниз.

Еще не понимая, что падает, Максим с удивлением подумал, как это он видит одно только продывленное небо и серую, испуганно вьющуюся пичугу в нем.

Проталин перевернулся на бок и беспомощно замер — тело не слушалось его. Все, что он видел теперь, — это край склона и куст. Опаленные огнем листья, сухие, как мертвые бабочки, подрагивали зябко и одиноко. Это была пядь родной земли, песчинка огромной Родины, которую он, Проталин, отстоял и на которой теперь лежит, истекая кровью.

Максим видел этот сиротливый куст орешника так ясно, словно тот был нарисован на голубом, чуть затуманенном стекле.

«Куст жив, потому что умер Вязников», — подумал Проталин.

Остановленный ефрейтором танк смрадно чадил на краю склона.

Выстрелы, голоса, смятые и опрокинутые грохотом моторов, силуэты набегающих фашистских солдат — все это расплывалось в дожде коротких, как вспышки, воспоминаний. Но чаще других всплывало в сознании лицо матери.

Максим вдруг почувствовал, что его тело, пронизанное болью, снова поднимается ему, и протянул руку к упавшему автомату.

Контратака, видимо, захлебнулась, и он остался один перед своими траншеями. «Нужно вести прицельный огонь, — приказал себе Проталин, — прицельный, как на стрельбах».

Все в нем напряглось, заторопилось в предчувствии, может быть, последней схватки с врагом. Его молодость,

страдания, страх исчезали, подчиняясь необходимости защитить то, что находилось за его спиной: тысячи деревень, замерших в тревожном ожидании, сотни городов и городков с мощеными улицами и Москва, строгая и прекрасная в своем солдатском одеянии.

Он стрелял короткими очередями прямо в упор и радостно вскрикивал, когда видел, как пораженный его пулей фашист заваливался навзничь.

Что-то новое открыл он в себе в эти минуты: ранее неизведанное чувство, похожее на тихую, нежную гордость, заполняло Проталина, притупляло боль, как ему казалось, смертельной раны.

Лейтенант не знал, что, отсекая гитлеровскую пехоту от того места, где он лежал, бьют пулеметы, а от траншей ползут на помощь бойцы его роты. Он только видел мелькавшие совсем близко фигуры фашистов и стрелял коротко, расчетливо, боясь, что не хватит патронов.

Очнулся он на нарах в землянке. Его сознания коснулся чей-то голос:

— Дышит лейтенант... Воепврач сам перевязку сделал, сказал, будет жить... Слышь, Колышкин, сверни самокрутку, руку осколком зацепило. Сделай «Казбек» по-крестьянски, уважь...

От этого ли неторопливого говорка или оттого, что лежал он на нарах, спеленатый бинтами, и теперь знал — рана не смертельна, дрожь в теле утихла, на душе сделалось хорошо и спокойно,

В СОЛНЕЧНОМ ЛУЧЕ

Тридцать лет он не был в этих краях и сейчас, стоя с чемоданом на обочине дороги, по которой катились красивые бесшумные троллейбусы, с удивлением рассматривал с высоты небольшой южный городок, богато украшенный зеленью и новыми высокими домами.

Он попытался отыскать маленький белый домик, где родился и провел детство, но, сколько ни вглядывался в изгибы улиц, домика не увидел. А может, его тут и не было, приземистого строения, слепого из камня и дерева? Может, и не здесь родился контр-адмирал Заврагин Иван Тимофеевич, герой минувшей войны, седой почтенный человек с нестареющей походкой и строгим командирским взглядом серых глаз?.. Здесь! Скалы, выступающие из моря сразу за мысом, — вот что осталось неизменным в пейзаже, который открылся с горы. Там, в небольшой бухточке, качались, как и тридцать лет назад, голые черные мачты рыбачьих судов... Скалы и зеленый островок знаменитого военного санатория, в котором за всю свою долгую флотскую жизнь Иван Тимофеевич так и не побывал ни разу.

Война кончилась для Заврагина в Лиепае.

Потом — академия. Заполярье. Оно встретило Ивана Тимофеевича белыми ночами, сдержанной, суровой красотой. Он принял под начало легендарные подводные лодки, но тогда уже понимал, грядет время нового флота и все будет начинаться здесь, на Севере.

И понеслись, покатались годы напряженного труда, где для отдыха не оставалось и часа. Первая атомная. Как завидовал он тогда своим товарищам, уходившим путем таинственного капитана Немо!

Заврагин знал и любил людей своего поколения, выигравших трудную войну, переживших и смерти близких, и тяжелейшие невзгоды, но пристально всматривался в молодых офицеров, приходящих на флот. Ему хотелось,

чтобы молодые служили неистово, страстно, как служил когда-то он сам, безусый лейтенант, желавший влить свое сердце в стальное тело корабля. Проходило время, и каждое крупное учение показывало, что молодежь знает дело и способна вести бой смело и решительно.

В такие дни Заврагин светлел, случалось, отпускал соленую морскую шутку, к удивлению и удовольствию подчиненных, часами проводил разбор того или иного «сражения» и всегда при этом вспоминал войну и павших своих товарищей. Если кто-нибудь из офицеров просил рассказать что-нибудь «из войны», непременно рассказывал. И тогда все, что передумал и перечувствовал он в военные годы, вновь поднималось в нем из глубины души. Открывалось что-то в его сердце, словно спадала с него броня, выплавленная в те суровые дни, когда на переключке после боев звучало короткое горькое слово «погиб».

«На море не ставят памятников, — говорил Иван Тимофеевич. — Памятники тем героям — мы с вами и наша память».

Уходили лодки в походы. Заврагин провожал каждую. И встречал. Он легко ступал на скользкую, неудобную палубу субмарины, подносил руку к козырьку, принимая первый рапорт, и всегда вспоминал при этом друга своего Женьку Богучарова и его слова: «Смысл нашей жизни, Иван, всегда держать марку Красного Флота».

Женька погиб в 1943 году, высаживая десант на мысе Эльтиген, под Керчью. Крупнокалиберный снаряд, разорвавшийся под командирским мостиком, развалил катер надвое и сразил старшего лейтенанта Богучарова.

В последние годы Иван Тимофеевич все чаще просыпался по ночам с сильным сердцебиением, незаметно от жены доставал таблетку нитроглицерина, торопливо совал под язык. Глухая, щемящая боль утихала, но беспокоила мысль: «Неужели уходить?»

Заврагин стал совершать долгие прогулки в сопки, записался в секцию плавания, пока первая же кардиограмма не уложила его в постель.

И вот теперь, когда получил отпуск, друзья уговорили подлечиться в санатории.

Заврагин вдруг и сам почувствовал, как проснулись старые раны. За делами и заботами он попросту не вспоминал о них. Теперь же время растянулось на долгие

сутки, где было место и чтению, и походам на рынок, и дневному сну, и даже веселым играм с внуками. А раны проснулись. Пули и осколки, некогда отлитые в мартепах Рура, снова ударили в грудь, в правое бедро и в голову. Один осколок так и оставался в черепе — его боялись трогать.

...За спиной послышался скрежет тормозов, веселый молодой голос спросил:

— Карета до Симферополя не требуется?

Заврагин оглянулся. Из серой «Волги» с пашечками на борту выглядывал водитель, толстощекий улыбчивый парень в фуражке с коротким флотским козырьком.

— Ровно через двадцать шесть дней подъезжай сюда в пять вечера — тогда карета твоя понадобится. Добро?

— Через двадцать шесть не получится, — озорно стрельнул глазами по фигуре Заврагина водитель. — Последнюю неделю гуляю, а там... «как родная меня мать провожала»...

— Повестку получил?

— Так точно... А вы, видать, с флоту?

— Угадал. Из-под воды — и прямым курсом сюда.

— Счастливо отдыхать, может, встретимся там, под водой-то, — крикнул таксист и бесшумно тронул «Волгу».

Иван Тимофеевич поднял с земли чемодан и шагнул на одну из многочисленных тропинок, сбегавших вниз.

В санатории его встретили радушно и тепло, словно давнего знакомого. Комната в дальнем коттедже, куда отвела Заврагина дежурная, понравилась Ивану Тимофеевичу — в ней не было ничего лишнего. За годы службы он привык к строгости и простоте командирской каюты.

Иван Тимофеевич умылся, переоделся в легкую тенниску, ощущал во всем теле непривычную легкость, и, выйдя из коттеджа, зашагал в город. Ему хотелось отыскать свой дом. Когда-то давно отец сам построил его на крымский манер — с плоской крышей и узкими окопцами.

Иван Тимофеевич быстро нашел улочку, где еще остались домики, которые он помнил с детства, но отцова дома уже не было — на его месте стоял двухэтажный универмаг, сплошь застекленный, и люди, снующие там, казались посаженными в гигантский аквариум. Заврагин памятью увидел домик и с горечью подумал о том, что многое в жизни исчезает навсегда, словно так и должно быть, и никто, кроме него, не вспомнит в родном городке

ни об отце — революционном матросе, ни о матери — отчаянной рыбачке с Тарханкутских утесов, ни о нем самом, босоногом худеньком мальчике, некогда бегавшем по этой улочке к морю.

Оставалось в городке еще одно памятное для Заврагина место — гряда скал возле мыса, окружающая небольшую бухточку. Одна из скал крутым утесом выдавалась в море, и дорога к ней с суши была нелегкой и небезопасной. Другие тоже имели названия, но Орлиная особенно помнилась — она возвышалась над всеми, и прыгнуть с нее солдатиком считалось высшей храбростью.

Заврагин вышел к мысу. Был предзакатный час, солнце уже коснулось воды, и Иван Тимофеевич вдруг почувствовал, как движется огромный земной шар. Это чувство возникало в нем всегда, когда видел тонущее в море солнце.

Море — вот она вечность и постоянство. Но случайно оно так привязывает человеческие сердца. Заврагин пронес любовь к морю, к кораблям через всю жизнь. Он был по-настоящему счастлив, когда ступал на палубу. Он многому научился у моря, оно всегда было живым для него. И сейчас, карабкаясь на Орлиную, он возвращался в то незабвенное время, когда рождалась его привязанность. Думал увидеть скалу пустынной и удивился, услышав голоса и чей-то сдержанный смех.

— Твой черед, Адмирал! — донеслось до Заврагина.

Иван Тимофеевич выглянул из-за камня. Ребят было четверо — трое мальчиков и девочка лет двенадцати.

Рыжий мальчишка стоял на самом краю скалы, подняв вверх правую руку, нетерпеливо притопывая босой ногой. Рядом с ним, откинув голову назад, отрешенно глядя перед собой, застыл худенький беловолосый паренек в выгоревших добела сатиновых плавках.

— Не трусь, Славка! — сказал рыжий. — Не ты первый, не ты последний. Знаешь сколько пацанов отсюда прыгало! И ничего. Давай, считаю до трех. Не прыгнешь — отчисляю из команды. Раз... два...

Заврагин приподнялся из-за камня.

— А ну стой! — громко сказал он.

Ребята отпрянули от края, сбились в стайку, потом рыжий выступил вперед — в глазах его смешались восторг и удивление.

— Как же вы сюда... забрались?!

— Взабрался вот, — усмехнулся Заврагин. — И вы меня не бойтесь, я не из милиции.

Иван Тимофеевич медленно приблизился к краю, ощущая, как все сильнее колотится сердце. Оно стучало так же неистово, как в тот потерявшийся в памяти день, когда он, одиннадцатилетний мальчишка, широко раскрыв глаза, преодолевая в себе щемящую, холодную струю страха, прыгнул в теплую пустоту и впервые в жизни испытал счастливое ощущение полета.

Так вот когда строилась его душа, вот откуда вливались в него, Ивана Заврагина, отвага и мужество!

...На этой скале просиживали они часами, наблюдая за морем, узавая проходившие корабли по силуэтам.

Многое знал и умел Иван Заврагин в своем детстве.

Он мог бы многое порассказать о пещерах, вырубленных в скалах рабами Савмака, о мысе Тарханкут, где море всегда кипит, словно в глубине его горит никогда не затухающий костер, о скумбрии, теряющей чешую, как только ее вынут из воды, о дельфинах, провожающих корабли от Одессы до Батуми...

Далеко внизу шумел прибой. Шептались за спиной ребята. Заврагин смотрел на море и думал о прожитом.

Солнце уходило багряным диском в воду все быстрее и быстрее, пока не растеклось по краю горизонта огненной каймой, где был и блеск золота, и словно бы отсвет пожаров.

Ивану Тимофеевичу подумалось, но как-то вскользь, что волны, набегающие на утес, похожи на минуты прожитой жизни.

«Жизнь продолжается! Волна набегает раз, другой — жизнь продолжается!»

Этот голос, который он слышал в себе, смешивался с шумом моря и был постоянным, как биение его сердца.

На душе было такое чувство, словно теплое течение несет его куда-то.

Ему захотелось прогнать это дремотное состояние, и он позвал на помощь память. Память безмолвствовала.

А он лихорадочно подгонял ее. Ну же, ну! Были юность, училище, война, академия, женитьба. Так что же, что должна добыть ему память?

И он вдруг — совсем уж некстати — вспомнил парня-таксиста, получившего повестку. Парнишка отслужит еще при нем, Заврагине. А этот вот рыжий, с челкой, уже без него. И нет в том никакой трагедии: он, Завра-

гин, подарит ребятам любимое выражение Евгения Богучарова: «Всегда держать марку Красного Флота».

И вот уже дрогнула память, рванулась в прошлые годы и выхватила из своей кладовой яркий солнечный день, маленького, загорелого до черноты человека на краю утеса и руки его, на мгновение ставшие крыльями. И сам полет нарисовала память.

Заврагин обернулся к ребятам. Рыжий по-прежнему стоял впереди. Из-под нависшей челки смотрели серые глаза пуговками.

— Почему Адмирал? — спросил Иван Тимофеевич, потирая занывший затылок.

— Он хочет адмиралом стать, — рыжий кивнул на своего товарища.

— Значит, адмиралом? — обратился Заврагин с улыбкой к беловолосому пареньку.

— Я вас узнал, — тихо сказал тот, не отвечая на вопрос. — Вы контр-адмирал... Иван Тимофеевич Заврагин.

— И я узнал, — несмело подтвердил рыжий.

— И я, — негромко обронила девочка.

Третий мальчишка только кивнул головой. «Откуда же?» — хотел спросить Заврагин и впервые подумал о школе, приземистом длинном здании на склоне горы, сразу за поворотом центральной улицы городка. И память тотчас воскресила один из дней недавнего прошлого. Шли ходовые испытания подводного корабля, когда позвонила жена и сказала о письме, пришедшем из родного городка. Какая-то организация просила выслать фотографию Ивана Тимофеевича Заврагина в форме и при всех орденах. Что он тогда ответил жене, Заврагин не помнил, но фотографию она, видимо, все же послала.

— Школа у вас новая? — спросил Заврагин.

— Не-е, старая, — сказал рыжий. — Только перестроенная.

— Тогда и я в ней учился, — произнес Заврагин.

— А мы знаем, — вдруг сказала девочка, — мы про вас все знаем. Наш отряд имени Евгения Богучарова проводил сбор.

Девочка замерла.

— Что с вами? — спросил рыжий.

Иван Тимофеевич слегка качнулся от внезапно ударившей в затылок боли и тяжело опустился на обломок скалы. Путь на Орлиную не прошел-таки даром.

— Ничего, ребята. Устал немного. Я же не молодой адмирал...

Он сидел, прислонясь к теплой, нагретой за день скале, вдыхая уже тронутый прохладой воздух.

— Корабли! — крикнул вдруг Слава, и все бросились на край обрыва, забыв на минуту про Заврагина.

От горизонта стремительно приближался серо-голубой корабль. По скошенным характерным надстройкам Иван Тимофеевич узнал большой противолодочный.

Заврагин видел теперь ребят сбоку, и они казались ему легкими неизвестными птицами — столько сдержанного порыва было в их тонких, дочерна загорелых фигурках. Ивану Тимофеевичу даже показалось, что Орлиная дрогнула, словно палуба корабля. И это тоже было ощущение из никогда не умирающего детства, в котором Орлиная и была настоящей палубой, где звучали настоящие морские команды и слышалось вечное дыхание моря.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Он сошел с электрички и в тусклом свете осеннего утра различил пристанционные строения, платформу, виадук, перекинутый через железнодорожное полотно.

Все же он узнал в легком тумане эту станцию. Он думал, когда ехал сюда, что увидит многоэтажные корпуса домов, может быть, заводские трубы. А за продолговатыми пакгаузами все так же лежал дачный поселок, вздымался лесок и пахло креозотом от шпал.

Степан не мог избавиться от ощущения, что сбежал в самоволку и что сейчас вот появится из-за ближнего киоска плотная фигура старшины Сергункова и придется встать «смирно» и доложить по форме о причинах столь долгого отсутствия.

Но Сергунков не мог появиться никоткуда. Это Вахонин знал точно. Старшина умер у него на руках, пробитый навылет снарядным осколком. И до того места, где умер старшина, ему, Вахонину, придется добираться целых тридцать километров, и неизвестно еще, найдет ли он те две березки на бугре, под которыми захоронены старшина и еще двадцать восемь человек — весь взвод, в котором служил Вахонин.

Бой Вахонин помнил плохо. Из всего, что случилось на высоте, в памяти остался непрерывный грохот, столбы разрывов и маленькие черные фигурки в прицеле. Степан и сейчас не знал, каким образом перед позициями взвода оказался эсэсовский полк. Вахонин не читал военных мемуаров, тем более специальные исторические книги о великом сражении, где и этому бою на высоте под Рузой были отведены необходимые страницы.

В то осеннее утро Вахонин впервые увидел немецкие танки.

Единственная пушечка, приданная взводу, несколько раз глухо кашлянула — вспыхнуло пламя над двумя ма-

пинами, остальные повернули назад. Танки горели долго. Из них так и не появился никто.

Ребята обнимали артиллериста, кудрявого рыжего парня. Было весело, как у охотничьего осеннего костра. Все были уверены, что немцы теперь не сунутся.

Но они пошли. Они шли в полный рост, заполняя собой ложину перед высоткой.

Пулемет разогрелся, от кожуха повалил пар. Собрали фляжки, сдедили всю воду в одну, напоили пулемет. На пятой атаке он раскалился так, что заклинило ствол. Вахонин взял виштовку убитого бойца.

Фашисты подтянули артиллерию. Тогда-то и прошило старшину Сергункова осколком. Степан остался один с двумя гранатами и полной обоймой патронов. А они шли, как и в первый раз, заполняя ложину черными мундирами от дальнего леска до левого берега Москвы-реки.

Еще можно было отползти, сбежать с высоты на противоположную сторону и уйти в лес.

Но вокруг лежали товарищи, а позади, за лесом, в туманной дымке рассвета невидимая отсюда стояла Москва. Он и не видел ее толком. С поезда батальон погрузили на машины и повезли прямо на передовую. И все же Вахонину, всю жизнь жившему в деревне, довелось увидеть Москву, хоть и мельком. Город показался ему строгим и прекрасным в своей военной сдержанности. Степан, как и многие солдаты, не верил, что немцы могут взять Москву. Не потому, что он что-нибудь знал о тайнах ее обороны. Просто он не мог поверить в такое.

Вахонин долго выцеливал фашистов. Ему некуда было спешить. Когда кончилась обойма, он метнул в набегающих солдат гранату, рванул чеку у второй, бросил себе под ноги. И неудачно. Граната закатилась под свалившийся с бруствера мешок с песком и только контузила Вахонина.

Очнулся он от страшной боли в голове. Ныла нога. Сапог набух кровью.

Холодное солнце карабкалось к зениту. Немцев не было видно. Стояла тишина.

Так лежал он долго, теряя сознание от боли и снова приходя в себя. Потом Вахонин, услышав грохот боя, попытался выползти на брустер, но впал в забытие.

Его подобрала санитары на второй день. Началась гангрена. Пришлось ампутировать ногу. В госпитале ему сказали, что из взвода никого в живых не осталось. Всех, кто

был на высоте, похоронили там же, на самом бугре, в братской могиле.

Вскоре госпиталь эвакуировали в Ижевск. В январе сорок второго Вахонин, списанный по чистой, вернулся домой.

Прошло двадцать пять лет. Степан винил себя все эти годы за то, что не мог решиться на поездку в Подмоскovie. Она была не близкой и стоила уйму денег по деревенским понятиям. Росли дети, в один год замучили Степана болезни, а в позапрошлом лето, ближе к зиме, задумал Вахонин поставить новый дом. Старый протекал, пакля из пазов повываливалась, да и тесный он был для семерых.

Но вот уже и дети в силу вошли, и однажды старшой, Иван, собрал всех и, ничего не объясняя, сказал:

— Поезжай, батяня. — И выложил на стол двадцать рублей: — Моя доля.

Живет в людях война. Проходят годы, рубцуются раны, стираются окопы. Но есть в человеке, пережившем войну, такое, что нет-нет да и ударит в сердце острейшей болью, родит простую ясную мысль: «Жил бы он сейчас, может, и на охоту сходили».

Так подумал Вахонин о старшине Сергункове, стоя на пристанционной платформе и оглядываясь по сторонам.

С первым автобусом на Рузу Вахонин добрался до места на перекрестье двух дорог, махнул шоферу рукой и тяжело зашагал в гору. Теперь он вспомнил дорогу. Места приметные, красивые.

Над пашнями плавал синий дым. В холодном белесом небе трубили большекрылые птицы. Солнце, поистратив себя за лето, потускнело, сжалось и быстро карабкалось по небосклону, спеша скатиться за горизонт.

Умирало в поблекших, опавших листьях лето. Леса стали прозрачными, они потеряли эхо и звенели по утрам льдистыми медальками.

Вахонин шагал по междуделью, опираясь на палку, и радовался одиночеству и тишине. В солдатском вещмешке, заброшенном за спину, лежала в кисете сибирская земля, прихваченная Степаном с колхозного поля. Горсть земли из его ладони должна была смешаться с землей подмосковной высотки. Так решил сам Вахонин.

Еще издали увидел Степан обелиск. Сильно защемило сердце. Здесь.

Он не узнавал высотку. Она стала ниже, словно бы ушла в землю. А может быть, вырос лес по краям и загородил от нее и реку, и лощину, и дорогу, которая когда-то хорошо простреливалась отсюда. На месте двух березок выросла целая рощица гибких белоствольных деревьев.

Вахонин подошел поближе к деревянной оградке, отделявшей обелиск от остального мира, и увидел металлическую доску с выбитыми на ней буквами.

Степан хотел прочитать, что же написано на доске, и не смог. Внезапная слабость подкосила его, и он сел где стоял, и, удрученный своей немощью, пробормотал:

— Вот оно как...

Вахонин сидел, прислонившись к оградке, и смотрел, как далеко на западе поднимались дымки. Земля светила слабым серебристым светом. И все вокруг поблескивало матово, холодно. И лишь редкие осинки излучали терпкий красный свет.

Он хотел вспомнить ребят из взвода, но снова вспомнил одного Сергункова.

Степан достал из вещмешка бутылку с водкой, стакан. Перочинным ножом нарезал хлеб и колбасу. Наполнил стакан, тяжело поднялся и, глядя на металлическую доску, глухо обропил:

— За вас, ребята...

Степан обошел ограду и на противоположной стороне отыскал маленькую дверцу с нехитрой крестовинкой вместо запора.

Вахонин приблизился к самому обелиску и потрогал металлическую доску. Доска обожгла холодом. Степан вслух, словно на поверке, стал читать фамилии захороненных.

И вдруг он увидел: «Степан Вахонин — 1916 год рождения».

Будто кто сильно толкнул в грудь. Но когда он взглянул на доску, то снова нашел свою фамилию. Она стояла пятой в списке, а всего было тридцать фамилий. Да, здесь, в подмосковной земле, лежал весь его, Вахопина, взвод. И он сам, если верить списку, тоже захоронен на этой высотке. «Как же так?» — подумал Вахонин. Как же это могло случиться? Ведь он живой. И документы были при нем, когда его привезли в госпиталь. Да и как могло уби-

тых оказаться тридцать человек. Ведь тридцатый был он, Вахонин...

Некоторое время Степан стоял над круто уходящим вниз склоном, глядя на реку, с которой поднимался легкий утренний пар, голубоватый от неба и воды, похожий на пороховой дым. За рекой лежали пустые поля с редкими стожками сена и березовыми перелесками по краям. В тихом воздухе отчетливо слышалось бормотание осинника. Сладковатой прелью отдавала прошлогодняя листва.

И хотя Вахонина отделяла от дней войны чаша лет, он все же отыскал в сознании уголок, где хранились слова Сергункова, сказанные им перед смертью: «Никто не умирает, Степан. Мы будем живы, пока нас помнят. Хоть один человек на земле. Пока нас помнят».

И Вахонин впервые за всю длинную дорогу сюда пожалел о том что приехал один.

Степан посмотрел на дорогу вниз. Она была пустынная. Прежде чем спуститься с холма, Вахонин достал узорчатый кисет и высыпал его содержимое к подножию обелиска. Горсть земли. Частицу гигантского бесконечного целого.

ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН

Прошло уже много лет, а я все помню его, высокого, сухощавого, неулыбчивого. В училище не было более сурового офицера, чем подполковник Гречанов. Два сабельных шрама схлестнулись на лице Василия Кузьмича, и оттого, будто стянутое к переносью, оно казалось замкнутым и некрасивым. Из-под кустистых бровей с холодной внимательностью смотрели на курсантов подернутые старческой дымкой глубокие, некогда синие глаза. Иногда в них вспыхивал огонек иронии. Это оживляло лицо, и всем казалось, что Гречанов вот-вот улыбнется, пусть саркастически, но улыбнется. Но никто так и не видел, чтобы он улыбался.

Три пулевых и шесть осколочных ранений, бои от самой границы и до последнего дня войны. Подполковник испытал то, с чем мы были знакомы лишь по описаниям в книгах.

На парадах он ходил, демонстрируя чеканный шаг, подтянутую статность, казалось, из металла отлитой фигуры. На первом же празднике мы сосчитали его ордена. Их было восемь: два — Красного Знамени, три — Отечественной войны и три — Красной Звезды. От всего облика подполковника веяло каким-то величием, даже стальной сжик его волос казался нам значительным.

Гречанов никому не прощал ошибок, был краток, приказы отдавал ровным голосом. Зычные же его команды на построении наполняли наши сердца приятным холодком, и нам чудилось, что вот сейчас прямо с плаца этот человек поведет нас в бой, в ту решающую лихую атаку, после которой алым стягом взвьется Победа.

Он проходил вдоль нашего длинного строя, всматривался в каждого, и взгляд его глубоко посаженных глаз неумолимо спрашивал: «Ты готов?»

За три года училищной жизни мы привыкли ко всему: познали азы и премудрости пограничного поиска, уставную строгость службы, почетную тяжесть зеленых фуражек. И только Гречанов оставался для всех загадкой.

— Он из железа, ребята, и все человеческое ему чуждо. Интересно, пьет он по утрам чай или дистиллированную воду? — сострил Санька Вихров.

Мы не приняли Санькину шутку. Наверное, в каждом из нас жила мечта хотя бы немного походить на старого командира. А когда однажды он не появился на общем построении и дежурный офицер сообщил нам, что Гречанова увезли в госпиталь с острым сердечным приступом, мы всем взводом вызвались навестить его.

Начальник училища понимающе кивнул, легкая тень скользнула по его немолодому лицу.

— Пойдете без увольнительных, строим, — сказал он. — Фрукты возьмите на складе, я распоряжусь...

— Не надо ничего, мы сами... — почти крикнул Санька Вихров.

— Ну что ж, сами так сами, — снова понимающе кивнул начальник.

В палату к Гречанову пустили только четверых. И вот мы расселись на стульях возле койки, где, закрытый до подбородка простыней, лежал подполковник с землистым лицом и ввалившимися, потухшими глазами. Вдруг в них сквозь старческую пленку прорвались две искорки, ясные и пронзительные. На лице твердо обозначились скулы. Что-то напоминающее улыбку раздвинуло стиснутые зубы. И больной глухо сказал:

— Пришли...

Мы смотрели на Саньку — он должен начать разговор. Но Вихров сидел потупившись, будто виноватый.

Подполковник заговорил сам: он понимал нас не хуже, чем отец своих детей.

— Такие дела, ребята... — Гречанов помолчал и без всякого перехода проговорил, тяжело переведя дыхание: — Иногда я думаю, нужно ли беречь последний патрон для себя. Что лучше — еще один мертвый враг или ты, мертвый, ушедший от последней рукопашной?..

Он смотрел мимо нас в распахнутое окно, за которым синел квадрат раскаленного южного неба. Тишина в палате сделалась осязаемой, и, казалось, мы различали в ней, как неровно бухает в груди больное сердце. Мы почти знали, что услышим сейчас рассказ, может быть, ле-

генду из гречановской жизни, и ждали, боясь шевельнуться на скрипучих стульях.

— Давно это было, товарищи будущие офицеры, — негромко ронял слова подполковник. — Только что закрыли границу на стыке с Афганистаном. Наш отряд, пятнадцать бойцов, стал гарнизоном в старой крепости близ одного кишлака. Тогда любое мало-мальское укрепление превращали в заставу. Границы, как теперь понимают это слово, не было. Борьба с басмачами шла по всей Средней Азии. Кроме знаменитого головореза курбаши Ибрагим-бека и Джунаид-хана были и другие, помельче. Вы, конечно, читали об этом.

У басмачей в каждом кишлаке жили свои люди, так что любое передвижение для них не оставалось незамеченным. Мы же выдвинулись к самой границе и считали нашу крепость неприступной. Радиостанция в те времена была вещью редкостной, а людей, умеющих с ней обращаться, звали по имени-отчеству. Связь со штабом поддерживали по воздуху — один раз в неделю к нам прилетал древний самолетик «ньюпор», привозил почту, пакеты, запечатанные сургучом, керосин, махорку.

Однажды самолет улетел, а на следующий день в долину ворвалась из-за границы банда курбаши Хайлуло. Восемьсот сабель, три пулемета, у всех английские карабины.

Наш гарнизон не мог интересоваться бандой, ее целью было пробиться вглубь и раздуть мятеж, который уже готовили вражеские подпольщики.

Крепость — квадрат, обнесенный невысокой каменной стеной с бойницами, и две полуразрушенные башни по краям. Курбаши знал, сколько нас, и не сомневался, что уничтожит гарнизон первой же атакой.

Возможно, будь другая дорога, Хайлуло и не ввязался бы в бой. Но другой дороги из долины не было. Крепость караулила узкое ущелье, по которому шел древний караванный путь из Афганистана в Среднюю Азию.

Банда появилась на рассвете. Часовые сразу заметили большую массу всадников на дороге и подняли тревогу. Единственное, чего не знал Хайлуло, это про два наших пулемета. Мы везли их скрытно, упакованными во вьючные ящики. Так приказал наш командир Иван Лаптев. Хитрый был от природы человек и тактик отменный, всю гражданскую в Первой Конной провоевал. К нам прибыл добивать контру и остался на границе,

Лаптев не поставил пулеметы на башни, как мы думали. Он приказал открыть единственные крепостные ворота и сыграть в беспечность — спит, мол, гарнизон или и вовсе нет его.

Это надо видеть — конную лаву, молча несущуюся на тебя в блеске клинков. Бойцы мы были все молодые, мало обстрелянные. Только командир да его заместитель — настоящие воины. Они и легли у пулеметов прямо против ворот.

Четыре всадника в ряд пропускали те ворота. На этом и строился расчет Лаптева. На бешеном скаку трудно остановить коня, да еще когда он в общей массе. Может быть, тишина в крепости ублажала басмачей. Только атака эта дорого обошлась Хайлуло. По две полные ленты израсходовали пулеметчики, и мы успели дать пять залпов. Около сотни бандитов полегло на дороге. И началась осада. Через два дня мы стали считать патроны. Еще через два их осталось на каждого по шесть штук, не считая одной пулеметной ленты. Эту ленту Лаптев берег, предчувствуя штурм.

— Патроны не расходовать, стрелять только навстречу, — сказал он, выстроив нас во дворе.

Была у нас надежда на летчика Костю Бесфамильного. У него на «ньюпоре» пулемет. Через двое суток должен появиться Костя, а что за эти двое суток может случиться, знал, пожалуй, один командир.

Штурм басмачи начали ночью в пешем строю с трех сторон. Их пулеметы засыпали крепость градом пуль. Нас спасали мешки с песком, которыми мы заделали бойницы. Стреляли почти в упор — так близко подобрались бандиты. Командир все медлил, ждал чего-то. Еще с вечера скрытно установил пулемет в одной из башен. И вот теперь тот пулемет молчал. Басмачи наседали, уже трещали ворота — в них били чем-то тяжелым. И тут приказ — всем отступать в башню. Это было верное решение. Басмачи сломали ворота и ворвались во двор. Тогда-то и ударил Лаптев из пулемета по каменному квадрату, который стал для бандитов мешком. Стояла полная луна, и мы жахнули из винтовок по врагу.

Когда банда отхлынула и стало ясно, что штурм отбит, командир приказал пересчитать патроны. А считать было нечего. В азарте боя все забыли о предупреждении беречь патроны. Только у меня остался один, спрятанный за голенище сапога, и я протянул его командиру. Он дол-

го смотрел на этот патрон, потом загнал его затвором в канал ствола и сказал:

— Этой пулей нужно достать курбаши. Без курбаши банда повернет обратно. Эта пуля может спасти десятки кишлаков от разорения и мести басмачей. — И тихо добавил: — Это нужно сделать сейчас, пока ночь.

Он не сомневался в нас, боевой командир Иван Спиридонович Лаптев, но и понимал: задача трудная для парнишек, месяц назад взявших в руки винтовку. Слишком многое ставилось на последний патрон. Но все же командир спросил:

— Кто лучше всех стреляет из винтовки образца 1891 года? — И сам ответил: — Я...

Потом еще один вопрос задал он себе:

— У кого на всем белом свете есть только Красная Армия, революция и вы? — И задумался, вспоминая что-то.

Он долго выбирал штык, примкнул его, забросил винтовку за спину.

— У вас есть еще рукопашная, — сказал командир на прощание. — Если полезут, выходите из башни во двор, там драться сподручнее... Все.

Двор простреливался со стороны поваленных ворот, и Лаптев, когда облака закрыли луну и темнота поглотила отблеск штыка, спустился с башни по веревке на внешнюю сторону крепости. Нам оставалось только ждать.

Мы вдрагивали от каждого выстрела, но всякий раз знали: это не тот — умели отличать по звуку бой английского карабина от русской трехлинейки. Тот выстрел грянул, едва забрезжил тусклый рассвет. И тотчас там, где стал лагерем курбаши, поднялась пальба, раздались крики и вой басмачей. Вскоре на дороге за клубилось облако пыли, оно начало быстро передвигаться в сторону границы. Командир оказался прав: потеряв вожака, банда спешила уйти за кордон.

Лаптева мы нашли под высокой скалой, с которой он стрелял в Хайлуло. Командир успел спуститься с камня, чтобы принять рукопашную на земле. Басмачи, конечно, хотели взять его живым. Он был сильным человеком. Трех бандитов заколол штыком. Тогда они ударили по нему залпом...

Подполковник замолчал и устало закрыл глаза. Лицо его вздрагивало, у самой переносицы билась синяя жилка,

словно нить, готовая порваться. Не открывая глаз, тяжело растягивая слова, он произнес:

— Я взял гильзу от того... последнего патрона... Она всегда со мной...

Из-под простыни выскользнула сухая, костистая рука, сжатая в кулак. Пальцы разжались, и мы увидели тонкую латунную гильзу, которая рассказала нам о жизни подполковника Гречанова самое главное — как он стал нестигаемым солдатом Революции.

ПЯТЬ МИНУТ ПОПОЛУДНИ

Город умирал без воды. У колонок стояли угрюмые очереди.

Люди жадно смотрели на падающие в ведра капли.

Выгоревшее, словно сатин, бледное раскаленное небо обнимало город и море, дышало палящим, пронизывающим жаром. Лучи солнца падали, как свинец, на крыши и улицы. Тени каштанов жались к стволам.

Шел шестидесятый день осады.

К громоханию орудий привыкли, как к вечному плеску моря. По Дерибасовской везли убитых. Голубые гюйсы закрывали лица моряков.

Лейтенант Трифонов шагал по иссеченным железом мостовым, придерживая правой рукой тяжелую прохладную флягу. Он шел от командующего.

Седой усталый человек проводил его до дверей, еще раз напомнил: «Держаться до полудня. Каждая минута — сто литров воды».

Лейтенант шагал и думал. Мысли были разные. Вспомнилось детство. Село на Херсонщине. Рыжая от осенних холодов дубовая рощица. Ко всему этому нет теперь дороги. И не будет. Рота останется там, в Беляевке, у водонапорной башни, навсегда. Таков приказ.

Трифонов думал о командующем, о его крупных, сильных руках с неотмываемыми темными точками в порах. Такие руки бывают у шахтеров.

Эти руки бережно вручили ему флягу с водой, отцовским жестом пригладили выгоревший вихор, грубовато и нежно подтолкнули в спину.

Лейтенант свернул за угол и увидел белую от рассыпавшихся книг мостовую. У расколотой бомбой библиотеки стояла маленькая худая девушка с красной повязкой на рукаве и строго объявляла:

— Товарищи, берите книги на хранение! Берите!

Осторожно ступая через открытые тома, Павел подошел к девушке, наклонился и поднял книгу, «Дикая со-

бака Динго, или Повесть о первой любви», — прочел он на обложке.

Лейтенант спрятал томик в сумку, пожал девушке руку:

— Мой абонемент — тридцать сорок пять. До свидания.

— Тридцать сорок пять, — едва слышно повторила она. — До свидания.

У перекрестка Павел оглянулся. Девушка смотрела ему вслед.

Трифонов повел роту через город. Ему хотелось, чтобы бойцы попрощались с родными улицами.

Впереди шел старшина Казачина, чернявый парень могучего сложения с веселым загорелым лицом. На плечах он нес станину пулемета.

На тротуарах останавливались прохожие, кивали, словно знакомым.

Седая грузная женщина задумчиво смотрела вслед солдатам. Трифонов узнал свою школьную учительницу. Она не узнала его.

Рота свернула на Приморский бульвар. Пахло морем. Пожилая дворничиха подметала улицу, усеянную битым кирпичом и осколками стекла.

Павел шел сбоку колонны, наступая сапогами на битое, хрустящее стекло и вглядываясь в лица солдат. Спокойной задумчивостью дышали они.

Но вот скрежет и вой наполнили воздух. В свете яркого дня тускло вспыхнули разрывы. Из пыльной завесы выросли приземистые баррикады, противотанковые ежи — передний край...

Уже целые сутки шла вода в город. Немцы, выбитые из Беляевки неожиданным ударом наших войск, не успели взорвать водопровод, и теперь солдаты штурмовой бригады, приложив головы к толстым обнаженным трубам, слушали густой, приглушенный шум воды.

Словно желтоватая мгла, не оседающая над окопами, плыла пыль. Справа и слева высились развалины. Виноградники и редкие сливовые деревья прикрывали наши позиции на окраине Беляевки. У деревьев еще оставались стволы, но веток уже не было. Разбитая водонапорная башня, изрешеченная снарядами, заклеванная пулями, курилась красной кирпичной пылью. Одинокий серебристый тополь охранял подступы к башне. Он горделиво потряхивал листвою, отбрасывая длинную тень,

Рота Трифонова, введенная в прорыв последней, занимала оборону в старых траншеях, опоясавших насосную станцию. Впереди триста метров равнины, усыпанной плоскими белыми камнями, дальше — немцы.

Низко согнувшись, лейтенант шел по окопам. Под бойницами возле каждого солдата стояли бутылки с зажигательной смесью.

Павел скользил взглядом по вырытым в стенках нишам и напряженно вслушивался в отдаленный рокот.

— Танки, товарищ лейтенант!

— Слышу.

Трифонов взглянул на часы. Стрелка ползла к цифре десять.

Земля вздрагивала. Над полусожженной травой клубились облака пыли. Сухие комья земли, поднятые пулями, взлетали фонтанчиками. Казалось, что идет необыкновенный, сухой, дождь. Сбитая этим дождем слива валялась перед самым окопом. Павлу вдруг неодолимо захотелось дотянуться до нее. «Переспелая», — подумал он, поднимая бинокль. В линзах мелькнули белые кресты на темно-зеленом пятнистом фоне, тупые, распластанные траки гусениц. Трифонов различил на броне серые фигуры солдат, и щемящая боль подкатила к сердцу.

Томительней всего в бою ожидание. Павел воевал с первого дня войны и знал это ощущение. Танки приближались.

— Попить бы, — сказал рядом веснушчатый паренек.

«Фляга», — вспомнил Трифонов. Он отстегнул ее от пояса и протянул солдату. Тот сделал несколько глотков и вернул флягу. Крупная теплая капля упала на ладонь Павлу. Напомнила: позади вода. Лейтенант почувствовал облегчение. Он твердо знал, что надо делать. Теперь он не мог думать больше ни о чем другом, потому что все заслонили темно-зеленые железные черепахи. Привстав над бруствером, Павел крикнул:

— Огоны!

Отрывисто и громко вразнобой ударили винтовки, заторопились пулеметы на флангах, и вскоре все остальные шумы потонули в дробном грохоте выстрелов.

Павел положил на край окопа ручной пулемет и выпустил несколько коротких очередей. И вдруг лязг раздался совсем рядом. Головной танк стремительно вырвался вперед и на большой скорости приближался к месту, где стоял Трифонов. Павел схватил две бутылки и, ши-

роко размахнувшись, метнул одну, потом другую. Вспыхнула земля, полыхнуло жаром в лицо. Но, прорвавшись сквозь огневой барьер, танк мчался на окоп.

Веснушчатый парнишка легко перебросил свое тело через бруствер и встал перед вражеской машиной. Он стоял перед ней не больше секунды, но Трифонов успел рассмотреть повернутое к окопам лицо паренька. Оно было напряженным и строгим.

Танк вспыхнул сразу весь и стал. Пламя забушевало, словно под машиной разложили огромный костер. Черный едкий дым застилал небо.

По-прежнему грохотали выстрелы, оглушительно лопались бутылки со смесью, пахло жженой краской, степным пожаром. Трифонов стрелял в дым, где метались силуэты людей, короткими очередями.

Потом все смолкло. Лейтенант выглянул из-за укрытия. На поле горели костры, много костров. Они накаляли и без того горячий воздух, и он дрожал, переливаясь над степью зримыми волнами. Перед окопом все так же лежала слива.

Павел посмотрел на свои обожженные ладони, усмехнулся, увидев «линию жизни». Она была длинна. А «линию счастья» он сам продолжил в детстве бритвой. Запрокинув голову, глянул ввысь. Небо, огромное, каким оно бывает только тогда, когда лежишь в поле на спине, золотилось солнечными лучами. «Как мамина тарелка, — подумал Павел, — голубая посередине и белая по краям».

К лейтенанту подполз Казачина. Он был уже без каски, смоляной, давно не стриженный чуб обгорел, лицо, черное от копоти, было усталым и злым.

— Роты нет, — громко доложил он. — С вами восемь человек осталось.

— Что вы кричите? — устало спросил Павел, прикрывая рукой слезящиеся от дыма глаза. — Я еще не оглох.

Он посмотрел на часы. Маленькая стрелка застыла на одиннадцати. «Барабанные палочки», — вспомнил Павел и удивился. — Играли в лото. Собирались по вечерам, пили чай с вареньем. Когда это было!»

С двух сторон сходились к командиру оставшиеся в живых бойцы. На их черных, припеченных огнем лицах сверкали белки глаз. Они клали винтовки на бруствер, садились на дно окопа, тяжело привалившись к стенке.

Ветер с моря бросил в окоп сморщенный, ржавый от зноя лист.

— Тополиный, — сказал старшина, разглаживая листок. — У нас на улице тополя росли. Столетние. На одном метка осталась: «Надя+Федя=любовь». В маркизетовом платье любовь моя ходила.

Старшина замолчал. С минуту было тихо. Потом где-то рядом зашуршала земля.

— Мышь-полевка, — шепотом пояснил пожилой уса-
тый боец. — От смерти бежит. Чует...

— Мышь всегда так, — поддержал Казачина.

— Жалко все-таки, — сказал кто-то.

— Кого пожалел-то?

— Жену... Напишут ей: пропал без вести. Будет ждать всю жизнь. А так, глядишь, замуж бы вышла.

Казачина поднял с земли гильзу, постучал по ней ногтем:

— Интересно, сколько такая в земле пролежать может?

Пожилой боец посмотрел на товарища добрыми глазами, неторопливо объяснил:

— В дерево ее вбить нужно. Тогда долго...

— В тополь, — подсказал Казачина.

Все встали и, вытянув шеи, посмотрели на одинокий тополь.

— Пишите, товарищ лейтенант!

Трифонов оглянулся и встретился глазами с Казачиной. Оба они не подумали даже, а почувствовали одно и то же. Земля, на которой они жили, не должна их забыть. Никто не мог прийти им на помощь. Зажатые в кольцо, они не имели будущего, но хотели его иметь. Они знали, что будущее — это гораздо больше, чем жизнь каждого из них.

Павел достал блокнот и наискось через весь лист написал карандашом: «Нас было послано к Беляевке восемьдесят. Мы стойко держались. Нас осталось восемь: Трифонов, Казачина, Берестов, Лузгин, Серегин, Рогов, Булавенко, Шапиро. Фашисты не пройдут! Прощайте все! Да здравствует наша Советская Родина!»

Каждый молча прочитал записку, невольно оставляя на бумаге отпечаток закопченных пальцев. Казачина свернул записку трубочкой, спрятал ее в гильзу, туго забил пулей и выскользнул из траншеи.

С наблюдательного пункта было видно, как медленно полз он к тополию. Вокруг него ройлась земля. И все-таки Казачина добрался до тополя, спрятался за ним.

Павел оглядел бойцов. Впервые за всю свою двадцатилетнюю жизнь он понял, как сильна дружба...

Косые вихри разрывов пронесли позади траншей. По каскам дробно застучала твердая земля. Мины рвались по нескольку в ряд с одинаковыми интервалами между залпами. Запах взрывчатки заполнил окопы. Ветер, внезапно ударивший со спины, осыпал всех звонкой чешуей гравия. Люди почувствовали его порывистое движение на своих лицах. Сжимаемая винтовки, они ждали.

— Эх, жаль нет флага! — сказал кто-то.

Четыре столба огня и пыли взметнулись перед окопами, тугая струя воздуха резанула по глазам, больно ударила в уши.

— Немцы! — доложил наблюдатель.

Под прикрытием огня фашисты подошли совсем близко. Они, видимо, ползли, скрываясь в пыли, как в тумане.

— По местам! — крикнул Павел и приник к пулемету.

Он увидел, как по склону бежали немцы — все ближе и ближе. По траншее сухо зашелкали редкие выстрелы. Странно прозвучали они над молчаливо притаившейся землей. Павел поймал в прицел край надвигающейся цепи и выпустил длинную очередь. Потом еще и еще... Цепь легла, но и пулемет замолк — кончились патроны...

Трифонов припал спекшимися губами к прохладной, влажной стенке окопа и ощутил знакомый медный привкус глинистой земли. И тут он снова вспомнил о фляге с водой, которую дал ему командующий. «Попить бы!..» Он нащупал ее и осторожно отцепил от ремня. Фляга была пуста. Сразу несколько пуль стегнули по задней стенке окопа. Одна из них ударила в днище фляги, вырвала ее из рук.

— В штыки, товарищи!.. — негромко скомандовал Павел и, перекинув тело через бруствер, слегка пригнувшись, побежал вперед. Земля с силой отталкивала его. Павлу казалось, что он летит — так невесомо сейчас было тело.

Все в нем кипело от предчувствия чего-то страшного, неотвратимого. Огромное возбуждение сжигало его. Голос, который Трифонов слышал в себе, смешивался с выкриками немцев и шумом воды. «Неужели мина попала

в трубопровод?» А голос звучал и креп, он становился постоянным и глубоким, как биение сердца.

Вокруг, поднимая пыль, сыпались пули. Трифонов слышал позади тяжелый топот, хриплое, с присвистом, дыхание, потом все затихло.

«Где же они?» — подумал командир и обернулся. Белое каменистое поле было покрыто редким зеленым накрапом гимнастерок. Возле серебристого тополя также зеленело пятно. Мозг пронзила короткая мысль: «Сейчас и меня». Мельком взглянул на часы. Пять минут пополудни. Трифонов на бегу отстегнул от пояса последнюю гранату — противотанковую. И вдруг раскаленным свинцом обожгло грудь. Павел удивленно вскинул брови, широко открыл глаза:

— О-о!..

Вторая пуля попала в живот. Он пошатнулся, чувствуя страшную слабость. Затем выпрямился во весь рост, дернул чеку гранаты и бросил ее в набегающих солдат. Взрыв оглушил. В ушах зашумели водопады. Павел все стоял. И вдруг в нем что-то надломилось, и он упал на белые плоские камни.

Пылало небо. Над землей клубился сухой зной. Был полдень. Солнце стояло в зените.

ОТЗОВИСЬ НА ПЕРЕКЛИЧКЕ

Он остановился на вершине
песчаного холма. И вздрогнул.

Словно внезапно увидел все это на пожелтевшей фотографии — неровно выбеленное пеной осеннее море, рыжеватые, чуть сгорбленные редкие сосны и крупный желтый песок, рассыпанный на побережье аккуратными холмиками. Кусочек мира, открытый взгляду, был таким же, каким Степан Шабуров оставил его двадцать четыре года назад.

Шабуров стоял ошеломленный утратой чувства времени. Что-то должно было измениться. Хотя бы вот эта третья с краю сосна. Она горела тогда. Степан слышал, как потрескивала сухая хвоя, и видел, как целые гирлянды горящих веток, сбитых пулями, падали на песок и пылали на бруствере наспех отрытой траншеи.

Тогда она горела, эта сосна. И думалось, сгорит дотла. А она осталась жить. Он тоже. Может быть, стоило подойти и поздороваться с этой живучей сосной.

Шабуров усмехнулся таким мыслям и снял с головы шляпу. Ветер шевельнул седые волосы и принес запах йода и соли. И сырой рыбы. Сырость побережья прокралась под одежду и холодила тело.

Шабуров еще раз оглядел дюны и зашагал прямо по песку к трем соснам, где, по его предположению, все то, зачем он сюда пришел, могло сохраниться. Ведь мешочек, в который они прятали документы, был резиновый и наглухо завязывался сыромятной тесьмой. Потом был кожаный кисет. И наконец, жестяная банка. Ее обмазали растопленной смолой, которую нашли в брошенном блиндаже.

Их должно быть там девять — небольших красноармейских книжек и одно офицерское удостоверение.

Шабуров не помнил ни одной фамилии. Люди собрались на последний катер из разных частей. Они уходили

морем на Таллин, когда суденышко накрыли два «мессера». До берега добрались девять человек. Старенький «максим» вынес он, Шабуров.

Шагая по дюнам, Шабуров вспомнил все это с холодной ясностью, словно произошло это вчера, а не двадцать четыре года назад.

Он остановился у крайней сосны и дотронулся до ее шершавой поверхности ладонью. Сосне было не меньше двухсот лет. Многочисленные шрамы ее заплыли смолой, кора порыжела от частых дождей, а самый низ, обнаженный, бескорый, зарос зеленоватым мхом.

И вдруг Шабуров увидел сразу за сосной глубокую траншею. Здесь кто-то играл в войну. Повсюду валялись винтовочные гильзы. Все это было странно и удивительно.

В углу стояло несколько саперных лопат и лежали цинки с патронами. Шабуров нагнулся, чтобы как следует рассмотреть патроны, как вдруг услышал частые выстрелы. Застрекотал пулемет, и настоящие тяжелые пули взбили пыль перед самым бруствером.

«Осенние учения или стрельбы», — догадался Шабуров и присел на цинки. У него оказалось достаточно времени, чтобы вспомнить все остальное, что случилось с ним здесь, в пустынных дюнах, недалеко от Риги.

Пули с железным шорохом буравили слежавшийся песок, а сосны роняли на Шабурова ветки с колючей хвоей, и ему казалось, что в дюны опять пришел ветер с моря...

А тогда вокруг были немцы. Шабуров слышал отдаленный непрерывный треск слева, там, где проходила дорога.

Он понимал, что группа хорошо просматривается с воздуха, и потому решил укрыть людей возле трех сосен. На южной стороне холма обнаружили старый блиндажик. Отрыли недалеко от него траншейку, замаскировали пулемет и сели перекурить. Тогда-то и увидел Шабуров кожаный кисет с вышитым солнцем. Детские руки трудились над узором. Один край солнца был скошен, и лучи криво разбегались от приплюснутого круга в разные стороны.

Хозяин кисета, высокий сутулый солдат в обмотках, высыпал табак на ладонь, подождал, пока каждый взял себе на самокрутку, ссыпал остатки табака обратно, достал из нагрудного кармана гимнастерки красноармейскую книжку и аккуратно засунул ее в кисет.

Скоро в широкую ладонь сутулого солдата легли остальные восемь книжек и офицерское удостоверение Шабурова.

— Сыро здесь, — сказал сутулый, оглядывая дюны.

Шабуров отдал солдату свой резиновый мешочек, в котором хранил сахар.

Они считали патроны, когда появились первые немцы. Фашисты брели к морю, увязая в песке. Белая дорожная пыль сделала их мундиры похожими на зимние маскилаты. Белые на желтом. Шабуров полоснул очередь, когда они сгруппировались на гребне холма.

Белые фигурки на желтом песке. Он не зря выносил пулемет из воды. Немцы даже не пытались бежать. Песок прибрежных дюн пеленал ноги.

Потом стихло. Тихо стало и на шоссе, где до этого стрекотали моторы.

— Пятьдесят четыре человека, — доложил сутулый. — Они уже не дойдут до Ленинграда, — неожиданно улыбнулся солдат одними глазами.

Шабуров вспомнил кисет и кривоголовое солнце, вышитое белыми нитками.

Спустя полчаса их обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Танк появился неожиданно с восточной стороны. Тяжелая бронированная машина с белым крестом на башне. Она медленно надвигалась на блиндаж, изредка постреливая из пулеметов. Гранаты собрал все тот же сутулый солдат. Он быстро и ловко связал их по три и громко и почти весело крикнул в окоп:

— Отзовись за меня на перекличке!

Все видели, как быстро и цепко он полз по склону навстречу танку, как замер, почувствовав смертельную близость пуль, как вздрогнул, приподнялся, ужаленный одной из них, и упал на спину, подвернув правую руку со связкой гранат под себя. Танк медленно двинулся к убитому. Он был неповоротливый и спокойный, этот танк. Может быть, его экипаж не видел ни одного русского от самой границы.

О маленькой хитрости сутулого солдата в окопчике узнали тогда, когда танк завертелся на одной гусенице, а из-за башни, где находились баки с горючим, полыхнуло пламя и грохнул взрыв.

Сутулого солдата сразила автоматная очередь, когда он бросал вторую связку гранат.

Шабуров слышал, как кричали немцы в горящем танке, и, перетащив пулемет на противоположную сторону траншейки, ударил по смотровым щелям башни с белым крестом.

Потом был час жизни. Ветер с моря. Теплый, нагретый за день песок. Немцы не показывались и не стреляли.

Шабуров выкопал меж корнями средней сосны небольшое углубление и вложил туда облитую разогретой смолой банку. Он сделал это на глазах у всех, как бы говоря: «Кто останется жив, вернитесь сюда».

«Мессершмитты» появились со стороны моря. Тотчас из-за холмов, со стороны дороги, взметнулись три ракеты. — Воздух, — тихо сказал кто-то из бойцов.

Первые разрывы легли левее траншейки и начисто снесли песчаный холм, на котором Шабуров уложил полроты немцев. Крупные осколки сотнями раскаленных топориков ударили по стволам сосен, а одна из термитных мин зажгла третье с краю дерево.

Поднятый частыми разрывами песок желтой завесой прикрыл солнце, а потом и небо. Словно сумерки спустились на дюны.

И все же летчикам не удалось накрыть траншейку. Наполовину засыпанная песком, она осталась цела, и погибло в ней только двое бойцов, пытавшихся уползти в блиндаж.

Немцы снова появились на гребне соседнего холма. На этот раз они шли цепью. Зеленые на желтом. Это были другие немцы, рослые парни в одинаковых касках, все с автоматами и закатанными по локти рукавами мундиров.

Шабуров решил не жалеть патронов. Он боялся новой бомбежки. Им просто повезло с этим налетом.

Немцы шли, немного согнувшись, молча, твердо ступая по жесткому полю песка. Эти не повернут назад.

— Тем лучше, тем лучше, — подумал Шабуров. — Я потрачу на них оставшиеся три ленты и, может быть, шесть пуль из нагана.

Как быть с седьмой, он решил давно.

И все же он ошибся тогда. Как только немцы поняли, что три сосны в полосе досягаемости автоматного огня, они открыли бешеную стрельбу и засыпали траншейку градом пуль. Щиток пулемета звенел от секущих пулевых струй.

— Огоны! — крикнул Шабуров и припал к «максиму».

Он не знал, что стреляет один, он только видел бегущих прямо на него людей в зеленых мундирах, видел их разгоряченные, сосредоточенные лица, видел, как они падали и не поднимались, и думал о том, что не успеет расстрелять последнюю ленту. Ему было бы легче, если бы кончились патроны.

Две гранаты разорвались перед самым пулеметом. Взрывной волной с Шабурова сорвало пилотку, песок ударил в глаза и ослепил. Он отшатнулся от пулемета и выхватил наган. Что-то с силой ударило по руке, кто-то тяжелый навалился сзади и завернул разбитую руку за спину...

Наверху слышались шаги, и в траншею кто-то прыгнул. Шабуров поднялся и громко кашлянул.

Из-за поворота показался лейтенант.

— Кто вы? — равнодушным тусклым голосом спросил он Шабурова. — Как вы сюда попали? Ваши документы?

Лейтенант был молод и казался усталым. Тонкая щечка усов нависла над пухлыми яркими губами.

Шабуров протянул ему свой паспорт. Лейтенант вскинул на Шабурова васильковые, с детскими пушистыми ресницами, глаза и сказал:

— Как вы прошли через посты? Вас могли здесь убить.

— Как видите, я жив.

— Я должен проводить вас к командиру полка, — сказал лейтенант.

— Я понимаю, — согласился Шабуров, — но прежде я должен сделать то, ради чего сюда пришел. Вы разрешите?

— Да, конечно, — после некоторого раздумья ответил лейтенант.

В траншею прыгнули сразу несколько солдат и с любопытством уставились на штатского человека.

Шабуров взял одну из саперных лопат, прислоненных к стене, и тяжело вскарабкался наверх.

Он копал землю неохотно, словно рыл себе могилу. Что-то вдруг нахлынуло на него, горькое и теплое, и отобрало силы. Он сел на корневище и долго сидел, закрыв глаза, потом встал на колени и отбросил лопату.

Песок дальше был сырой и вязкий. Пальцы скоро нащупали липкое продолговатое тело банки. Он сжал ее пальцами и вдруг почувствовал, как пальцы провалились в пустоту.

«Столько лет, столько лет», — угрюмо подумал Шабуров.

От резинового мешочка осталась труха. Сохранился только кожаный кисет. Он набух влагой и стал черным. Нить вышивки сгнила, и неловкое детское солнышко погасло. Оно мало светило, это солнышко. Но тепло его осталось в Шабурове надолго. Простодушным желтым лучом коснулось оно двадцать четыре года назад шабуровской души и грело его всю жизнь.

Ему всегда хотелось увидеть девочку, вышившую чудо-солнышко на кисете. Он должен увидеть ее еще и потому, что никто в мире, кроме него, Шабурова, не может рассказать ей правду об отце, сутулом неразговорчивом солдате.

Шабуров забыл многое, что случилось с ним в жизни, он забыл свое детство и, может быть, юность, он забыл дороги, по которым ходил босиком. Но с удивительной ясностью помнил он лица девяти бойцов в наспех отрытой траншее, без единого слова решивших умереть в дюнах. Шабуров попытался развязать сыромятную тесьму, пережавшую горло кисета. Кто-то из солдат протянул ему перочинный нож. Сильный запах мокрой махорки исходил из черного, набухшего влагой кисета.

Шабуров вспомнил жест, которым сутулый солдат ссыпал в кисет оставшуюся махорку, и только теперь понял, для чего он это сделал.

Он оставлял людям малое из того, что любил, живя на земле. Ему не хотелось в последнюю минуту жизни оставить на земле окурок. Такой это был человек. Теперь пришло самое время произнести вслух громко и твердо его имя. И потом. Много раз. Нужно сделать так, чтобы его повторяло эхо.

Шабуров осторожно извлек из кисета то, что осталось от десяти книжек. Они лежали плотно одна к другой, словно спаянные еще неизвестным людям металлом. Они лежали как одно целое, и не было никакой возможности перелистнуть хотя бы одну страницу.

«Столько лет, столько лет», — снова угрюмо подумал Шабуров.

И боль первых дней плена снова вошла в Шабурова.

Лейтенант куда-то ушел, в траншею, шумно переговариваясь, прыгивали все новые бойцы, безусые загорелые ребята, почти все они курили и предлагали Шабурову папиросы из портсигаров. И вдруг Шабуров увидел кисет. На нем было вышито желтое солнце. Ровный правильный круг и десять прямых, бьющих в края лучей.

Высокий, чуть сутуловатый солдат протягивал кисет Шабурову.

— Может, махрой побалуетесь?

— Да, — коротко отозвался Шабуров и вздрагивающей рукой взял из кисета щепоть табаку.

— Подарок? — спросил он, сворачивая самокрутку,

— Сестренка.

— Сколько ей лет? — тихо спросил Шабуров.

— Двадцать восьмой стукнул. Только она ведь замужем.

Вокруг засмеялись.

— Отец живой?

— Нету у нас бати. С войны не вернулся.

— Воевал где?

— От самой румынской границы... Потом в Одессе... Там и погиб...

Шабуров всматривался в лицо солдата, и что-то сжимало его сердце зло и безжалостно. Он рванул ворот рубашки и прислонился лбом к мокрой, вздрагивающей от множества ног стенке окопа. Где-то за дюнами в ногу шагал большой отряд людей. Потом Шабуров услышал песню.

— Вам плохо? — склонился к Шабурову солдат с кисетом.

— Отозвись за него на переключке, парень... — голосом, внезапно упавшим до шепота, произнес Шабуров.

Вернулся лейтенант. С ним в траншею прыгнул молодой щеголеватый майор. Он вежливо ковырнул Шабурову и несколько мгновений пристально разглядывал его, потом тихо спросил:

— Это ваш пулемет мы нашли здесь?

— Наш, — так же тихо ответил Шабуров.

Майор взял из рук Шабурова то, что осталось от документов, и подержал на ладони, как бы взвешивая.

— Постройте батальон, — негромко отдал он распоряжение лейтенанту.

Шабуров слушал, как пела труба, как шуршал песок под ногами сотен людей, как лейтенант зычным голосом

отдавал команды. Потом все стихло. Шабуров вскарабкался на бруствер и увидел ровные ряды людей с оружием. Они недвижно стояли среди серых осенних холмов. Рыжеватые, чуть сгорбленные сосны негромко поскрипывали под внезапно налетевшим с моря ветром.

— Товарищ Шабуров, — громко окликнул его майор, — становитесь на правый фланг.

— Да, — коротко отозвался Шабуров и, тяжело ступая по зыбкому песку, зашагал вдоль строя.

— Бойцам, павшим в боях с фашизмом, — звонким, надрывающимся голосом прокричал майор, — салют!

Он повторил последнее слово девять раз. И, подняв руку с пистолетом вверх, глядя прямо в глаза Шабурову, в десятый раз, но уже тише сказал:

— Салют!

И первым выстрелил в воздух.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПОВЕСТИ

Скажи им, пусть помилт	5
Взведенный курок	40
На расстоянии крика	86

РАССКАЗЫ

Останься живым	131
Приходи еще	152
Красная ракета	162
Колодец Сайфулы	174
Орлиный там услышишь крик	193
Помни о жизни	204
В жаркий полдень	217
Баллада о Демушкине	224
Крестины	230
В ожидании дня	235
Последний	242
Русское поле	247
В солнечном луче	254
Горсть земли	261
Последний патрон	266
Пять минут пополудни	272
Отзовись на переключке	279

Сергей Максимович Наумов

ОТЗОВИСЬ НА ПЕРЕКЛИЧКЕ

Повести. Рассказы

Редактор *И. Ф. Петрова*
Художник *А. С. Пааксин*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Технический редактор *Т. В. Фатюгина*
Корректор *В. Е. Посохина*

ИБ № 1524

Сдано в набор 19.11.79. Подписано к печати 30.04.80. Г-32317
Формат 84х108/16. Бумага тип. № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Печ. л. 9. Усл. печ. л. 15,120. Уч. изд. л. 15,487. Тираж 65 000 экз. Изд. № 4/1208. Зак. 6782. Цена 1 р. 10 к.

Воениздат
103160, Москва К-160
Набрано в 1-ой типографии Воениздата
103006, Москва, К-8, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
Отпечатано с матриц в 4-й военной типографии, г. Киев-15,
ул. Январского восстания, д. 40.